Сергей Тимофеев

Из того же то из города...

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Из того ли то из города… Вряд ли кто не знает этих строк. Ну а дальше… А дальше — по мотивам былин, народных песен и сказок, известных и не очень. Немного поверий, немного истории.

- Сергей Тимофеев
  -
  - 1. БЫЛ У БАТЮШКИ, У МАТУШКИ ОДИН СЫНОК…
  - 2. ПО СВЕТУ ХОЖАЛЫЕ, ЛЮДИ СТРАННЫЕ
  - 3. ВЫ ЛЕСА МОИ, ЛЕСОЧКИ, ЛЕСА ТЕМНЫЕ…
  - 4. А ВЫСОКИЕ-ТЫ ГОРЫ СОРОЧИНСКИЕ…
  - 5. ИЗО ВСЕХ ОДНА, ВСЕХ БЕЛЕЙ-БЕЛА…
  - 6. А У СЛАВНОГО ТЫ ГОРОДА ЧЕРНИГОВА…
  - 7. ПРЯМОЕЗЖАЯ ДОРОЖКА ЗАКОЛОДИЛА, ЗАКОЛОДИЛА ДОРОЖКА, ЗАМУРАВИЛА…
  - 8. ЗАСВИЩИ-ТКО ТЫ ВО ПОЛСТВИСТУ СОЛОВЬЕГО…
  - 9. АЙ ВО ТОМ ВО ГОРОДИ ВО РЯЗАНЮШКИ…
  - 10. КАК ПО МОРЮ, МОРЮ СИНЕМУ, МОРЮ СИНЕМУ, ХВАЛЫНСКОМУ…
  - 11. КАК В ЦАРИ-ГРАДЕ-ТО НЫНЧЕ НЕ ПО-СТАРОМУ, В ЦАРИ-ГРАДЕ-ТО НЫНЧЕ НЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ…
  - 12. «ДА ЕСТЬ Я ИЗ ГОРОДА ИЗ ГАЛИЧА, ИЗ ВОЛЫНЬ-ЗЕМЛИ ИЗ БОГАТЫЕ…»
  - 13. НЕКОМУ СТОЯТЬ-ТО ВЕДЬ ЗА КИЕВ-ГРАД…
  - 14. КАК СТОЯЛА ТАМ ЗАСТАВУШКА НЕ БОЛЬШЕНЬКАЯ…
  - 15. ПО КРЫЛЕЧКУ ЛИ ИДЕТ ДА МОЛОДА ЖЕНА…

Сергей Тимофеев
ИЗ ТОГО ЛИ ТО ИЗ ГОРОДА…

(То ли быль, то ли небыль)

1. БЫЛ У БАТЮШКИ, У МАТУШКИ ОДИН СЫНОК…

Расправила плечи могучая река, миновав излучину; на полверсты, а то и поболее, раздвинула поросшие лесом берега. Это сейчас, в летнюю жару, на полверсты, а весной, во время паводка, и на все две. Глянешь сверху, с холма — величественная, спокойная, протянулась широкой, сверкающей на солнце лентой, в даль; а вниз спустишься, к самой воде — стремнина. Кружит водоворотами, едва успокаиваясь омутами, и снова торопится. Не каждый решится вступить в схватку с бурным течением; играючи подхватит поток лодку, закружит да и понесет неведомо куда. И как только справляются с ним водяной и водяницы, облюбовавшие прибрежные бочаги? А таких здесь — не пересчитать. Главное — приметить: где кубышки над водой желтыми головками покачивают, сгоняя назойливых стрекоз, там мелководье, а где белоснежные кувшинки звездами по воде рассыпались, лучше то место не тревожить.

Под стать реке и рыба. Глянешь иногда, темнеет что-то в заросли речной, будто бревно-топляк течением вынесло. Ан нет, не бревно, щука-травянка саженная в траве притаилась, добычу поджидает. Сделаешь движение неловкое — и нет ее, пропала, словно и не было. А то лещ пудовый золотым боком вывернет; поди, узнай, что ему там на дне речном не сидится, али с солнышком решил красотою померяться? Или вот, говорят, сомы в омутах прячутся. Такие, что зазеваешься, не токмо теленка или жеребенка, но и пловца, и рыбака незатейливого на дно утащат. Правда, как начнешь расспрашивать, то как водится: один на другого кивает: сам не видал, не знаю, а вот брат, сват, кум, или просто мужик какой проезжий — они как раз видели, врать не станут… И еще, сказывают, аж из самого моря Хвалынского чудо-рыба заходит. Длиной саженей в пять, весом — пудов в пятьдесят, вся как кольчугой костяной покрыта. Ничем такую не взять, даже копья от нее отскакивают… Может, есть такая, а может, байки досужие.

Велика сила у реки, но все ж таки и на нее управа находится. Задуют ветра северные, станут ночи удлиняться, а дни укорачиваться, сбросят деревья листву, и пожалует в гости Мороз Иванович. Иной избу задумает поставить, не даст срубу должного времени на усадку — глядишь, через год косяки пошатнулись, окошки — что бочки, перекосилась изба, ровно старик столетний. Не то — мороз. Не торопясь, основательно, сначала по закраинам

прибережным, где помельче да течения нету, воду льдом схватит; попробует — как, крепко? Потом далее, к стрежени. Беснуется река, выплескивается на свежий лед, хочет его поломать да смыть, но не тут-то было. Этот строитель — всем строителям строитель. У него не забалуешь. По весне — сколько угодно, отроковица она еще, сама созорничать не прочь. Леля…

Есть еще одна речка, меньшая. Но вот что удивительно, меньшая-то она меньшая — петляет себе среди холмов, в ином месте перейдешь ее — и не заметишь, только во время дождей и вспоминаешь, что есть она на свете белом, — а зовется уважительно, Агафьей. Иные Непер-рекой кличут, да уж больно слово какое-то мудреное, ничего не значащее. Ни русское оно, ни половецкое. Добро бы репей было, тогда понятно. По берегам ее столько добра этого водится — не счесть. На радость ребятишкам. Поди плохо набрать тайком репья побольше, да дружку своему к рубахе али портам прицепить… Название же вот откуда пошло. Рыбка в речке водится в изобилии. Маленькая совсем, с палец, но юркая — не ухватишь. Мечется стайками, будоражит водную гладь, — то ли серебром на солнце играется, то ли еще что, ровно девчушки. Вот и назвал их кто-то — агашками. От них и реке прозванье дали, — тоже Агашка. Потом, правда, спохватились. Разве можно к реке так неуважительно, даром что малая… И исправились: Агафьей величать стали.

Правый берег — холмистый, в отличие от левого. — Это опять о большой реке слово молвится. — Левый — пологий, сколько видно — поросший лесом. Но там, далеко за лесом, Дикое поле, откуда время от времени приходят гости незваные. Кровью текут тогда речные воды…

И то сказать, на правом берегу тоже не сладко приходится. Как понаедут тиуны посадские на полюдье взимать подати с сохи, солью река течет, слезами людскими…

Ну вот, вроде бы все о реке и сказано.

Холмы, что на правом берегу — все сплошь лесом покрыты. Диким лесом, таким, что ежели взобраться на самое высокое дерево да глянуть — конца-края ему не видать. Зверьем изобилен, грибами-ягодами. Облюбовали его и лешаки с лесовицами, с русалками-мавками; живут себе в чаще лесной, особо не докучают. А раз не докучают — так и пускай себе. Земля, вода, воздух — они ведь для всех, ни для кого в особинку.

На одном из холмов, не на самой макушке, а так, чуть пониже, поляна есть. На поляне той три истукана стоят, из дуба иссеченные. Каждый — размером в пару обхватов. Грозно глядят из-под нависших бровей, а усы с бородой, может, улыбку скрывают снисходительную, кто там разберет? Не даром же ни

зверь лесной, ни птица не боятся их; ходят да порхают мимо по своим нуждам. Каждую весну, как снег сойдет да цветы первые землю украсят, и каждую осень, как жатва покончится, приходят сюда люди. По весне — молодежь, костры жгут, венки плетут, хороводы водят, песни поют. Веселые песни, радостные, тепло приветствующие. По осени же, бабы с мужиками. Тут иные песни слышатся: торжественные, благодарные. Бывает, и в иное время кто заглядывает, все больше ночью. Мелькнет тень в лунном свете, скользнет через поляну к истуканам, а с другой стороны, навстречу ей — другая. Что за разговоры ведутся, что за дела сговариваются да вершатся — про то только ночь знает.

Откуда ж тут люди? А вот откуда.

На одном из холмов приречных примостилась деревенька невеликая — дворов тридцать. Спряталась посреди лесов да дубрав, только с реки и разглядишь ее. Ладненькая да аккуратненькая, сколько здесь простояла — кто ведает? Избы, сараи, постройки хозяйственные… Глянешь на иную — и сразу характер хозяина виден. Есть те, что стоят утесами каменными, крепкие, основательные, все к месту, ничего излишнего, — знать, на домового здесь не особо полагаются, сами с усами, с руками работными, умелыми. Есть же, вроде на месте все, а приглядишься — не улыбаются окна, чуть присели венцы, дранку на крыше кое-где поменять надобно б… Знать, хозяин здесь…

Да нет, не спеши упрекнуть хозяина. Что знаем мы о судьбе его? Может, согнула его прежде времени жизнь нелегкая, а может, пал от стрелы или сабли степняков, защищая землю свою родимую, не давая ее в злую обиду ворогам? Вот и лишилась семья кормильца, а изба — хозяина… Ну да мир в беде не покинет, не оставит без помощи. Не было такого допрежде, не бывать такому вовек.

А что ссоры случаются — как без них? Это гости с кораблей своих глядят-восхищаются: что за красота!.. А на деле — и пашни мало, и покосов. Лес кругом, холмы. Что раскорчевали-расчистили, то межами промеж себя и разделили. Да только в семье было пять ртов, а через год — шесть-семь. Или молодые выделится захотели, свою избу ставить мыслят. Или кто, бывает и такое, поклонился миру, да и подался в поисках лучшей доли, один ли, если бобыль, а то и со всем семейством. А случается — камень межевой сдвинется, случайно ли, намеренно, ну да ничего — соберутся старшие, рассудят по старине, по справедливости.

Жаль вот только, кузни в деревушке нету. В город ездить приходится. Вроде и не так далеко, а небезопасно — пошаливают в лесу людишки лихие. Им что с гостя, что с землепашца «проездные» взять — ничего внутри не шелохнется; с последнего

даже посподручнее, первые-то без охраны крепкой обычно не ездят, да и редко они сюда добираются, все больше по ошибке или заплутав…

Третья изба по правой стороне, ежели на дороге к лесу спиной стать, крепкая, кряжистая. Огорожен невысоким тыном да воротами, запирающимися только на ночь, чтобы скотина невзначай не ушла. А днем — открыты наполовину. Ровно гостя ждут. Знать, хозяева справные живут, справные да приветливые. Только так ли это? Глянешь вдоль улицы — радуется жизни улица, играет красками живыми; глянешь на избу — ровно туманом изба слегка подернута, ровно пригорюнилась. Идут мимо люди, разговаривают; кинут взгляд в открытые ворота, переглянутся, вздохнут, головами покачают.

…Сколько ж лет тому назад это случилось? Лет двадцать, никак не меньше, а то даже и поболее. Жили тогда в деревне, — впрочем, и доселе живут, — два друга-приятеля, Тимофей с Яковом. Избы их напротив одна другой, только через дорогу перейти. Еще детишками вместе бегали, то на реку, то в лес. Вместе озорничали, вместе и ответ держали. Как подросли — опять вместе; пашни родительские да покосы по соседству расположились. Даже свадьбы вместе играли. А потому, когда первенцы родились, у Тимофея — мальчик, у Якова — девочка, у них и мысли иной не было, как по прошествии времени породниться.

Шли годы, взрослели потихоньку Ванюшка да Фросюшка. Знали на деревне о том, как ждут назначенного срока Тимофей с Яковом, наказывали сыновьям своим и дочерям, чтобы не засматривались, не заигрывали, не встревали поперек в дело доброе, загаданное. И те вели себя соответственно задумке родительской. Может, скажет кто, что негоже с малолетства вот эдак-то за детей своих судьбы их решать; но с другой стороны — разве плохо то, что родители сызмальства о счастье их будущем озаботились?..

Наливался силою Ванюша, вились кудри светлые, раздавались плечи в стороны; расцветала Фросюшка красою девичьей; не сказать, чтоб из красавиц красавица, — а что пригожая, в том спору нет. Милая, да приветливая, да работящая. Не могли нарадоваться Тимофей с Яковом.

Хорошо бы, да не бывает так, чтобы небо синее все время солнышком сияло, не омрачалось тучами черными. А уж что они принесут — грозу ли лютую, что ветром-молнией беды великие учинит, или влагу благодатную, жизнь приносящую, кому про то ведомо?

Замечено было, что с некоторых пор, как девки с парнями

гулянья устраивают, нет-нет да и оказывается возле Ивана красавица пришлая, с глазами зелеными-презелеными, ровно ландыш майский, золотыми искорками посвечивающими. То улыбнется, то плечиком заденет, то прильнет ненадолго, как бы невзначай… Во всех играх возле Ванюши оказаться норовит. Догадывались, что за красавица глазки строит, да и как тут не догадаться? До ближайшего селения невесть сколько верст, и все лесом; к тому же, и прежде такое бывало. Заканчивалось, правда, по-разному. Пропадали иногда парень, али девка; ничего тогда не говорили, плечами только пожимали. Как ни расти дитя покорным воле родительской, все ж таки настанет время, когда и своя воля о себе знать даст. А иногда, сказывали, встречали то на лугу, то в лесу, то на речке — «глянул, и глазам своим не поверил: идет мне навстречу такой-то или такая-то, только лет ему или ей поменее будет…»

Ну да Иван, даром что в возраст вошел, из воли родительской выходить не спешил. Что ему красавица зеленоглазая, если у него Фросюшка есть? Может, так, а может и нет. Может, заглядывался тайком на чаровницу, только виду не подавал. И в том, чтоб по ночам со двора к истуканам бегать — про то никому ведомо не было.

За весной — лето, за летом — осень, а там уже и зима недалече. Минует стужа, до новолетья рукой подать. Один год другой догоняет да прогоняет, настала пора задумке Тимофея с Яковом сбыться. Сговорились, как только последнему снопу обмолочену быть, тут и свадьба. А мир порешил — избу, третью по правой стороне, ежели к лесу спиной поворотиться, отдать молодым; пустой стояла, ушел хозяин в поисках лучшей доли, а ее обществу отказал. В тот год единственная свадьба была; в предыдущем целых пять играли, в следующем три сговаривались, а в том — единственная. Потому и готовились к ней Тимофей с Яковом особым образом: легко ли сказать, всю деревушку напоить-накормить? А то еще кто гостями пожалует… Да не один день…

Ну да ничего, справились.

Наступил долгожданный день. Фросюшка, — в сарафане, богато расшитом цветами да зверьми диковинными, из-под серебряного шитья головодца русая коса до пояса, румяная, остроглазая, — чудо как хороша. И не заметишь, что ночь проплакала. Жалко покидать дом родительский, сколько лет в нем прожито… А только нет-нет, призадумается, улыбка на губах появится: не на сторону дальнюю замуж идет, не за постылого, — за любимого.

Иван же накануне свадьбы запропал, и куда — никто не

ведал. Или ведал, да помалкивал.

Перевалило солнце за полдень — день выдался погожим. Хорошая примета — жизнь светлая будущих супругов ожидает. Девки на выданье хоровод вокруг истуканов водят, среди них Фросюшка. Те, что помладше, в сторонке. А вокруг, за кустами-деревьями парни затаились.

Вдруг в лесу шум раздался. Страшный. Словно кто деревья столетние с корнем выворачивает. Все ближе и ближе к поляне. Замерли перепуганные девки, да и у парней морозец легкий по коже подрал. Вот зашатались кусты, раздвинулись, и вышло из лесу чудище невиданное. Ростом выше любого человека, косматое все, с рогами турьими и мордой козлиною. Глаза огнем горят, клыки — что твои ножи из пасти разверстой торчат, когти как у орла, только длиннее. Завизжали девки, врассыпную бросились; да и парней особо уговаривать не пришлось, за девками подались и неизвестно еще, кто быстрее до деревеньки добежал. Только Фросюшка осталась. Застыла на полянке четвертым истуканом, пошевелиться не в силах… Так и досталась зверю невиданному.

А у подножия холма, где похищение случилось, присела на траву, среди немногих цветов осенних, красавица зеленоглазая. Была ландышем майским, стала листвой увядающей. Сдавило мукою грудь, дрожат губы алые, застит пелена глаза, слезы наворачиваются. Скатилось несколько росинок по щекам, упали на землю; с той поры и до нонешнего времени ключ здесь бьет. Прозрачный, холодный, не замерзающий; вода в нем только чуть солоноватая…

А девки с парнями только возле самой околицы и спохватились; как же это так случилось, что невесту-то они одну оставили, с лесным чудищем? Похватали парни кто что мог: топоры, косы, а кто и просто жердь, — обратно подались. Девки же визгом своим да рассказами путаными всех переполошили; мужики вслед за парнями пустились. Прибежали на поляну, огляделись не без опаски, — мало ли что, — только пусто здесь оказалось. Нет никого: ни чудища лесного, ни Фросюшки, ни следов. Ни тебе трава не примята, ни кусты не поломаны; утащил зверь невесту, а куда утащил — неведомо. Покричали, поаукали, да так ни с чем и возвратились.

Идут, переговариваются, вроде и вины особой нет, а как сейчас Тимофею с Яковом в глаза глянуть, как рассказать… Глядь — а возле избы, третьей по правой стороне, ежели к лесу спиной поворотиться, дружки стоят. Один в воротах, трое — по каждой стороне. И не заметили, что они в лес за всеми не побежали. Оно и понятно, где положено стоять, там и стоят. Да только странно это показалось… Принялись расспрашивать — молчат. Пробовали

в окна заглядывать, во двор пробраться — не пущают. Все честь по чести. А только какая там честь, коли в избе не звука, и ни огонька в окошках не светится? И Тимофей с Яковом — каждый в своем доме схоронился со всем семейством, ворота на запор, и не выходят, сколько ни звали.

Так и разошлись, не солоно хлебавши. Ночь не спали; гудела деревушка, ровно улей потревоженный, те, которые посмелее, все к избе, которую молодым отвели, подобраться пытались. Да только все без толку. Ни звука, ни огонька. А кого удача не шибко жалует, тем и по шее досталось от дружек. Им — есть ли кто в избе, нет ли никого — обычаем положено охранять. Вот и охраняли.

Как ни старались досужие дознаватели, так ничего и не выведали. А утром, солнышко еще не выглянуло, — словно по волшебству, — во дворе той самой избы, третьей по правой стороне, ежели к лесу спиной поворотиться, столы накрытые показались, расписными скатертями накрытые. Возле столов — лавки узорчатые. А на скатертях — чего только не было: тут тебе и хлеб, и студень, и пироги, и птица, и пара кабанов, и ягоды, и головы сахарные, и квас, и меды красные да белые…

Сами молодые встречали приходящих односельчан земными поклонами, приглашали к столам. Оторопь поначалу охватывала гостей, а затем, посмеявшись розыгрышу и укорив себя в душе за легковерие, бежали быстрее домой за подарками молодым, после чего, возвратившись, возвращали поклон, вручали дары, желали, кто как может, счастливой безбедной жизни, и чинно проходили к столу, где, встретив таких же поначалу ошеломленных сельчан, пускались было в разговоры, но затем, мало-помалу, начинали воздавать должное обильному угощению.

Три дня гуляли свадьбу, но всему, даже самому хорошему, рано или поздно приходит конец. Зима скоро, успеть надо подготовиться к встрече первых холодов, а там и Мороз Иванович в гости пожалует. Перво-наперво орудия пахотные в порядок привести и в сарай до весны спрятать; сруб да крышу поправить, коли надобно; с огородов все убрать, хмель заготовить, — сколько всех работ, не перечислить… Жизнь вошла в привычное русло.

Прошло время, поутихли разговоры о свадьбе, — и то сказать, не первая причуда случилась, и, наверное, не последняя, не век же ее теперь поминать, — истек положенный срок, и появился на свет у Ивана Тимофеевича и Ефросиньи Яковлевны первенец. Рады были родители, пуще же радовались Тимофей с Яковом: вот и породнились они по-настоящему, есть теперь, кому род каждого продолжить. Думали да гадали, как назвать, до хрипоты спорили, а только назвали, как Иван решил: Илюшенькой. Может, не сам

решил, может, тут за Ефросиньей последнее слово было — разве ж это важно? Важно то, что еще один человечек на Руси народился — Илья свет Иванович.

Лицом больше в маму, а крепыш — это, конечно, от папы. Лежит себе в люльке, агукает, сверкает глазенками, иногда криком заходится — обычный ребенок, каких много. Знать бы наперед, что тебе судьбою уготовано…

Это только в сказках говорится: растет ребенок не по дням, а по часам. В жизни-то оно иначе выходит. Ну да не о том речь. Рос-подрастал Илюшенька, день за днем, весна за весною. В свое время зубки прорезались, в свое время ползать начал, в свое время — ходить. Бегать, озоровать, помогать потихоньку отцу с матерью. Одно печалило Ивана и Ефросинью: не довелось им более счастья родительского изведать. Потому и любили сына своего по-особому, однако ж не до того, чтобы до всепрощения. Довелось и Илюше узнать, что такое розга…

Десять лет с той поры минуло. Любуются — не налюбуются подрастающим сыном родители, да и у Тимофея с Яковом, не смотря на то, что не последним внуком был, ходил любимчиком. Как ни старались они ко всем относиться одинаково, а все-таки и в лес, борти обирать, и на реку чаще прочих с собою брали. Только в возрасте таком все меньше времени на шалости оставалось — начал его отец к труду земледельческому приучать, хозяйствовать. Ну, да то мальчику не в тягость было, наоборот, — пусть и нехитрые пока задания даются, — а не просто так, по делу, кое в чем со взрослыми наравне.

Вот о ту самую пору и стала примечать Ефросинья, как Илюша во дворе чем занимается, появится близ ворот старушка, видом убогонькая. Согнутая, ровно дуга, на палочку опирается, вся в черном. Встанет, и стоит, во двор смотрит. Ничего не просит, только смотрит. Хотела пару раз ей Ефросинья хлебушка дать, пойдет в избу, воротится, а у ворот и нет никого, словно и не было. Спросит соседей — а те никого и не видели. И глаза у старушки той — зеленые-презеленые.

Ничего не говорила мужу Ефросинья, а сердце материнское между тем сжималось при виде убогонькой, беду предчувствуя. Гнать хотела ее от двора подалее, но как же закон неписаный нарушить, предками завещанный? Странника да убогого привечай… Старалась утешить себя, как могла: сколько старушки этой тут не было? Глядишь, и отстанет вскорости. Да только сердце не обманешь.

Случилось-таки, что не сдержалась; молвила слово злое, обидное. Сама не заметила, как. Что ты, мол, все ходишь, высматриваешь? Чего тебе надобно? Ступай себе, не ровен час —

беду накличешь!.. А нет — так собаку спущу. Страх подспудный, предчувствие горести лихой — словом неприглядным вырвались.

Ничего не сказала в ответ убогонькая. Опустила голову, повернулась от ворот и пошла себе, как велено было. Спокойненько идет, на палочку опирается.

Защемило сердце Ефросиньи, хотела было окликнуть, вдогонку броситься, повиниться, поспрошать, может, и вправду такое приключилось, что только они с мужем помочь могут, и тут от крыльца звук странный раздался. Вскрик, и будто упало что-то.

Обернулась Ефросинья — и видит: сынок ее, Илюшенька, что ведерко с водою колодезной в избу нес, об ступеньку запнулся. И сам упал, и ведерко выронил. Катится ведерко, вода к воротам струйкой бежит…

Велика ли беда — о ступеньку запнуться. Упал, поднялся, отряхнулся, улыбнулся — всего и делов-то. Однако, смотрит Ефросинья — неладное что-то. Силится Илюша подняться, да что-то у него не получается. Упирается руками в ступеньки, хватается за перила, а встать не может. Ровно кто путы невидимые, многопудовые, на ноги ему наложил.

Бросилась к сыну Ефросинья, подхватила под руки, суетится, помочь пытается, — да только все больше суетится. А потом, ровно молния в голове полыхнула: вот же ведь колдунья старая, не иначе как ее дело, не иначе как в отместку за слово злое.

Усадила кое-как Илюшеньку, бросилась к воротам, выскочила на улицу, глянул вправо-влево — не видать ли где убогонькой? Не видать… Улица вся как на ладони: в одну сторону, до спуска к реке, в другую — аж до самого леса. Не могла далеко уйти, однако ж не видать…

Вернулась обратно к сыну на крыльцо, присела рядышком, обняла, прижала к себе, хотела сказать ласковое, ободряющее, — и не смогла. Сдавило грудь, подступил ком к горлу, хлынули слезы горькие, обжигающие… Обнял ее сын ответно, тоже утешить хотел, мол, не беда, сейчас вот посидим немного, и все станет по-прежнему, и сам расплакался, хотя давно уже и знать позабыл, что такое слезы.

Так и просидели на крылечке до вечера, покуда Иван с поля не воротился. Выслушал сбивчивый рассказ о случившемся, — сказать по правде, и рассказывать-то было особо нечего, — нахмурился, услышав, как обошлась жена со старушкой убогою. Помял ладонями крепкими сына; руки, как и прежде, силенкой налиты, а вот ноги… Не держат, подкашиваются. Знать, без знахарки не обойтись.

Жила она одна, в другом конце деревни, Велеславой звали. Странно жила, хотя никто про нее слова худого сказать не мог, —

или побаивался. Сколько лет на свете, а все не меняется видом, ровно не властно над ней время. Иной едва четвертую весну разменяет, глядишь, у него уже и белизна в голове да бороде, а Велеслава… Любой, кто увидит, более тридцати — тридцати пяти весен не даст, и станом стройная, и лицом моложава. Хотя уж и позабыли, когда муж ее свет белый покинул. Стариком ушел, пусть и до последнего надел свой обихаживал, а она… Два сына ее жить в деревеньке не остались; испросились благословения родительского, поклонились миру, попрощались и подались лучшей доли искать. Ничего с той поры о них не слышали. А она осталась. Травы ведала, раны заживляла, суставы вправляла… Девки иногда, тайком, промеж себя, уговаривались зелья у нее любовного попросить, — оно ж не всегда так случается, что твой избранник тебя самое среди прочих выберет, — а вот просили или нет, про то достоверно не ведомо. Частенько встречали ее чем свет, а то и вовсе ночной порой, возле дороги, в поле или около леса, ну да кто ж не знает: каждой траве свое время. Иная о полночь силу набольшую имеет, иная — о полдень. Потому как соки разные в них: у одной темный, у другой — светлый. Одна смерть несет, другая — жизнь. Как в сказках да преданиях говорено? Иную рану поначалу мертвой водой спрыснуть должно, а уж потом только — живою. Или же она, сарафан скинув, оставшись как в свет пришла, росой ночной или утренней омывалась, потому и не старела? Не будем гадать, негоже это…

К ней и отправился Иван со своим горем. Выслушала она его внимательно, ни о чем не переспрашивала, велела снаружи избы обождать, пока соберется. Ждет Иван, а сам поперек воли дивится: вот ведь у всех каждый год — кто венец правит, кто крышу, кто ставни, кто крыльцо, кто еще что, а у Велеславы изба — всем на загляденье. Стоит себе, будто только вчера поставили. И банька такая же, хоть и ровесница избе… Как тут не подумать о…

Не успел Иван подумать; вышла хозяйка с туеском в руках. Лицо серьезное, задумчивое. Идут они по улице, а встречные, что возле заборов вдоль улицы стоят, разговаривают, — умолкают, глаза отводят, вслед смотрят. Знают уже о беде приключившейся. И что же это за птица такая — молва? Вроде и не было никого рядом, случись чего, даже вдалеке от деревни, а вернешься, — смотрят сочувствующе, или с улыбкой, — это в зависимости от случившегося. И не найдешь того, кто бы про себя такое припомнить не мог…

Возле ворот Ивановых Тимофей с Яковом стоят, переговариваются тихо. Даром что не чужие, а не заходят, робеют. Приметили хозяина со знахаркой, примолкли и глаза в

землю. Здоровенные мужики, кряжистые, а притихли, словно котята нашкодившие. Прошел мимо Иван, голову опустив. Не пригласил войти, слова не сказал. Те понимающе переглянулись; знать, совсем не ладно дело, коли без Велеславы не обойтись.

Попросила знахарка Илью в дом отнести да на печь посадить. Ефросинье велела во дворе обождать, дверь закрыла. Ивана в сенях оставила, дверь из сеней в горницу — нараспашку. Чтобы отец видя — не видел, слыша — не слышал. Сама в горницу прошла.

Что в горнице деялось, про то неведомо. Иван, как ему и было наказано, не видел и не слышал. А как стали Илью расспрашивать, так и он ничего толком сказать не смог. Села, сказывал, Велеслава на лавку, поставила туесок на стол, сложила руки на коленях. Сидит, голову наклонила, смотрит; только вот не на Илью смотрит, не на печку, а словно вдаль куда-то. И молчит. Еще ему показалось, что как вошла, будто достала что-то из туесочка и в подпечек бросила. Вымели подпечек — нет ничего, только щепки да кусочки коры…

Солнце уже за деревьями скрылось, заалело небо, вышла знахарка, закрыла дверь за собою, присела рядом с Иваном. Бессильны ее травы, не поможет ее искусство вернуть отроку былую силу. Не к ней обращаться надобно. И наставила, как поступить надлежит. Если и это не поможет, одна только надежда на случай какой и останется.

Помрачнел лицом Иван, совет Велеславы выслушав. Ничего не сказал о нем жене своей, ни кому другому. Ночь глаз не сомкнул. Выходил на крылечко, садился на ступеньки и сидел, понурившись. Ефросинья тоже не спала — прислушивалась, не случится ли чудо, не услышит ли шаги сыночка любимого по деревянному полу? Ничего не слышно, кроме обычных шумов ночных. Снова и снова вспоминала, как обернулась, как увидела… И всхлипывала, не в силах удержать горячих горьких слез.

Солнце уже за полдень перевалило, когда Иван все-таки решился. Пошел к соседям, выменял у них петуха черно-красного на своего, белоснежного. А как завечерело, взял под мышку, и прочь со двора, не сказавшись. Видела Ефросинья, как к лесу шел.

Лишь под утро вернулся. Ждала его Ефросинья, с тайной надеждой ждала. Услышала шаги знакомые, выбежала на крыльцо, дверь нараспашку. Увидела лицо Ивана, и спрашивать ничего не стала.

С тех пор и стояла изба, ровно туманом слегка подернута, ровно пригорюнилась. Сколько ж тому лет прошло? И не вспомнить. Лет двадцать, а то и поболее…

2. ПО СВЕТУ ХОЖАЛЫЕ, ЛЮДИ СТРАННЫЕ

Кому из людей ведомо то, что они именуют временем? Почему оно, всевластное, бессильно перед теми, кто счастлив, или живет ожиданием счастья, и безжалостно к тем, кто и так обижен судьбою? Кто по себе не знает: улучат часок-другой влюбленные, встретятся, только вроде глянули друг на друга, словами приветными обменялись, взглядами, а уж и расходиться пора. Или вот, когда у Гордея, — его дом через два от Иванова в сторону реки, — сын родился, так он на следующее утро едва не половину покоса своего смахнул и не заметил как. Удивлялся, глядя на дело рук своих: только, вроде бы, начал… Смеются над ним: «начал»… Ты погляди, солнце-то уж за полдень. И он смеется. Что ему солнце? Радость у него, счастье, до солнца ли ему? И совсем иное, когда печаль-кручина сердце гложет. Тут каждое мгновение годом тянется. Вот, к примеру, другой сосед, его дом крайний у леса… Да нет, даже и говорить об этом не хочется. А может, это природа человеческая такова, а вовсе не время?

Поначалу к Илюшеньке никто не приходил, — осторожничали; как ему смотреть на своих сродников, братьев-сестер, здоровых да живехоньких, как после одному с самим собой, неходячим, оставаться? Да и побаивались сдуру — может, хворь какая приключилась, что и на других перекинуться способна? Потом, потихоньку, стали похаживать, — отец его на крылечко или во двор, на чурбан, выносил. А как взрослеть начали, как дела-заботы прижимать стали, так все реже и реже. Не забыли, конечно, насовсем, но и не скажешь, чтобы почасту.

Тимофей с Яковом — те мимо не проходили. То птичку-свистульку принесут, то богатыря на коне, то медведя с бочонком — хоть и вырезаны из дерева, а как живые. Сказки рассказывали, побывальщины — непременно чтобы добрые, и хорошо заканчивались. Да только больно уж сказки эти от жизни отличались. У самих на руках мозоли с кулак, минуты без дела не просидят, а рассказывают что? То у них бездельник рыбу поймает, и все-то она за него делать начинает; то селянин какой хитростью да смекалкой женится на княжеской дочери, становится наследником и опять же, ничего не делает. Как же так? Что же это получается? Тому, кто трудом своим живет, — ничего, а кто на печи лежит… Сказал, и осекся. Губы поджал, слезы злые на глазах выступили. Стали ему деды объяснять было, что достаток или там

богатство, это одно, а счастье — его каждый по-своему понимает, и совсем не обязательно, чтобы у всех богатство и счастье в обнимку ходили, — да только без толку. Счастье — вон оно, бегать с погодками по улице, родителям помогать, жить так, как другие живут, как жил до недавнего…

Все горше и горше становилось Илье с крылечка на ватагу однолеток, что мимо двора проскакивали, играючись, и стал он отца просить, чтоб выносил он его на другую сторону избы. Там огород, поленница и скамеечка приспособлена возле стены, присесть передохнуть, как спина занемеет от поклонов земле-матушке. Здесь сорняки повыдерни, здесь слизней пообери, тут растения друг дружке расти не дают, проредить надобно. А коли вёдро, — напои землю, не дай жаждой мучиться; не напоишь — не видать тебе урожая. Раньше Илюшка ведра с водой таскал и с прочим подсоблял, а теперь все Ефросинье самой делать приходится. Тяжко ей, подустанет, постоит чуток, или с сыном рядом присядет, улыбнется ему, — даже, бывало, по голове потреплет, волосы взъерошит, — и снова за работу. Не любил Илья, когда мать с ним вот так-то тетешкалась, как с маленьким, но терпел, не подавал виду; к тому ж, все одно с улицы не видно…

Мерно жизнь в деревеньке течет, изо дня в день, из года в год. А чему тут удивляться-то — затерялась где-то на отшибе. Однако ж и сюда захаживали странники, по белу свету в поисках лучшей доли мыкаясь. Они-то и приносили известия о том, что на просторах земли деется. Редко такое случалось, но все же случалось…

От одного из таких странников и узнал Илюша, что где-то там, за лесами, неизмеримо далеко от деревеньки, на берегу реки, такой же могучей, а то даже и поболее, величается-красуется Киев-град. Молод князь его, но грозен. Не без головы удачлив. Быстр, решителен, смел. Кликнул он клич, и собрались вокруг него богатыри сильнейшие от всех племен, порешивших единым миром жить — из полян, древлян, радимичей, уличей… — Непривычно звучали имена эти для мальчика, да уж больно родными казались… Сами-то мы кто? — отца потом спрашивал. Вятичи мы, ответ был; а есть еще мурома, мещера. — В досаду стало князю, что года не проходит, чтобы дикие владений его не тревожили, не жгли селений, не разоряли мирных пахарей, не уводили полон. Не будет нам жизни спокойной, покуда не дадим укорот хищникам, — и послал вестников к ханам их, сказать коротко: «Иду на вы!» Услышали ханы весть, порассмеялися. «Добро бы, сказали, нежданным явился, с ратью великой, а так… Нет в нем ничего, кроме гонору

пустого. Гостем незваным идет, что ж, встретим, как полагается, только пусть уж за обиду не держит, коли встреча та не по нраву придется…»

— А наши, наши-то богатыри чего? — опять Илюша отца теребил.

— Так нам-то чего? — пожимал отец плечами. — Нешто мы князю киевскому данники? Он — ошуюю, а мы — одесную.

Правду говорил отец. Мимо прошел с богатырями своими князь киевский. Хотел было путь короче сделать, — не дали. Вышли к границам земель своих вятичи, не пропустили. «Мы с дикими в мире живем, сказали, нет нам нужды с ними ссориться». «Вам решать, кто вам ближе», князь отвечал; не стал препираться и рати учинять, стороной обошел. Мечом прошли рати его Степь хазарскую, пали города их на море Хвалынском, настал конец их царству окаянному.

— А где это такое, море Хвалынское? — спрашивал Илюша.

— Там, далеко-далеко за лесом, за рекою, за степью, в той стороне, где солнце восходит…

Закроет Илюша глаза, и встает перед ним Степь: вот как тот луг пойменный, что за несколько верст ниже по течению. Только трава на нем не зеленая, а почему-то соломенная, и стоймя стоит, человеку в пояс. И до самого горизонта, где солнце садится, куда ни глянь. А еще ровная, будто лавка; под небом, синим-синим. Идут-едут по этому лугу-степи богатыри княжеские, сотрясается земля от их богатырской поступи, прочь летят птицы, бежит зверь испуганный. Приглядись — не зверь это; соглядатаи хазарские. Впервой им видеть силушку, ни остановить которой, ни обороть… Бегут к ханам своим с доносами: сколько ни собери войска хазарского, не совладать ему с богатырями русскими. Мира искать надобно, хоть все богатства свои неместные отдать, хоть в данники, а мир выпросить.

Не послушались ханы; собрали войско хазарское, вышли в степь, навстречу рати княжеской. Да только любой рассудит: вон, камень у берега лежит, в три обхвата. Он ведь прежде на горке дорогу проезжую перегораживал. Сколько лет мимо него ездили, а потом уговорились, взялись всем миром, подрыли, да и столкнули с места. — Нет, сам-то Илья этого не видел, это еще до его рождения случилось. Отец рассказывал. — Катился тот камень, все снося на своем пути; немного до реки не докатился. Так и лежит там с той поры. Попробуй-ка, встань кто поперек камня того катящегося!.. Хазары попробовали. Где теперь царство Хазарское? Нету, как будто и не было.

Сколько потом, после того как ушел странник, сидя позади избы на скамеечке да на небо глядючи, представлял мальчик в

облаках богатырей, когда пеших, а когда верших, грозных, но справедливых, исполненных силою, но и милосердия.

Долго деревеньку никто не посещал, а потом соседи, в город ездившие, привезли вести нежданные. Не забыл князь киевский, как преградили ему дорогу вятичи, не желая ссоры с дикими. Негоже, решил он, одному племени в сторону от прочих смотреть. Одни у нас обычаи, единой земле быть должно. Кого лаской, а кого силою вразумил. Не сказать, чтобы побил, а так, потрепал. Но так, чтобы вдругорядь не возвращаться да не разобъяснять тем, кто надумал в лесах отсидеться, — нет больше вольных вятичей, теперь всем племенам хоть и в особину, а заодно жить…

Приметил Илья, в окошко глянув, вышел отец провожать странника, довел до ворот, остановились они. Разговаривают о чем-то. Отец голову опустил, а странник время от времени на избу взгляд бросает. Постояли, поговорили. Развел руками странник, вышел за ворота, повернулся к Ивану, поклонился в пояс, и пошел себе далее, лучшую долю искать. Горько стало мальчику, ох, и горько…

А раз как-то, едва год начался, снег еще не везде сошел, едва-едва первая зелень показалась на обширных проталинах, голос зычный на дворе раздался: «Отворяй, хозяин!», и удар в дверь, да такой, что чуть с петель не слетела, даром что не заперта была. Иван и Ефросинья о ту пору дома были. Вздохнули, переглянулись. Ефросинья из горницы прочь вышла, Иван у стола встал. В проем вошел, — у Ильи аж дыхание перехватило, — богатырь, как в сказках деды описывали: статный, в плечах широкий, усы и борода густые, нос картошкой, глаза суровые, в кольчуге и при мече, щит за спиной. Не спросясь, отодвинул Ивана в сторону, сел на лавку, на Илью глянул. Тут второй в избу прошмыгнул, ровно лиса. Невысокий, шапка неразбери поймешь, с головы свесилась, не понятно, как и держится, кафтан потрепанный, сам худосочный, сумка на боку. И что еще Илье запомнилось, — все остальное как-то поблекло, — нос длинный, острый, что твоя стрела.

— Стало быть, сын у тебя в возраст вошел, а потому двойная подать с тебя причитается. Надел твой того же размера остался, а вот рук рабочих прибавилось, — сорокой прострекотал остроносый и на Ивана уставился. Хищником смотрит.

Помолчал хозяин, потом вздохнул тяжело и ответствовал, с горечью в голосе.

— Верно ты сказал, вошел сынок в возраст. Да только вот рук рабочих не прибавилось, беда с ним приключилась, обезножел он. Ходить не может, куда там с сохой управляться.

— Обезножел он, или нет, до нас это не касается. Сегодня он,

может, и не ходит, а что завтра будет, про то никому не ведомо. Позови знахаря, заплати — не поскупись, и вся недолга.

— Не первый день бедствуем. Не помогли ни знахари, ни знахарки. Одна только и осталась надежда, что на чудо.

— А хоть бы и так. Чудо — так чудо. Только зю до твоих забот дела нет, у него своих хватает. Пользуешься землей, что дружина посадская от ворогов оберегает, плати, сколько сказано. Хочешь, мехом плати, а не то — деньгами… Добром не заплатишь…

Посуровел Иван, нахмурился. Туча тучей стоит, кулаки сжал. Что-то сейчас будет!..

— Что, селянин, на кулачки переведаться хочешь? — раздался голос богатыря. Не насмешливый, будничный, даже вроде как усталый. — Ну так пойдем на двор, потешимся. В избе, оно не сподручно как-то…

Не обидела Ивана природа силушкою, ну да и в дружину посадскую не с дороги берут. Молодцы там — что твои быки, к потехам ратным привычные, не токмо что себя в обиду не дадут, сами кого хочешь обидят. Их голым кулаком и видом суровым не испугать, — не то видели…

Опустил голову Иван.

— Не охотник я, нет у меня мехов.

Вышел из горницы, вернулся с тряпицей сложенной. Развернул, достал два кружка блестящих, на стол положил.

— Вот и славно! — поднялся богатырь. — Забирай, дальше пошли!

И легонько так остроносого подтолкнул. Только это кому легонько, а кому… Тот едва в дверь не втемяшился, однако ж кружки со стола ухватил. Цепко так, ровно филин зайца, ухватил. Дверь распахнул, и в сени. А богатырь будто замешкался у порога. Глянул на Ивана, на Илюшку, что на печи замер, и вышел, ничего не сказав.

Погодя немного, подхватил Иван сына на руки, вынес на крыльцо, усадил. Сам рядом сел. Ворота полураскрыты, видно, что в деревушке делается. Ничего. Словно вымерла. Взрослые не ходят, мальцы не бегают. И тихо, ни собак, ни даже кур не слышно. Скрипнула позади дверь. Тихо спустилась Ефросинья, рядышком присела. Удивительно даже: крылечко ни весть какое, двоим с трудом разминуться, а тут трое сидят — и ничего, не теснотно.

— Тять, а это богатырь княжий был? — осмелился спросить Илюша.

— Княжий да не княжий, — ответил Иван. — Город наш нынче князю подать платит, а мы, как и прежде городу. А городом

нашим люди богатые правят. Как и что делать, промеж себя решают, как у нас, на сходе. Посадника выбирают, чтобы каждый день сходы не чинить…

Сколько так просидели, не ведомо. Только послышались смех, говор, конский топот. Не торопясь, проехали по улице мимо ворот вершники: двое остроносых, — это Илюша их так назвал, хотя второй вовсе таким и не был, — да пятеро богатырей-дружинников. Собрали, что положено было, назад подались.

А деревушка так до вечера и оставалась, будто вымершей…

Разные люди в избу хаживали…

Сколько лет минуло с той поры, как оступился Илюша у крыльца, когда лучиком робким среди грозных грозовых туч глянула надежда. Рассказал Ивану странник, а тот, как мог — Ефросинье передал, — да только и отрок слышал. Впрочем, какой же он о ту пору отрок был? Мужать начал, в силу входить, кабы не недуг — всем бы взял. Ну да не о том речь. Говаривал странник Ивану, что ходят по свету белому люди; точнее сказать — по обличью-то люди, а по словам да делам… Многое знают, многое умеют. Им, поговаривают, книга особая дадена, голубиной именуемая. В сорок сажен длиной, в двадцать шириною. Страницы у нее не пергаминные, а тонкого серебра; буквы-то в ней не чернилами писаны, а чистым золотом. Кому на роду написано, — только тот прочесть и может. Потому — в книге той все тайны прописаны, и земные, и небесные. Кто прочел ее — ввек не забудет, силу обретет такую, что и представить невозможно. Не ту силу, чтоб обороть кого, а иную, сокровенную. — Уж не о волхвах ли говоришь, что по темным лесам да пещерам живут, от людей хоронятся? — Нет, не о них. Волхвы — те на одном месте обретаются, свои у них книги, свои порядки. Эти же что ни день, на новое место переходят, потому и прозвание им — калики перехожие. — Как же их узнать-то? — А просто. Лапотки-то у них из семи шелков, в носке камешек самоцветный; сносу им нет. В руках — посох из рыбьего зуба, в девяносто пудов. Ну, а в остальном — кто как, вот, скажем, как мы с тобой. — И что же они, все могут? — Сказано же тебе, книга у них такая, что все про все прописано. От любой хворости избавляют. — Ты сам-то видал? — Сам не видал, а люди сказывали. — Ну, иной сбрехнет, не дорого возьмет… Да и где их искать-то, калик твоих? — Про то не ведаю. Может, и искать их не надо… Коли они таковы, как про них сказывают, может, они сами придут, когда время настанет…

Крепко запали в душу Илье слова странника. Улучил он времечко, да и спросил дедов, слыхивали ли они что-нибудь про калик перехожих? Переглянулись Тимофей с Яковом, крякнули. Не может такого быть, чтобы случайно до того их о том же самом

Иван спрашивал. Верно, отвечали, сказывают в народе про таких. Да только небылицы все это. Сам посуди.

Жил да был далеко отсюда, в тридевятом царстве тридесятом государстве царь, по имени Аггей. Померла у него жена, и остался он с красавицей-дочерью…

Вышел Илья из возраста, когда хлебом не корми, а расскажика лучше сказочку. Да только, если уж к слову пришлось, есть ли он, возраст такой? Казалось бы, наперед знает, что дальше будет, и про злую королевну, и про то, как невзлюбит она падчерицу, как изводить ее будет, и чем все закончится, а вот поди ж ты — сидит, как говорят в народе, уши развесивши, и представляет себе все, да так явно, будто перед собой въяве видит. И то сказать, не каждому счастье такое дается, чтоб слово его за живое схватывало. Иной начнет рассказывать — хоть и правду, а слушать его — проще из избы сбежать; а иной соврет — заслушаешься. Чего далеко ходить — через пять домов по улице. Живут там, вот как Тимофей с Яковом, друг напротив друга, Братило и Долговяз. Не знает кто, при встрече подумает — враги записные. А на самом деле — ничуть не бывало; лодка у каждого есть, челн-долбленка, сеть, — рыбной добычей промышляют. Ну, и соперничают, не без этого. Только как сойдутся, говор между ними начнется, ажно облака во все стороны разлетаются. Кто из них лучшей, да кто удачливей. Кто дока, а кто так просто, за околицу вышел. Так вот. Выхватит, положим, Братило сома, здорового такого, одному не унести, а сказать про то не токмо что складно, а и вообще… Руки растопырит, глаза выпучит, вот такого, мол, поймал. И впрямь чем-то сома напоминает. Иного слова сверх сказанного и не добьешься. Не то — Долговяз. Улов у него неудачный — пара-тройка лещей, да и те — лучше б не показывал, а рассказывать начнет — заслушаешься. Ни разу такого у него не случалось, чтоб без оказии. То у него водяной в сети запутается, то русалка (тут он так расписывать начнет — бабы краснеют, мужики только покрякивают), то лось (реку переплывал, да в сеть и угодил), то на диво какое зазевался и весь улов упустил. Однажды такое поведал — народ три дня к реке не ходил, боязно было. Видел он якобы ладью, против течения поднимавшуюся, а на ладье той парус черный и воины мертвые. Вспенивают весла воду, а плеска не слышно. И прямо к нему плывет. Куда деваться? Тот камень, к которому челн веревкой привязан, быстро не поднять. Только тем и спасся, что в воду потихоньку сполз да возле борта и держался, пока мимо не проплыла. И вот что удивительно: видели мужики, что это он в воду свалился, когда из челна на берег выбирался, — за весло запнулся, — а все равно поверили…

Ну да Тимофей с Яковом Долговязу не больно уступали. Тот, единственно, все больше про свои подвиги и рассказывал, а эти — про чужие. Хотя правда с выдумкой у всех их так переплетались, что и не разберешь. А еще, Долговяз — он словно по-новому все переживал: и руками-то размахивал, и вскакивал, и бегал, и приседал, и по коленям себя хлопал; бывало, и слушающего за рубаху или порты теребил. Эти же неторопливо рассказ вели, словно завлекая, так слово за словом приговаривая, будто баба сарафан вышивает; стежок за стежком, пока не предстанет глазам узор дивный. Помотает тогда слушающий головой да и спросит себя: где ж это я обретаюсь-то? Только что посреди моря-окияна был, на острове, или во дворце кащеевом, или в пещере разбойничьей — ан нет, почудилось. Вот она, завалинка знакомая, али горница, али скамья возле забора. И слова-то вроде простые, всем ведомые, а вот поди ж ты, как ладно складываются…

Слушает Илья про царя Аггея, и в который уже раз удивляется. Царь — он ведь самый главный над всеми, а живет в своем дворце — как все. И с женой нелады, и о том как дочь замуж выдать думать надобно. Разве что пашню не пашет, да хозяйством не занимается — ну так ему о подданных печься следует, чтобы в мире жили, чтобы торговали, чтобы царство процветало. А тут мало того, что соседи-хищники — дашь слабину, того и гляди, отхватят полцарства, и не заметишь как, — еще и Змей лютый огнедышащий объявился. Подавай ему царевну, а не то все царство разорю. Не нашлось у Аггея богатыря достойного, чтобы со Змеем сразиться. Был у царевны жених, принц заморский, да куда там ему супротив чудища. Уж как плакал Аггей, как убивался, а делать нечего. Отвел царевну на берег моря-окияна, оставил одну в шатре, и, горем убитый, во дворец воротился. Настал час, всколыхнулось море-окиян, вспенилось, пошло волнами, вымахнуло из него чудовище — и к шатру. Только чует, — вьется-вьется, а все как будто не движется. Оглянулось, видит, мужичонка какой-то стоит. Нос картошкой, борода лопатой во все стороны, волосы соломенные из-под шапки поношенной повыбились, и одет-то во все ветхое, заплата на заплате. Сума на боку, да посох кривой деревянный в руке. И вот это-то чудо гороховое, наступило невзначай на хвост, на самый кончик, однако ж и того хватило, чтобы Змею на месте оставаться. Подивилось чудище, спрашивает: «Ты из каких будешь? Сколько живу на свете, а такую невидаль в первый раз встречаю». — «Зовут меня Иванищем, отвечает, а то, что в первый раз встречаешь, оттого и живешь, и безобразничаешь». — Еще больше удивился Змей. — «Вот тебе и на, оно еще и грозится. Да

я тебя проглочу — и не замечу». — «Как же ты меня проглотишь? С головы я костист…» — Фыркнул Илья, услышав окончанье присловья, а деды как ни в чем не бывало дальше продолжили. — «Ничего, по мне и такой сойдет», Змей отвечает, и как дыхнет пламенем. Раз дыхнул, другой, третий… Стоит себе мужичок, не шелохнется, нипочем ему жар огня змеиного. В этот раз чудище ни удивиться толком, ни сказать ничего не успело. Взял мужичок свой посох в обе руки, да как начал Змея со всех сторон по бокам охаживать, только гул стоит. Не сладко пришлось чудищу — это только на вид посох легким казался, а весу в нем было пудов эдак под пятьдесят… Лупит он его, и приговаривает…

Ну, да не важно это… Сказка эта вроде так, а вроде и не совсем так сказывалась. Слов-то озорных в ней хватало; но не через край, а в меру и где надобно. Оно тогда как-то поживее выходит, и к жизни поближе. Закончилась чем? Отвозил Иванище Змея от души, да и отпустил на все четыре стороны с наказом больше не безобразничать. Царевну во дворец отвел, от милости и подарков царских отказался, побрел себе дальше по белу свету… Может, так было, а может, и не совсем так. Сказка все-таки…

Сколько весен с той поры минуло, кто ж их считал? Когда день на день похож так, что и не отличишь, — разве что был намедни дождь, а сегодня вёдро, или мело вчера поземкою, а нынче солнышко в окне лучиками поигрывает, — ну так это на улице. А в избе не меняется ничего. Только вот морщин вроде как у Ефросиньи прибавляется, да серебра в волосах; Иван тоже кряжистей становится, ростом пониже, и силушка в руках уже не прежняя стать. Другие-то внуки, что у Тимофея, что у Якова, кто женился, кто замуж вышел, а Илья, — хоть и старшенький, хоть и собой пригож, — кто ж за него пойдет?..

О ту пору принес, — едва-едва покос начали, — странник захожий вести страшные. Кончились одни дикие, другие начались. Новый народ в Степи пришел, пуще прежнего лютует. Сгубил князя киевского, и дружину его, богатырей. В честном бою одолеть не смогли, — хитростью взяли. Князь тогда далече от Киева находился, когда принес гонец ему весточку, что осадил город народ неведомый, ни во что славу его ставят, грозят разрушить до камешка, кого мечу предать, а кого в полон увести. Воину собраться — мечом подпоясаться. Не стал князь дожидаться; разделил дружину свою на две части. Большая часть на ладьях отправилась, а он, с малой дружиной, самыми славными богатырями, берегом подался, потому — путь по воде уж больно долог, а тут поспешать надобно.

Того и надобно было ворогам. Подстерегли его на речных порогах, навалились всею силою. Храбр был князь, не ведали

страха богатыри его; приняли они бой неравный, вступили в сечу лютую, — и полегли, как один. Нет более защитника Киеву, разгорелась замятня за старшинство над землями русскими среди сыновей княжеских, жди теперь снова набегов поганых.

— Неужто все богатыри полегли? — сжималось сердце у Ильи, не верил, отказывался верить он страннику.

— Сколько было с князем — все. Только слух в народе идет, остались те, кто в поход не ходил, — Святогор-богатырь, Микула Селянинович да Вольга Святославич… Но вот чего не видывал, — за то не поручусь…

А еще через пару лет не стало и Тимофея с Яковом. Как жили, так и ушли; в один день вознеслись дымом белым, чистым, к небу синему. Ни ветерка в тот день не было, ни облачка. Тянулись ввысь две полоски, тянулись, да и исчезли. Знать, жизнь прожили по совести, все, что на роду написано было, — содеяли, потомкам своим жить заповедали. Иной уходит — стелется дым, вдоль земли вьется; осталось, значит, после человека что-то незавершенное, может, дело какое на половине встало, а может — обидел кого, да не примирился, — наказ это близким, что пока на свете белом остаются, закончить, завершить, примириться, ежели надобно.

Совсем одиноко стало Илье, без дедов-то. У братьев да сестер своих дел по хозяйству невпроворот, куда уж им безногого развлекать. Прочие в деревеньке тоже приобыкли; уже и не жалеют Ивана с Ефросиньей как прежде жалели; раньше спрашивали, как сын, потому — надежда какая-то оставалась. Оставалась-оставалась, да вся и вышла. Можно сказать, забыли про Илью; его по мере лет все реже видеть стали — тяжко отцу выносить его, богатырем стал… По виду.

Илье тоже все тяжеле и тяжеле на свете белом. Слышит он разговоры отца с матерью: позарастать стала пашня, не справляются; еще прежде отец говаривал: подрастет сынок, вдвоем оно поспособнее будет землицу от пней высвободить — надел-то их в лесу, часть раскорчевана, а часть так и осталась лучших времен дожидаться. И ведь что за обиду — есть силушка в руках; кажется — встать, пойти в чисто поле, найти кольцо железное, заветное, взять, потянуть — перевернул бы землю-матушку… Вот только не встать никак…

Так минуло еще несколько весен с той поры, как деды ушли.

* * *

…Не спалось Илье в ту ночь. Душновато как-то в избе было,

да и мысли невеселые одолевали. Тишина стояла такая, что урони соломинку на пол — грозой прогремит. Слушал поначалу, — не хотелось, а слышал, — как родители, тяжко вздыхая, о дне завтрашнем договаривались; когда корчевать, когда за скотиной уход держать, что еще — дел-то в хозяйстве, невпроворот. Потом собаки перебрехивались, кто-то на улице перекликивался, а затем стихло все. Лишь изредка, в углу что-то шуршало и то ли попискивало, то ли поскрипывало — может, мышь, а может, кикимора. Свет лунный, что в окошко пробивался, поначалу на одну стену тень оконную отбрасывал, потом пополз медленно вниз, по полу, на другую стену перебрался, а Илья все заснуть не мог. Забылся он лишь тогда, когда черный мрак за окном стал потихоньку стал сереть, и не слышал, как поднимались и собирались родители, как ставили рядом, — но так, чтобы во сне не столкнул, — миску с вареной репой, кувшин с молоком, чугунок со щами из свежей крапивы да половину хлеба. Как подались из избы, стараясь не шуметь, осторожно прикрыв дверь…

Разбудил его шум на крыльце; кто-то оперся о перильца, да чуть не слетел; расшатались они, а отцу все поправить недосуг. Сколько грозился, а все что-то отвлекало. Послышались приглушенный возглас, какая-то возня, а потом голос, молодой, звонкий, — не поймешь даже сразу, то ли отрочий, то ли девичий, нараспев произнес, уже в сенях:

— Дому сему — мир и лад, да пребудет он крепок и добром богат. Обойдут стороной его злые болести, минуют печали, минуют горести. Хозяевам милостивым — поклон до земли, не приветите ли путников, что в избу зашли? Пожаловали гости, никем не званные, по белу свету хожалые, люди странные. Шли мы долго, совсем обезножели, так не корите же нас строго, что мы вас потревожили. Нам бы присесть на чуток, да водицы глоток. А коли дадите хлебушка да попотчуете кашей — не будет меры благодарности нашей. Коли примете с ласкою, потешим песнею, а хотите — так и сказкою…

Наступила тишина. Илья вслушивался.

— Нешто нет никого? — неуверенно произнес голос. — А как же сказали…

— Ты постучи, да глянь осторожненько, — отозвался другой, принадлежавший явно пожилому, если не старцу. — Коли нет никого, пойдем далее. Негоже эдак-то, без хозяев…

Дверь скрипнула, приоткрываясь. В образовавшуюся щель осторожно протиснулась голова парня, весен шестнадцать, с всклокоченной соломенного цвета шевелюрой и каким-то озорным девичьим лицом. Быстро обежав взглядом горницу,

парень приметил смотревшего на него не мигая Илью, на мгновение замер, затем почему-то весело подмигнул и исчез, не притворив двери.

— Есть хозяева, — радостно поведал он кому-то в сенях. — Да еще какие! На печи лежат…

— На печи?.. — протянул пожилой. — В разгар дня — и на печи?.. Да полно, не помстилось ли тебе? Весенний день он, почитай, год кормит…

— Ну, чего вы там? — буркнул Илья и кое-как сел, привалившись к стене. — Корни пустили, что ли?

— Да нет, — раздался голос парня, — испужались маленько.

Дверь распахнулась. Слегка пригнувшись, словно мог задеть головой о притолоку, хотя проем был достаточно высок, в горницу через порог аккуратно переступил парнишка, — весен десять, — за ним благообразный старец, этот без возраста; последним — парень с соломенными волосами. Чинно встав один подле другого, они поясно поклонились Илье.

— Вы проходите, садитесь за стол, — дружелюбно произнес Илья. — Звиняйте, что не могу встретить как положено. Нездоров я…

— Медведь, должно быть, помял, — вполголоса заметил парень.

Одеты они были одинаково, просто и опрятно. Длинные рубахи чуть выше колена, перехваченные обычной веревкой вместо пояса. Порты до лаптей, онучи. Рубахи и порты серого полотна, недавно тканого; лапти — недавно плетены. Волосы перехвачены незатейливого узора ремешком. Сумы на боку. У парня в руках ореховая палка чуть выше него ростом. У старца за спиной гусли. В общем — люди как люди. Ничего особого, ничего приметного. Мимо пройдешь, и не вспомнишь, что повстречались.

— Ильей меня зовут. А вас как величать прикажете?.. — Прежде, чем спросить, подождал, пока гости не сядут на лавку. Первым, лицом к Илье, проскользнул отрок, затем, держа его за руку, чинно присел старец. Парень примостился на краешке. Он и отозвался.

— Старшого — Бояном люди зовут. Младшего — Васяткой. Меня — Тимохой, а иные Звенисловом кличут.

— Это за что ж тебя так?

— Ты сказки в детстве слыхал? — ответил вопросом на вопрос Тимоха.

— Ну, слыхал…

— Помнишь Бабу-Ягу? Она прежде гостей своих кормила — поила — в баньку водила, ну а дальше, там уж как придется… Насчет баньки сами видим, а вот до остального…

— И то верно! — спохватился Илья. — Вы уж не серчайте. Поотвык я малость от людей. Завсегда либо батюшка, либо матушка гостей привечают, так что… Ты, Тимоха, как в сени выйдешь, там дверь есть, в чуланчик. В чуланчике — погреб, рогожу сдвинуть да крышку поднять. Редька там, чеснок, грибы… Репа… Каши хотели? И каша там гороховая, в сенях, тулупом драным накрыта. Миски и ложки на полках. Хлеб-соль, вот, у меня возьми. И щи из свежей крапивы… Ведерко с водой колодезной, — вон оно…

Парень пожал плечами, поднялся, взял у Ильи хлеб и мешочек с солью, перенес и бережно положил на стол перед своими спутниками. Туда же поставил щи. Вышел в сени. Было слышно, как он открывает дверь в чулан и чем-то там гремит.

Пока Тимоха собирал на стол, Илья повнимательнее присмотрелся к странникам. Мальчонка, тот был один в один Егорка Горыныч, хотя какой он теперь Егорка, — сколько лет прошло… Но только по виду. Того за что Горынычем прозвали? За шалость. Есть гриб в лесу, плотный такой, белый весь, пырховкой зовется. Только белый он, пока сорвать можно, да сварить. А когда время прошло — становится он цветом, как медведь. Сверху отверстие. И ежели наступить на него — выпустит облако пыли, не отмоешься. Вот Егорка и придумал: наберет грибов таких, высыплет из них пыль в стебель дягиля, потом как дунет с другой стороны — ни дать, ни взять, змей огнедышащий… А зимой на ледянках — сколько раз себе нос расшибал… Теперь-то уж, небось, семьей обзавелся, давно его Илья не видел. Мальчонка же сидит себе смирненько, глаза в стол уставил, руки убрал, и молчит.

Старец тоже молчит. Степенный такой, хоть и худощав на лицо. Волосы седые, усы прячутся в бороде, а борода уткнулась в грудь. Глаза светлые… Хотя, постой-ка… Как же это сразу… Там, где у людей зеницы, у старца — вроде как пленкой светлой подернуто… Ахнул Илья про себя.

Хорошо, Звенислов возвернулся. Этому палец в рот не клади, егоза, ровно на гвоздь сел. Иной одну мису целой не донесет, половину порасплескает али порастеряет, — этот сразу пять тащит. Две на ладонях, две на сгибе в локтях приспособил, и еще одну — на голове. Ба! Еще и ложки за пояс заткнул.

Метнул на стол, снова исчез — снова тащит. Молока кринку, — про молоко Илья и позабыл совсем. Вот тебе и гость; словно век тут жил. Распоряжается… Но с другой стороны — сам же сказал, чтоб на стол собрал. К тому же, в народе как говорится? Гость в дом — радость в дом, все что есть в печи, все на стол мечи. Только это вроде как про званого гостя говорится…

А еще, помнится, деды рассказывали, а им — их деды, что будто бы из поколения в поколения предание передается: коли пришел гость, накорми-напои; нет ничего в доме — в лепешку расшибись, укради — а не выпусти из дома голодным да уставшим. В старину за воровство люто казнили — руки рубили без всякой пощады, но коли поневоле, для гостя, тут прощалось. Впрочем, воровство — оно не в обычае было, да и осталось не в обычае — вон они, избы, не заперты стоят, ворота открыты, ежели не ночь…

Наконец, принялись обедать. Степенно, не торопясь. Илья разломил душистый хлеб, — мать в него что-то добавляет, травы какие-то, для запаха пряного и сохранности лучшей; день полежит, не счерствеет, а коли на солнышке немного подержать — так и вообще, будто только что из печи, — посыпал солью. Взял репу. Странники же щам честь воздают. Поначалу старец зачерпнет, выхлебнет, руку к столу опустит; за ним Тимоха, тем же порядком, потом Васятка. Снова старец. Закончились щи, крошки хлебные со стола смахнули с ладони, и в рот. За редьку взялись. Звенислов себе такую ухватил, что и глянуть страшно. Вот ведь уродилась — дубина дубиной. Такой зайца пришибить можно, ежели метнуть удачно. И ведь осилил! Потом репу, с голову величиной, одолел. Грибов мису, с чесноком. Залил ковшом воды колодезной, к стене отвалился, руки на пузе скрестил, глаза в потолок. Лицо счастливое, ровно сто гривен на дороге отыскал.

Васятка со старцем — те менее проворные. Они больше на кашу гороховую налегли, мать давеча большой горшок сготовила.

Наконец, все вроде как насытились. Наелись-напились, мальчонка ложки-миски ополоснул, сохнуть положил. Теперь и поговорить можно.

— Вы, говорите, много по белу свету странствуете. А вот такие… калики перехожие, вам не встречались? — осторожно спросил Илья.

— Это кто ж такие будут? — встрепенулся Тимоха.

— Ну, это… — рассказал Илья, что от дедов слышал, как помнил, так и рассказал. — Не видали таких?

Мог бы и не спрашивать. Ответ у Звенислова на лице читался.

— Знаешь что, Илья, человек ты, по всему видать, хороший, одно плохо — лет тебе много, а ты все в байки разные веришь. Сказка же, она… Да чего там далеко ходить, обещано было — коли приветят хозяева ласковые, песню пропеть, сказку рассказать. Насчет песен, тут я не силен, врать не буду, это ты Бояну поклонись, а рассказать…

Не зря народ прозвания дает, ох, не зря! Зазвенели слова, полилась речь ясная, чистая, озорная. Позабыл Илья о своем

недуге, слушает. Вроде и не в избе он, а там, где действо происходит. Тимоха же, как нарочно, такие потешки выдал, что только посреди мужиков и рассказывают. Их еще заветными называют. Про то, как заяц обещался лису осрамить; один раз обещался, а вышло трижды. Да про то, как молодец с купцом рассчитался, когда тот его в работники нанял, а ничего за год не заплатил, — обманул. Ну, ту самую, когда он еще лошадь с телегой поперек забора перепряг, когда купца дома не было, одна купчиха оставалась… Еще чего-то. И как рассказал: ни одного слова запретного, срамного, обидного не произнес. Илья хохотал, — на другом конце деревни слыхать было, — аж раскраснелся весь, ровно после бани. Смолк, наконец, Звенислов, а не то — уморил бы до смерти.

Вытер Илья глаза, — рукава у рубашки мокрыми стали, и не заметил как, — спохватился.

— Да что ж ты при малом-то такое? — спросил с укором.

Тень пробежала по лицу Тимохи.

— Повоевали дикие деревню, в которой он с отцом-матерью жил, — тихо сказал он. — Что смогли — забрали, остальное — огнем пожгли. Отца на дворе… Мать — в полон. Сам чудом в живых остался… Выше сердца копье прошло. Выходили. Вот только с поры той — не говорит и не слышит.

— Что, совсем? — сказал, чтобы хоть что-то сказать, Илья. Глянул на Васятку, и так его болью прошибло с макушки до пяток, что мало волком не взвыл.

— Ну, не то, чтобы совсем…

— Это как же прикажешь тебя понимать?

— А как хочешь, так и понимай. Ты лучше вот что: поклонись Бояну, да попроси спеть-сыграть. Может, тогда и поймешь.

— Как же я поклонюсь, если… нездоров сильно…

— Медведь, что ли, помял? — Дался Тимохе этот медведь, опять ведь вспомнил.

— Нет, не медведь… С чего взял?

— Так на тебя глядючи. Неужто существует на белом свете такая хворь, чтобы эдакого богатыря одолела?

— Знать, существует…

— Медведь, он перед тем как напасть, на задние лапы встает, — глядя в упор на Илью, ни к селу, ни к городу завел Звенислов. — Потому в древности, когда на него с рогатиной и ножом ходили, время улучали. Встанет он на дыбы, раскинет лапы, тут ему рогатину под пасть… И рука должна быть верной и твердой, о втором ударе речи нет…

— А коли нет рогатины? — К чему это он разговор такой завел?

— Зубы у него, и когти страшные. Не убежать, не на дерево влезть, потому — проворен. Так что думай…

— Не пойму я, — Илья покачал головой. — С чего это ты про медведя-то?..

— Да так, к слову пришлось… Кланяйся, говорю, Бояну.

— Ну что ты пристал к человеку, ровно репей, — неожиданно вступил в разговор старец. — Сам же сказал, и человек хороший, и встретил приветливо, и напоил-накормил.

Он неторопливо сунул руку за спину, потащил гусли и положил их перед собою на стол.

— О чем же тебе спеть-то? — задумчиво протянул старец. — А вот хотя бы и эту…

Как над тем-то да над городом Черниговом,
Да над тем-то селом да над Березовым,
Восходило в чисто небо солнце красное…

И опять — не в избе Илья, ни слов не слышит, ни струн перепев. Видит он деревушку возле озера, рощу березовую, дорогу, вдаль змеей извивающуюся… Словно парит он на крыльях в вышине подоблачной над землей. Ладная деревушка, такая же ухоженная, как и ихняя, только размерами поболее. На озере — лодки, на полях — ратаи, на огородах — бабы, ребятишки — по улице носятся. Один в один, почти, как у них. Ан нет, кузня есть, и мельница тоже.

А потом увидел Илья, вымахнула из леса туча черная, понеслась через поля к деревушке. Не сразу понял, что это дикие. Только как понял, крылья сложил свои невидимые, чтобы сверху орлом броситься, — нет, не дано ему вступиться. По-прежнему парит он в вышине, сердце из груди рвется, из уст — крик неслышимый, а поделать ничего не может. Внизу же искорки зажглись, понеслись молниями, ударили в ближние крыши, огнем к небу взметнулись…

И вот уже Илья не в небе, — посреди улицы. И видит, и слышит, а двинуться по-прежнему не может. Гудит пламя, сизый дым по земле стелется, не продохнуть, мечутся люди, пытаясь спастись от всадников, да только где там… Свистнет стрела, — уткнется в траву тот, кто мгновение назад *живым* был. Метнется гадюкой черной аркан, — поволок всадник того, кто мгновение назад *свободным* был. Мелькнет в дыму клинок, коротко торкнет копье — пошатнется и припадет на колени тот, кому на роду написано было, постоит так да и опустится мягко, ровно вздремнуть прилег. Вой, крики, треск огненный, ржание, грохот изб оседающих — бьется в голове Ильи единым боем, — но не

отвернуться, ни глаза закрыть, ни уши заткнуть…

Сколько прошло времени, спроси — не ответит. Может, час, а может — несколько мгновений. Только за это время столько увидел, — больше, чем за всю прожитую жизнь. Иным такие видения волосы в зимний цвет красят, Илья очнулся — с такой силой пальцы в камень печной впились, как только в песок не искрошил… Сердце из груди рвется, воздуху не хватает, слезы злые глаза застят… Все сам видел, о чем Тимоха умолчал. И как пал под саблей ратай, с вилами на всадника кинувшийся, как другой всадник поволок на аркане жену его, мать Васяткину, и как сам мальчик, бросившийся вслед, напоролся на копье и упал, истекая кровью…

А в избе тихо. Ни звука. Старец гусли снова за спину задвинул, глаза невидящие веками прикрыты. Застыли Тимоха с Васяткой, ровно деревянные.

Сколько так просидели — неведомо.

Наконец, Звенислов поднялся.

— Ну что ж, хозяин ласковый, спасибо тебе, за то, что напоил-накормил, отдых дал путникам усталым. Пора нам. Кваску, напоследок, не найдется ли?

— В чулане, на полке. Кринка там, рядом с ковшом, который в виде ладьи. Старенький такой ковш, почернел уже. Только, боюсь, и того не наберется…

И точно, не набралось. Принес Тимоха, едва больше половины ковша. Старцу протянул, сам глоток сделал, Васятку попотчевал, поставил на стол. Взял в руки палку свою ореховую. Поднялись люди странные, стали в дверях, поклонились поясно.

— Бывай здоров, хозяин. Извини уж, что потревожили, ежели что не так…

— Так, не так, перетакивать нечего… Эх, страннички! — воскликнул вдруг Илья и шарахнул кулаком по печи. — Разбередили сердце молодеческое!.. Что же это? Как же это? Дикие там домы разоряют, детей сиротят, а я здесь…

— А я здесь… — поддразнил Звенислов. — Кто ж виноват, что ты здесь? Ступай в Киев, там новый князь дружину набирает, ему богатыри нужны. А пуще земле нашей, матушке…

— Пустобрех ты! Сказано же было, нездоров я, немощен…

— Погоди, погоди, — Тимоха прищурил глаз. — Нездоров, или немощен?..

— Ноги у меня не ходят, — буркнул Илья и уставился в угол.

— А в руках силушка есть? Ну-ка, держи палку.

Звенислов протянул Илье орешину и, как только тот, не понимая, зачем, ухватил ее за конец, — дернул. Даром что выглядит неказисто, — слетел Илья с печи, — и об пол со всей

дури.

— Да ты… Да ты что… — вскочил на ноги и замер с открытым ртом.

Сколько лет на ногах не стоял, уж и надежду потерял, и вдруг…

— Ты, Илья, на лавку присядь, да кваску хлебни, — услышал он насмешливый голос Звенислова. — А то, не ровен час, от радости с ума соскочишь, как с печи летел…

Не помнит себя Илья. Присел на лавку, ухватил ковш, махнул единым разом. Не квас по горлу, огонь живой побежал по жилам; дыханье сперло, тело силушкой наливается, ровно растение по весне соком земным.

— Ты только того, охолони сперва маленько. Снова на печь, и в себя приди. Дров не наломай. Подумай и реши, что да как. А нам пора.

Какой там — на печь. Выскочил Илья из горницы, ухватил Звенислова за плечо, к себе развернул.

— Кто же вы, люди хожалые, люди странные? Уж не те ли самые калики, о которых мне деды рассказывали?..

— Ты, Илья, думай себе как хочешь, твоя воля, а только ежели придется когда тебе по жизни с каликами столкнуться, обходись с ними ласково, приветливо, вот как с нами обошелся. Обиды не чини. Запомни еще: коли приведет тебя дорога в дружину княжескую, не вступай в рать с Святогором-богатырем, потому — первый он среди прочих остался; ни с Микулушкой Селяниновичем — любит его мать-сыра-земля, не даст в обиду; ни с Вольгой Святославичем — этот не силою, хитростью возьмет. Коли последуешь этому совету, — не написана тебе смерть на рати; коли не последуешь… Ну да сам не дурак…

— Погодь… погодь еще немного. Как… чем я могу отблагодарить вас?..

— Нас?.. Ты не нас, ты бабе спасибо скажи, что нам твой двор указала.

— Бабе?.. Какой бабе?..

— Откуда ж мне знать?.. Плотная такая, лицом светлая… Да, глаза у нее еще зеленые-презеленые…

— Должно быть, Велеслава… Больше некому…

— Может, она, а может, и нет… — Тимоха с улыбкой взглянул на Илью. — Ты еще вот что не забывай: зубы у медведя, и когти страшные… Про дружину подумай, про землю нашу… А теперь — прощевай.

— Еще одно слово: увидимся ли когда еще?

— Гора с горой не сходится, Илья, а человек с человеком… Не горы, чай. Свидимся.

И пошли себе со двора.

Только вот что удивительно: сколько потом Илья не выведывал осторожненько, никто из деревенских странников не встречал…

* * *

Давно уже скрылись за воротами люди хожалые, а Илья все никак места себе не найдет. Переполняет радость грудь молодецкую, рвется наружу, не удержать. Вбежал в избу, ухватил лавку, поднял, на место ухнул; стол ухватил — и этот, легче перышка. Мало, наружу не выкинул. Кровь играет, себя не чует. Сдурел совсем, что глухарь на току. Верит — и не верит, боится поверить. То в присядку пустится, — неловко, смешно, да кто ж осудит-то? То в сени выскочит — к Велеславе бежать, в ножки кланяться. Угомонился наконец, присел на лавку, голова пустая, рот до ушей — дурачок деревенский, да и только. Поднялся, выскочил в сени, сунул голову в кадку с водой, — и обратно на лавку. Как быть, что делать? Правду Тимоха сказал, охолонуть маленько надобно, в себя прийти, поразмыслить.

А как Бояна с Васяткой вспомнил, так и совсем радость отхлынула. Беда на Русь вернулась. Усмирили одних диких, исчезли они с лица земли, — другие пришли на их место. Такие же свирепые, волки степные хищные. Богатырей князь в дружину ищет, новых заместо старых. Неспроста странники в избу к нему заглянули, ох, неспроста. Знать, не суждена ему жизнь мирная, хлебопашеская. Знать, лежит его дорога в Киев-град, ко двору княжескому.

Но что же отец с матерью? Как же они? Один ведь он у них… Не успеют порадоваться, что сын их снова на ногах, что сбылась мечта их давняя, заветная, а он… Поклон вам земной, отец-матушка, прощевайте, ждет меня дорога дальняя да подвиги славные, богатырские? И то сказать, какой из Ильи воин? Он сроду никакого оружия в руках не держал. Хотя, по правде, он и пахарь никакой.

Нет, правду сказал Тимоха, тут с кондачка не решишь.

Вернулись отец с матерью. Лежит Илья на печи, как прежде. Сказал, что заходили странники, передохнули маленько, и пошли себе дальше. Приветил, как мог. Только Ивану с Ефросиньей не до странников. Умаялись, а еще по избе дел — не переделать. Пока ужинали, все про пашню разговор вели. Позаросла сильно, пни, кажется, с каждым годом все дальше и дальше корни пускают. Лес придвигается, скоро совсем от надела ничего не

останется. Хорошо бы родственников на помощь позвать, да куда там — у них самих то же самое. Поужинали — мать корову доить, отец — стучит чем-то возле огорода. А Илья на печи думу думает, да времени подходящего ждет.

Дождался, наконец. Угомонились в избе, угомонились в деревушке. Слез Илья с печи, прислушиваясь постоянно, как бы ему отца с матерью не потревожить. Не потревожил, силы у них уже не те, подустали. Разложил полушубок, прикрыл рогожей, так, чтобы видимость осталась — здесь он, никуда не делся. А сам, в три погибели согнувшись, к двери, приотворил потихоньку — не выдала скрипом, — и на двор. Выпрямился, раскинул руки во всю ширь, глотнул воздуха, ночными ароматами пропитанного. Не очень погода, месяц наполовину вороны склевали, облачка понабежали, — ну да выбирать не приходится. Хорошо, ветерок свежий.

Крадется вдоль забора — ровно тать какой. Ровно не на дело доброе отправился, а озоровать. Крадется, и сам себя вразумляет. Ведь и впрямь — озорство. Возмужал уже, почему не открылся родителям? Выложил бы все сразу, просто и ясно, что в отсутствие их приключилось. Сначала поведал осторожно, потом сел аккуратно, слез… Только что уж теперь об этом рассуждать. Коли уж решил без головы, так хоть дальше бы не обмишуриться.

Счастье пока сопутствует — ни тебе навстречу кто, ни собака учуяла. Да и недалеко до околицы — две избы оставил за спиной, вот тебе до леса и рукой подать. Если б не запинался на каждом шагу, по сторонам не оглядывался. Не только, чтобы не заметили, а больше — внове все. Сколько лет на улицу не выходил… Вроде как знакомо кажется, а вроде и нет. Ну да времени нет, поспешать надобно. До надела-то отцовского — трое поприщ. Пока туда, пока обратно, там еще сколько. Ежели по тому судить, как родители промеж себя говорили, за один раз не совладать.

Вышел Илья за околицу — бегом припустился. Пока поприще до лесу пробежал, пару раз к земле приложился. Поразбили дорогу телегами, повывернули комьев с камнями; добро бы еще луна полной была, или облака ветром поразвеяло, посветлее — оно и сподручнее.

Идет по лесу. Попритерпелись глаза к темноте, попроще стало. Кажется ему — придвинулся к деревушке подлесок. Некоторые деревья узнает — какими были, такими остались; могучие, кряжистые, не властно над ними время. Иных нет — должно быть, на дрова пошли. Тихо-то как… Только живая тишина, не мертвая. Коли остановиться да постоять, замерев, много чего услышишь. Тут тебе и шорохи, и покряхтыванье, и шелест, и уханье… В другой раз постоял бы, а сейчас

поторапливаться надобно…

Вот он, наконец, надел отцовский. То ли от того, что вырос, то ли от того, что лес свое забирает, чуть не вполовину меньше кажется, чем когда в последний раз видел. С одной стороны, к дороге ближней, взрыхлена земля; видно, тут и расчищали. Пара ям больших, — интересно, какого ж размера пни в них сидели? Эге, да тут таких не один и не два осталось, — с десяток, если не поболее. И чего, дурья голова, топор не прихватил? Спрятал бы в сенях топор, пару клиньев, все дело веселее б было. Неужто голыми руками такие махины своротишь?.. Так ведь не бежать же обратно. Глаза боятся — руки делают. Сколько смогу, выворочу, а остальное — завтра.

Подошел к ближайшему, обошел вокруг. Боятся глаза… Выбрал, где корень потолще из земли вывернулся, наклонился, ухватил поудобнее, потянул. Тот и не шелохнулся; нет веры у Ильи в силу свою, потому и не шелохнулся. И так, и сяк тянул Илья, ничего не выходит, только взопрел весь. Отпустил корень, пошатал пень — крепко врос, присел, пот отер. Посмотрел на ладони, провел ладонями по портам. Вот тебе и богатырь русский, подумалось, в дружину княжескую собрался, диких воевать, а с пнем совладать не может. Подступила обида к горлу, а тут еще Васятка некстати вспомнился. Или кстати?..

Чувствует Илья, зашевелилось что-то в нем, забурлило, побежало по всему телу волной горячей. Встал, — не видит ничего, кроме копья того, да мальчонки лежащего, с раной кровавой. Наклонился, ухватил корень, — словно нитку гнилую из земли вырвал. Один корень, второй, — вот уже половина пня свободна, — теперь за комель, как давеча лавка пушинкой показалась, так выполз, покряхтывая, пень из земли, досадуя, что не устоял, что поддался силе человеческой.

Глянул на него Илья, усмехнулся. Что, не по нраву? Взял, за что попало, да и метнул куда-то в темноту. К себе прислушался. Играет сила, течет по телу потоком огненным, но не жгучим, к делу просится.

Второй пень за первым последовал, и не заметил как. Вроде только ухватил, а вот он уже весь рядом, будто сам выскочил. И его за спину метнул, куда подальше, потом как-нибудь соберется.

Месяц по небу вершков на пять-шесть подвинулся, как Илья пришел, а уж весь надел и расчищен. Не полностью, конечно, поросль молодая осталась, ну да ее повыкорчевать, — час времени. До света еще далеко, а другие наделы — вот они, рядышком. Чьи они, разве вспомнишь? Так это и не важно.

Раззадорился Илья. Выскакивают пни, один за одним, точно чеснок из кувшина. Кряхтят, улетают во тьму. И не видит, как

показалось из леса ровно облако темное. Ростом повыше человека будет, да и в обхвате поболее. Замерло, затаилось. Выжидает, должно быть.

А Илье некогда. Во вкус вошел. Дернет — метнет, дернет — метнет… Пока не попался наконец такой, что заартачился. Не хочет из земли выбираться, да и все тут. Только Илье упрямства не занимать стать. Присел, ухватил за корни с обеих сторон, уперся ногами, и начал потихоньку выпрямляться. Жилы вздулись, дрожь по телу пошла. Чувствует: то ли подниматься начал, то ли в землю уходить. Ан нет, поддается, вражина. Понемногу, а поддается. Месяц выглянул из-за облачка, дивуется. Блеснуло вроде что-то под ногами, звякнуло вроде. Нельзя бросить, посмотреть. Дашь слабину — упустишь удачу. Это как щуку тащить. Держи веревку в натяг, чтобы сопротивление чувствовать. Чуть провиснет — выскочит рыба из воды, мотнет головой — и пошла себе гулять. Хорошо еще, крючок оставит. Крючки, они больно дорого стоят…

И не видит, как за спиной у него облако черное, столбом тумана застывшее, к нему двинулось. Движется, и меняется на ходу. Снизу подобралось, сверху раскинулось, раздалось в стороны. Рев страшный раздался, про такой говорят — деревья к земле клонит.

Оторвался Илья от пня, — тот так и остался наполовину из земли торчать, — оглянулся. Идет к нему медведь, — огромный, черный, глаза красным горят, пасть раззявил. То на четыре лапы встанет, то на две задние приподнимется, головой из стороны в сторону поматывает. И ревет.

Видит Илья — не скрыться ему, не спрятаться. Под рукой нет ничего, только пень. Это только для тех зверь неуклюжий, неповоротливый, кто о нем только из сказок знает. Только в сказках от него убежать или на дерево забравшись спастись можно. Коли б такое въяве, иной бы зверь в лесу хозяином был.

А медведь все ближе, вот уже и на лапы задние встал, сейчас бросится… «Зубы у медведя, и когти страшные…», «…рогатину под пасть…» Само как-то на ум пришло. Спасибо, Тимоха, пока жив, помнить буду… И Илья, очертя голову, сам вперед бросился. Наклонился слегка в сторону, чуть пригнулся — чтобы когтей избежать, да и обхватил чудище лесное поперек туловища, под лапами, вжавшись головой под пастью раскрытою.

Взревел медведь, так взревел, что мало голова не лопнула, однако ж поделать ничего не может. Сучит за спиной у Ильи лапами, над ухом чавкает, — только слюна из пасти летит, — давит тяжестью. Да только не на того напал. Уперся человек ногами в землю, противостал силе силою, а тяжести тяжестью,

нет зверю дикому ни в чем преимущества. Душит запахом тяжелым, а тот его — объятиями крепкими, из которых не вырваться…

Чувствует Илья, слабеет медведь, поддается. Теперь главное — самому не оплошать. Только слышит, вроде как шепчет ему-то на ухо. Невнятно так, не разобрать, но слова вроде человеческие. Шалишь, сила вражья, не обманешь мороком. Однако ж, неволею, прислушался.

— Пус-ти, Иль-я… Пус-ти, го-во-рю… За-да-вил сов-сем… Твоя взя-ла…

Будь что будет!.. Нельзя вот так, о милости просящего, жизни лишать… Нешто мы дикие какие?..

Разжал Илья руки, отскочил в сторону, смотрит с опаскою. А медведь охнул как-то по-человечески, да и обмяк. Только-только горой возвышался, а склонился, от пня, что рядом, не отличиться. Приподнялся, набрал воздуху, повздыхал часто, дух перевел. Глядит Илья, диву дается. И не медведь перед ним вовсе, человек в тулупчике, на правую сторону запахнутый. Не ровен час, никак самого едва не задавил…

— Вот ведь медведь какой уродился, — буркнул хозяин и присел на пень.

— Так это ж не я медведь, а ты… Чего прикинулся-то? Не мог по-доброму? Показался бы, сказал, в чем дело. Ты ж меня мало жизни не лишил…

— Это еще кто кого мало не лишил… Думал, пугану — и уберется. А ты не из пугливых оказался. Думал — помну слегка, да и отпущу, а ты меня самого помял… Не обижен, силушкой-то.

— Да ладно тебе, — говорит Илья, и сам себе дивится, вот так, запросто, с хозяином? — Кто старое помянет, тому глаз вон. Чего пужать-то вздумал? Нешто тебе пней жалко? Сам погляди, разве ж это пашня? Позаросло все… Пни торчат…

— Пней жалко… Не пней, да не всех. Все — они обыкновенные, а ты за заговоренный взялся.

— Заговоренный?.. — Илья ушам своим не поверил.

— А ты глянь, что под ним. Глянь-глянь, не бойся, сказал же, твоя взяла…

Слез, отошел в сторонку. Наклонился Илья, глядит. Как раз месяц из облаков выбрался, осветил яму, а в ней — посуда всякая, желтого да белого металла, кружочки, украшения. Никак клад?

— Не маленький, знать должон, — вздохнул хозяин. — Когда на сохранение в лесу оставляют, кого приглядывать просят? С кем договор заключают? То-то же. Давно лежит, хозяев, небось, и в живых давно уж нету. Твой он теперь, забирай. На вот тебе мешок. Только вот, Илья, над чем подумай. Сумел взять — сумей

распорядиться. Не сумеешь — хлебнешь горюшка; сам погибнешь, и других погубишь.

— А ты что посоветуешь?

— Я в людских делах не советчик… И вот что: ты тут наозорничал, днем исправить все надобно будет.

— Это что же я такое наозорничал?

— От людей услышишь. Прощевай, Илья. Не забуду, как ты меня давил, но и что сердца послушал, — тоже не забуду. Коли не тебе, так сродственникам твоим помогу. Окорот дам лесу, чтобы пашен ваших не глушил. Со зверьем помогу, как время охоты придет. А теперь прощай.

Поднялся, и исчез в лесу. Покачал головой Илья, надо ж такому случиться, рассказать кому — не поверят. За дурня сочтут. Собрал золото-серебро, уложил в мешок, выхватил пень, швырнул в темноту, и пошел к дому.

* * *

…Проснулся Илья поздно, и сразу услышал, как родители шумно разговаривают о чем-то возле крыльца. Прислушался. Чудные дела случились нынче ночью. Какие-то неведомые силы раскорчевали наделы, а пни побросали в овраг так, что перегородили течение Агафьи. Оно, конечно, доброе дело сделали, но так созорничать — лучше бы совсем не делали. Сами бы справились. Деревушка гудит разговорами, ровно потревоженный улей, а никто ничего толком сказать не может. Никто ничего не видел, не слышал. Так вот о чем хозяин речи вел… Что ж, оно и к лучшему. Не век же на печи скрываться. И отцу-матери открыться надобно, и поправить, что ночью не видя натворил. Позвал негромко. Вошли родители.

— Ну что, сынок, проснулся? — ласково спросила Ефросинья. — Кушать будешь?

— Я это, — буркнул Илья, точно в омут с головой.

— Что — ты?

— Слышал я, как вы с отцом возле крыльца разговаривали… Ну, про озорство… Не знаю, как уж и сказать… Ну, в общем, я это созорничал… Не со зла… Не видно было…

Переглянулись Иван с Ефросиньей. Вздохнули. Была одна беда, стало две…

— Ты, Илья, приляг пока. А я покамест за Велеславой… — пробормотал Иван, глядя в угол. Ефросинья отвернулась, слезу смахнула.

— Да нет же, батюшка, — не знает Илья, как и говорить, язык

застревает. — Не все сказал я вам, ну, про странников тех, что давеча приходили… Вы присядьте, послушайте…

Присели родители. Начал Илья рассказывать. Как мог, через пень-колоду. Все больше в потолок смотрит, лишь изредка глаза скашивает. Видит: не верят ему; хотят верить, а не верят.

Поднялся Иван.

— Погоди, Илья, погоди. Сейчас мать тебе поесть подаст, а я все ж таки пока за Велеславой…

— Батюшка… Нет уж, это ты погоди…

И не успел Иван и шага шагнуть, рывком поднялся Илья на печи, сел, свесив ноги, соскользнул, встал, — руки в стороны. Зато Иван на ногах не удержался. Зашатался, и на лавку. Рот раскрыл. Ахнула Ефросинья, закрылась ладонями. Смотрят родители — глазам своим не верят.

— Матушка, батюшка! — бросился Илья перед родителями на колени, обнял, зарылся головой. — Вы уж простите, не знал, как вам открыться… Сам не сразу поверил… Помочь решил… Вот и натворил…

— Илья… Илюшенька… — шепчет Ефросинья. Не может слез остановить. И сказать ничего не может.

— Ты, что понатворил, исправить должон, — Иван тоже не знает, что сказать. Дрожит голос; руку поднял — ущипнуть себя хотел, уж не снится ли, — так и рука дрожит, ровно у старика векового.

— Радость… радость-то какая!.. — вскинулась Ефросинья. — Что же это… к родным надо… к соседям… всех звать… столы накрывать… радость-то…

Схватилась, и выскочила из избы.

Вышли и Илья с Иваном. Глядь — а уж народ подходит. Мнутся в воротах, друг друга вперед подталкивают. Сколько лет мимо ходили… Бабы из-за столбов приворотных выглядывают, ребятишки. А вдруг ослышались, вдруг померещилось… Нет, не померещилось. Вот он, Иван, а вот, рядом с ним, Илья. Улыбаются оба приветливо, руками машут: чего замешкались, проходите. Илья-то, Илья!.. Не узнать, как мальчиком был. В плечах раздался, усы, борода, стоит крепко, и силушки, видать, не занимать стать. Подходят сельчане, робеют. Иван с Ильей — навстречу. Слово за слово, разговор поднялся. Ну, тут уж осмелели.

Получаса не прошло — едва не вся деревушка на двор к Ивану сбежалась, разве уж совсем немощные по домам остались. Удивляются, расспрашивают, шум, гам. Бабы Ефросинью обступили, а та никак в себя от радости прийти не может, — плачет и плачет. Во всю жизнь, должно быть, столько слез не извела, сколько за эти полчаса. Велеслава пришла. Ей Илья уже

совсем было в ножки поклониться собрался, да только зря. Не видела она никаких странников, никому про него не рассказывала, никого на двор не посылала. Да разве ж это важно?

Видит Илья, — все кто мог пришли, — на крыльцо поднялся, слово сказать.

— Вы уж извините, люди добрые, — развел он руки в стороны, — никакая это не вражья сила Агафью пнями запрудила. Я это… Не со зла или озорства, темно было, не видел, куда складывал. Исправлю все. Вот сейчас прямо пойду и исправлю…

Наступила тишина. Потом кто-то недоуменно произнес:

— Да нешто такое возможно, одному-то? Али тебе помогал кто?

— Никто не помогал. Сам справился.

— Да ну… Быть такого не может… Чтобы столько повыкорчевать, да в реку покидать… Ты, Илья, хоть и оздоровел чудесным образом, а все ж таки не того… Не морочь, людей-то… — зашумели сельчане.

— И не думал морочить… Я и доказать могу, что сам все понатворил…

— Это чем же ты докажешь? Пни, небось, все повыдерганы…

— А вот чем.

Зашел Илья в избу, вышел с мешком.

— Я, когда пни дергал, нашел кое-что. Не мое это, не мной положено, не мне и владеть. Пусть старики решают, что с этим делать. Потому как, по разуму моему, всему обществу это принадлежать должно.

Сказал, да мешок и опрокинул. Полилось на землю серебро-золото, живым потоком, полилось, зазвенело. Те, кто рядом стоял, в стороны прянули; показалось им, будто змея на солнце чешуей блеснула. Притихли все. Смотрят, дивуются. Вот ведь денек выдался: сколько лет один на другой похожи, а тут — чудес, как из ведра.

— Я вот что думаю, — хоть и не самый старший здесь Иван, однако ж у него на дворе сход невольный собрался, к тому же, как-никак, сын его богатство отыскал. — Надо бы посуду эту, да украшения в город свезти, продать, а на вырученные деньги кузню построить, кузнеца пригласить, давно собирались. Отложить часть, на подати. В общем, так распорядиться, чтобы всем от клада этого польза была. Ну да вы решайте пока, мы же с Ильей пойдем озорство исправлять.

Пошли они. Идут, Илья отцу снова и снова про странников рассказывает. И про клад, как он ему достался. Поведал и про хозяина. Пока Ефросинья по деревушке бегала, он отцу коротко разъяснил, что да как, Иван и решение принял. Сразу, не

задумываясь. Оно и правильно: с возрастом человек мудрее становится, жизнь повидавши-то… А еще про сон странный.

Илья, как вернулся, только головой к тулупу прикорнул — так словно куда провалился. И снится ему, будто идут они с отцом вдвоем по дороге лесной, вот как сейчас. Беседуют о чем-то. И идут они вроде как к наделу своему. Уже почти лес миновали, навстречу им человек. Жеребенка ведет, невзрачного такого. Лошадь, чтобы под плугом ходить, и стать должна иметь соответствующую, а этот… Прошли бы дальше, да тут вроде как туманом дорога подернулась, и человек тот, с жеребенком. И вроде как голос раздался, женский. «Ты, Илья, как к мешку своему наведаешься, сунь в него руку. Ни украшения, ни посуду, ничего не бери. Возьми первую монетку, какой коснешься. Сохрани ее, с собой носи. Глядишь, и пригодиться когда…» Вот и весь сон.

— Так ты что же, так и сделал, как сказано было?

— Так и сделал… Я, вишь ты, только это и запомнил, из всего сна-то. Подумалось, а вдруг домовой нашептал? Да и не убудет от богатства этого, от одной монетки…

— Что ж за диво за такое, монетка эта?

Илья, вместо ответа, достал из портов тряпицу, развернул, отцу протянул. Круглая, должно быть из серебра. На одной стороне конь с крыльями имеется, на другой — вроде как богатырь какой-то иноземный, с дубиной. Повертел Иван, отдал. Никогда таких прежде не видывал. Пусть ее, есть не просит. Сейчас главное — перед Агафьей извиниться. Расчистить ей русло, дать волюшку, а пни сложить где-нибудь, чтоб не мешали. Потом спалить можно будет, а угли по полям раскидать, для урожая…

Жизнь недаром с рекой сравнивают. Где тихая, спокойная на много верст; изогнется лениво, и снова несет воды, ровно дремлет. А то вдруг сорвется с кручи, помчит, закусив удила, закрутит, завертит… Так и у Ильи вышло; все, что за столько лет не прожил, в день да ночь уместилось. Полетело, как на санях с горки. Только рай леса показался, мужичок навстречу, жеребенка ведет за недоуздок. Не такие, как во сне, но все ж таки… Переглянулись Иван с Ильей. Ох, неспроста все это.

А мужичок идет себе, хворостиною машет. Почудилось Илье, как приблизился, будто глаза у него разного цвета: один карий, другой зеленый. Жеребенок же ладненький, только для пахоты не пригоден. Это Иван подметил и шепнул.

— Здоров будь, мил человек, далеко ли путь держишь? — поприветствовали они мужичка, как подошел.

— И вам поздорову быть, — отвечал тот. — Вот, иду конька

продавать.

— Так это тебе в город надобно. А город, он в другую сторону…

— Что мне город? Хороший гость, — он везде товар продаст.

— Нешто ты гость?

— Гость — не гость, а красный товар имеется.

— Шутишь? Какой же он красный? Ему красная цена — полгривны в базарный день.

— Как же не красный, коли ты уж и торговаться ладишь?..

— Чудно просто… Сколько ж ты за него хочешь?

— Сколько хочу — про то сам ведаю. Я его, может, не каждому и продам.

— С такими ухватками — по миру пойдешь… А ну как людишки лихие встретятся, — задаром возьмут.

— Как возьмут, так и отдадут. Не простой у меня конек — заговоренный. Я его, прежде чем на продажу вести, к знахарке сводил. Та на него заклятие и наложила. Только доброму человеку служить будет, да еще такому, кто его купить сумеет.

— Велика хитрость — коня купить… Говори, сколько просишь?

— Ты прежде в зубы ему глянь, бабки пощупай, а там уж и решим.

Только было Иван потянулся в зубы жеребенку глянуть, тот фыркнул, заржал тоненько и едва не укусил его за руку. Успел отдернуть.

— Не по тебе конек, — вздохнул мужичок. — Непродажный, выходит.

— А мне можно? — спросил Илья, до сей поры не вмешивавшийся в разговор.

— А погляди; за погляд денег не берут…

Смирно стоял жеребенок, пока Илья его обсматривал да общупывал. Поняли отец с сыном, к чему дело клонится, только виду не подают.

— Дорого просишь? — спросил, наконец, Илья.

— С тебя — недорого. Всего-то одну денежку. Коли есть — так бери, а коли нет — прощевайте.

— Какую же мне тебе денежку дать… Разве вот эту? — И протянул ему Илья ту, что у него завернутой была.

Взял мужичок платок, развернул, достал денежку, повертел туда-сюда, на зуб попробовал.

— А хоть бы и эту. Держи, — протянул он Илье платок и недоуздок. — Ты теперь вот что сделай. Ты его отдельно от других поставь. Корми отборной пшеницей. Не пускай со двора три месяца. Минет срок — выводи в чисто поле на рассвете.

Пускай в трех росах искупается. Назад ведешь — пусть через забор перепрыгивает. Как перепрыгнет с улицы на двор, а со двора на улицу — с той поры не будет в целом свете коня лучше. Только тебя слушать будет, только тебя носить, или не только тебя… — Мужичок глянул на Илью прищурившись. — Сам увидишь. — К Ивану повернулся. — Говорено тебе было: хороший гость — он везде товар продаст? Так-то вот.

Спрятал денежку, повернулся и пошел себе — хворостиной помахивает. И Иван с Ильей дальше пошли, запруду разбирать. Вот-вот покажется, когда остановился вдруг Илья.

— А народу-то чего скажем, про жеребенка-то? — спросил он. — Ведь ни весть что подумают. И исцелился, и клад нашел, и наделы почистил, и еще коня привел…

— Вот и я о том же думаю, — почесал затылок Иван. — Народ у нас хоть и добрый, а не глупый. Ежели правду рассказать… Мне бы такое рассказали, не поверил бы. Время выгадать надобно. Гость этот что говорил? Три месяца его на дворе держать, отдельно от других. Ну да у нас окромя Серко других-то и нету. Мы давай вот что сделаем. Как работу покончим, я прямиком к избе пойду, а ты с жеребенком — задами. Возле огорода привяжи, а ночью, как разойдутся, мы ему пристроечку временную сделаем. А там глядишь, что-нибудь и придумается. Ах ты ж, вражья сила!.. Ты глянь, чего понаделал-то!..

Глянул Илья — и про жеребенка думать позабыл. Сколько ж пней он за ночь выворотил?.. Устроил запруду мало в два человеческих роста. Там, где речка протекала, пусть и маленькая, только лужи да ручеек, — воробей перепрыгнет. Растения водные повытянулись; были свежие, зеленые, а теперь припекло их солнышком, сомлели совсем, повяли. Рыба в лужах плещется, которая вслед за водой уйти не успела. А по другую сторону завала поднялась, плещется, тонкими струйками сквозь пни да окрест них новую дорогу ищет. Тут как к делу приступить, непонятно. Дернешь не за то, обрушится плотина, даже и думать не хочется, что случиться может.

Так прикинули, эдак, и вот что порешили. Надобно воде хоть какой простор дать. С одного берега ближний пень убрали, вниз спустились, на другой перешли, там убрали. Потом посмелее за дело взялись, по нескольку зараз выволакивать стали. Это хорошо еще, что Агафья и прежде полной водой не баловала, да и дождей не было. Только все доставать не стали. С умыслом оставили. Тут русло везде ровное было, а стало с разливом. Пни — они для хищника прибежище. Для окуня, щуки, налима… И ребятишкам поплескаться есть где, не то, что раньше. Ну а коли народу не понравится, вернутся потом с крючьями, вынут. Солнце-то уж за

деревья спряталось, вечереет.

Как задумали, так и случилось. На сей раз без нечаянностей. Когда к избе вернулись, там их уже накрытые столы ждали. Каждый из своего дома хоть чего-нибудь, да принес. Сочли за неловкое объедать. Понятно, радость у людей, хотят, чтобы и другие порадовались, а все равно неловко — такое богатство Илья миру передал… Едва не ночь гуляли всей деревушкой. Никто и не заметил, что виновник торжества опосля всех к столу подсел. Только и разговоров было, что про исцеление чудесное, да про кузню, да про то, как заживут теперь… А как мед хмельной в голову ударил, — и про папоротник цветущий припомнили, и про разрыв-траву, и про плакун. Нашлись горячие головы, хоть сейчас в лес, на берег или на болото бежать, травы искать, клады доставать. Предания вспомнили, кто когда слышал; по всему выходило — деревенька их в таком месте стоит, что стоит где копнуть — тут тебе и сокровище зарыто… Ближе к рассвету угомонились.

Про жеребенка Илья сам Ефросинье поведал. Что уж он там рассказал, не знамо, но она вроде как не особо удивилась. Еще одна лошадь в хозяйстве, за недорого? Добро. Не бабье это дело. Ее дело — присмотреть, обиходить, корму задать, коли мужчинам некогда. Пшеница отборная… Нет никакой пшеницы, окромя овса да ржи. А купить — по миру пойдешь. Ничего, овес да рожь и не таких стригунков на ноги ставили.

Снова жизнь пошла — тишь да гладь. Илья с отцом в поле, только не дается ему крестьянский труд. Пахать — не портами махать. Соха — ее чувствовать надобно. Как в земле идет, где поднадавить, где послабить. Не умеючи, то ремень порвешь, то лошадь запаришь. Не может Илья никак с силушкой своей совладать. Играет она в нем, наружу просится; то борозда вбок уйдет, то Серко встанет — пар от него идет, ровно из проруби на морозе. Ну да ничего, научится.

Пару недель всего-то и прошло, как беда приключилась. Собралось несколько сельчан в город, на ярмарку. Как получилось, никто и не понял, что все золото-серебро найденное, с собою взяли, на продажу. Опять же, насчет кузни поговорить. Видно, желание глаза застило. Припрятали в ворохе тряпья, подались. И наехали на людей лихих. Думать забыли, когда в краях этих тати водились. Только сказки да предания про них и остались. К тому же, в сказках да преданиях разбойнички все больше за народ стояли, защищали от обид, потому как сами из народа. Эти же все забрали, в одних портах домой пустили, мало, что жизни не лишили. Сколько их было? — Видимо-невидимо. Велики глаза у страха. Может, и было всего ничего, а страх глаза

пошире разъял… Что ж теперь делать-то? В город управу искать? Да как же в город — ушли куда люди лихие, али стерегут, дорогу-то?.. И то сказать — а ну как поймают их да выспросят, откуда серебро-золото взялось? Не случилось бы, как в присказке: пошел порты из беды выручать, так и головы лишился…

Притихла деревушка. Не бегают в лес ребятишки, девки с парнями все больше на бережку, в виду. По избам топоры-косы-вилы вострее вострого держат. Иного оружия нету — была одна сабля, от диких во времена незапамятные осталась, и ту куда-то подевали.

День к вечеру опускался, как раз Илья с Иваном пристройку закончили. Дверь навесили. Никто из деревенских не заметил; не до того было. Осмотрели со всех сторон, довольны остались. Присели на лавку. Видит Иван, неладное что-то с Ильей творится. Неспокойный он. Спросил напрямки.

Тут Илья ему прямо и ответил, не стал запираться. Негоже ему в избе отсиживаться. Отпусти, батюшка, золото-серебро людям вернуть, с разбойничками силушкою переведаться, за обиду посчитаться. Начал было его Иван отговаривать: что тебе золото — ветром нанесло, ветром унесло, — не слушает. Слово поперек не говорит, а в голове супротивное держит. Задумался Иван. Понятно, не об золоте сын думает, о людях обиженных. Может, и впрямь так судьбой заповедано? Уж больно к одному все складывается. Столько всего случилось, чего прежде никогда не бывало. Не то что дедами не сказывалось, — прадедами. Не пойдет Илья против слова родительского, только к добру ли против воли удержать? Самого, небось, не особо неволили…

— Добро, Илья, иди, — сказал Иван, и сам себе подивился. Совсем другое молвить хотел: пойдем в избу, поужинаем, пораскинем умом, что да как. Будто подменил кто-то слова. Знать, судьба…

— Прости, батюшка, коли что не так, — поднялся Илья. — Я скоренько обернуться постараюсь.

— Так ты что же, вот прям сейчас?.. На ночь глядя?..

— Чего ж тянуть-то?.. Может, они уже за тридевять земель подались, тогда трудненько придется… Да и есть у меня одна задумка…

— Вот оно значит как, — протянул Иван. И подумал вдруг: ему б лет хоть с десяток с плеч скинуть, сам бы пошел. — Добро, — повторил. — Ступай. А с матерью я сам… Смотри только, чтоб обратно побыстрее… И помни еще: кровь людская — не водица, не проливай понапрасну-то…

— Батюшка…

Хотел Илья в ноги отцу броситься, да тот не дал — обнял,

прижал к себе крепко, отнял от груди, в глаза глянул.

— Ступай…

Повернулся Илья, зашагал решительно к воротам, пальцы в кулаки сжимает-разжимает. Не успел десятка шагов сделать — зря делом рук своих любовались: разметал жеребеночек стойло, дверь с петель — ровно не из дерева, ровно из улья осиного сделаны, в два прыжка рядом с Ильей оказался, глазом косит. Куда ж ты, хозяин, без меня собрался? — спрашивает. Тут уж и дурню ясно станет, а Иван с Ильей не дурни стать. Переглянулись промеж себя, да и расхохотались. Махнул рукой Иван, в избу пошел. А Илья за ворота, да к лесу…

Идет по дорожке лесной, поторапливается. Жеребеночек рядышком держится. Вот уж наделы позади остались, а до того места, где страннички людей обидели, еще версты две, не меньше. Засветло б туда попасть, да осмотреться хорошенько. Они ведь лошадей с собой забрали, и телеги, не может такого быть, чтоб следов никаких не осталось. К тому же, знали, что погоня если и будет, то не скорая, могли особо не таится. Сумеречно в лесу становится, приумолкли звуки дневные. Прислушивается Илья — в такой тишине любой звук издалека слыхать. А тут на тебе — баба навстречу, с лукошком. Травы какие-то собирать ходила, не иначе как знахарка. Незнакомая, не из ихней деревни. Идет, не торопится, слово, должно быть, заветное знает.

— Далеко ли торопишься, добрый молодец?

Глядит Илья, не поймет толком. По виду — баба, а голос звонкий, как у девки. Станом крепка, лицом приятна, походка плавная, а глаза — зеленые-презеленые. С такой днем встретишься, опаска возьмет, не то что в сумерках посередь леса…

— Что молчишь, язык проглотил? — поддразнивает. — Али девки прохожей испугался?

— Ничего я не испугался, — буркнул Илья.

— На базар, что ли, собрался? Жеребенка ведешь…

— Увязался…

— Ну, не хочешь говорить, не говори. Мне с тобой тоже разговаривать недосуг.

И пошла было себе дальше, да остановил ее Илья.

— Ты это, погодь маленько. Ты здесь ничего не слышала?

— Птицы поют, звери бегают, деревья листвой шелестят. Лягушки, вон, квакают.

— Не про то я…

— А про что?..

И как только случилось, что Илья ей рассказал? Не собирался

ведь, хотел попрощаться и идти себе, рот открыл — и слово за слово, ровно из дырявого мешка. Спокойно выслушала, голову набок чуть склонила, в глаза смотрит и слушает.

— Вон оно значит как, — протянула, как пропела, когда Илья замолчал, коря себя на чем свет стоит. — Смеркло уже, ничего не разглядишь. Идем со мной, помогу тебе.

— Да ты что! — шарахнулся Илья в сторону.

— Идем, идем. Я здесь недалече живу. Не бойся, не обижу.

Не умеет Илья с девками да бабами себя держать. Ефросинья для него уж и невесту подыскала, а он, как с печи встал, не то что заговорил — и не посмотрел толком ни на одну. Если б не жеребенок, в жизнь не пошел бы. А то ли баба, то ли девка — потрепала стригунка по холке, тот прижался к ней, словно к родной, глянул на Илью большим глазом. Ну, коли так… Того не вспомнил, как покупал.

Свернула с дороги — и в лес. По тропинке. Не было ее, когда мимо шел, иначе заметил бы. Голову под топор, конечно, не положу, а не было. И прытко так идет, легко, ровно летит. Жеребенок впереди, Илья чуть приотстал.

— Так ты что же, одна живешь здесь?

— А ты чего спрашиваешь: просто так, али интерес какой есть?

Тьфу ты, лучше уж молчать.

Озирается Илья. Он сюда прежде не забегал. Ну, может один раз и было. Оврага вот этого, к которому вышли, не помнит. Ни родника, ни избушки по другую сторону. Вниз спустились, она в сторону свернула, не стала подниматься. По дну оврага пошла, не так, чтобы далеко. Остановилась, Илью подождала. Сунула руку в лукошко, достала траву какую-то невзрачную, протянула.

— Разжуй хорошенько, и проглоти.

Как бы не так! Не на того напала… Кабы не взгляд этих глаз, зеленых-презеленых…

Взял Илья траву, сделал, как велено было.

— Смотри теперь.

Смотрит Илья, будто маревом каким склон оврага подернулся. Разошлась в стороны зелень свежая, открылась дверь, железом окованная, семью замками пудовыми завешенная.

— Не всякому дано замки снять, не всякому дверь откроется. Гляди.

Опять сунула руку в лукошко, опять траву достала. Приложила к замку. Ахнул замок, разлетелся в кусочки мелкие. А чему удивляться-то? Перед разрыв-травой ни один не устоит. Только смотрит Илья — не было замка, ан опять на прежнем месте висит.

— Не про меня дверь эта. Ну, чего столбом стоишь?

Делать-то чего? Ключей нету, а голыми руками, ежели заговоренные, вовек не возьмешь. Приподнял Илья замок одной рукой, другой за дужку взялся. Щелк! Тот и открылся. Вот чудеса! Так все и снял, дверь распахнул.

Думал, обдаст сейчас затхлостью, — ничуть не бывало. Факелы на стенах вспыхнули. Видит Илья: стоит конь оседланный, будто спит, висит кольчуга, словно вчера сплетена, шелом, щит темно-алый, меч в ножах, кинжал, булава, лук, колчан со стрелами. Глядит — глазам своим не верит. Скосил взгляд в сторону.

— Чего уставился? Обещала ведь: помогу.

— Зачем мне это? Я ж ничего такого никогда в руках не держал.

— Никогда не держал, а теперь придется. Идем в избу. Накормлю тебя, напою, спать уложу. Поведаю кое-что, научу, как быть. С рассветом сюда вернешься.

Кто ж такая? Одна живет, не боится, травы ведает. Ну, коль травы ведает, должно быть, и еще кое-что… Спросить про хозяина? Он ведь, случаем, помочь обещался…

— А жеребенок твой пока у меня останется, — говорила промеж тем жительница лесная. — Придет время, верну. Сараюшка у меня есть, сено в ней держу, там переночуешь…

Ага, сено. Скажи еще, сама накосила, сама высушила…

Избушка показалась Илье очень похожей на их собственную, разве что без забора. И снаружи, и внутри. Будто один мастер ставил. И сараюшки похожие, и огород. Может, в сумерках так показалось, может, в самом деле так, а может — глаза отводит. Ладно, одну ночь как-нибудь перетерпится.

Ужин — такой же, как и дома. Пироги свежие (а печь-то не топлена!), молоко (а коровы вроде как нету!), квас из ревеня. Пока насыщался, хозяйка напротив сидела, ждала. Как закончил да поблагодарил, на крылечко вывела. Поведала кое-что. А потом рукой махнула — ступай вон в сараюшку, на сеновал. Зашла в избу, дверь закрыла. Постоял Илья немного, сам не зная зачем — толкнулся в дверь. Не поддается, но чтоб засов двигала — не слышал. Кто ж такая? Спросить, что ли, поутру?

Вот только спрашивать поутру было некого. Проснулся Илья посреди поляны; конь неподалеку, оседланный, фыркает, головой потряхивает. Оружие на траве, шелом, кольчуга. Ни тебе оврага, ни избушки. Просвет меж деревьями — тропинка давешняя…

И сон какой-то странный всю ночь одолевал, не то сон, не то явь…

Собираться стал — правду сказала — все как по нем сделано.

Потащил меч из ножен, взмахнул, — словно всю жизнь в рати хаживал. Взял коня под уздцы, вздохнул, еще раз осмотрелся.

Нет, не разглядеть ему посреди листвы молодой глаз, зеленых-презеленых, не услышать слов, произнесенных с тоской неизбывною:

— А ведь мог бы моим быть…

3. ВЫ ЛЕСА МОИ, ЛЕСОЧКИ, ЛЕСА ТЕМНЫЕ…

Лес лесу рознь. Вот, к примеру сказать, дубрава. Спокойная, величавая. В солнечный день да в лунную ночь светом пронизанная. Деревам здесь вольготно; от ствола до ствола несколько саженей, редко когда ветвями переплетаются. Дуб — он и в смешанном лесу главный. Не веришь? Сам погляди. Сколько лет растет, никому не ведомо. А каких размеров бывают — рассказать кому, не поверят. Опять же, дрова дубовые, они самые жаркие. Опять же, веник в бане — и силу дает, и хворость любую прочь гонит. Под стать дубраве хозяин. Этот по-пустому аукать да заманивать не станет. Не по его норову. Помогать, правда, тоже не станет. Сам заплутал — сам и выбирайся. Озоровать — даже не думай. Дубки молодые — не трожь. Такой страсти напустит — лапти потеряешь, удираючи. Еще — мавок любит да привечает. Его право, хозяин. А ты не ходи в дубраву, как навьи дни настанут, обожди, нечего тебе здесь в эту пору делать.

Или, вот, березняк. Тоже ведь, и хворость гонит веником, и жар печи. А еще грибы на березе растут, — черные такие, потрескавшиеся, ни за что не скажешь, — гриб. От ста болезней помогает, силу возвращает. На бересте, говорят, буквы какие-то пишут. А Егорка Горыныч сорвет, бывало, с коры полоску белую, нежную, между больших пальцев сожмет, ко рту поднесет да как засвищет соловьем!.. Он и других птиц передразнивал, только соловей у него лучше прочих получался. Так вот береза эта самая. Неподалеку от деревушки, если вниз по течению реки идти, вдавалась в лес лужайка. Трава там была хорошая, да уж больно добираться плохо; а дорогу торить — не стоило того. Мест для покоса и без нее хватало. Год, а то и два туда никто не наведывался — не зачем было. А потом глянули — а там березки молодые всю лужайку затянули, не то что пройти, руки не просунуть. Маленькие, по колено, иные чуть выше. Прозевал хозяин, али нашкодил. Потому как ежели с умом, прореживать, не хуже дубравы роща березовая, только травы поболе, да повыше трава эта. Поговаривают, хозяин березняка на девку смахивает, или на Лелю.

Сосновый бор — особая стать. Здесь запах особый, ни с чем не сравнимый. И дышится легче, чем где-либо на реке, али там в поле. Потому и срубы избяные из сосны ставят, они и стоят долго, и болеют в них реже. Горыныч смеялся, мол, на хвост коровий

похожа: все гладко да гладко, а на конце кисточка. Или на гриб-курятник. Есть такой: куриное яйцо на ножке. И по вкусу на мясо курицы похож. Все залезть подначивал. Ну да дурней мало находилось: как ты на нее заберешься, коли ухватиться не за что? А если и залезешь, как потом слезать? Он единственный, кто умел. Говорили, что он себе когти железные сделал, как у белки, только не раскрыл секрета, как ни упрашивали. Хозяин в бору — на гриб-боровик похож. Такой же крепенький и ладненький.

К чему это? А к тому, что тот лес, в котором Илья оказался, на свету совсем по-иному глянулся, нежели в сумерках. Пока на дорогу вышел, кое-чего углядел. Не тот он, что возле их деревеньки, совсем не тот. Хоть и смешаны породы древесные, да возле деревеньки лес светлый, приветливый, ухоженный, а коли встречаются темные места с буераками, так их совсем немного. Оно и понятно, бури частенько старые дерева с корнями выворачивают; пойди, уследи за всем в одиночку. Сегодня здесь разобрал, завтра в другом месте повалилось. Там разобрал — поспешай в третье. За зверьем постоянный пригляд нужен. Здесь же лес… Мало того что дремучий, темный он, дикий, неухоженный. Пустынный какой-то, хоть и доносятся то справа, то слева, в его глубине, крики птиц. А может, и не птиц вовсе… Коли б не тропинка, уже и в болото бы влез. Коварное болото. С виду из себя как лужок приветливый, а присмотришься — у лужка этого и дна-то, должно быть, нету. К самой тропинке подобралось; кочками мохнатыми, елками чахлыми, покосившимися. Дурманом цветов околдовать норовит. Тут и пиявок, и комаров, как время настанет, видимо-невидимо быть должно. Молва народная рассказывает, что разбойники, ежели кто выкуп за себя давать не хотел, в чем мать родила, возле таких болот к деревам привязывали. Для сговорчивости. Сам выбирай, что тебе дороже: жизнь, али золото-серебро. Последнее — оно дело наживное, первое же — один раз дается. Только уж решай поскорее, ночь — она не очень длинная, а времени у тебя — всего одна ночь и имеется…

Или вот с другой стороны дороги — Илья к тому времени уже на дорогу вышел — по левой ее стороне, земля как будто огромными ямами изрыта. И сосны им под стать — небо кронами подпирают. Травы не видать, сплошь ковер из хвои и шишек. Там же, где корень наружу выпростался, местами песок проглядывается. Опять гиблое место. Кто-то из стариков рассказывал, попал он однажды в сумерках меж таких сосен. Заплутал, потому как глазу зацепиться не за что. Одинаковое все. Спустился — поднялся, и не понятно, то ли был здесь, то ли нет… В яму он угодил. Песок сыпучий под хвоей оказался. Сразу по

пояс ушел, а стоило пошевелиться — еще глубже проваливался. Как выбрался — не помнит, иначе и ворон костей бы не нашел.

Деревьев много, пополам поломанных. Вроде здоровое дерево, не с чего ему ломиться, а ровно великан какой позабавился. Переломил, будто соломинку, и дальше себе пошел. Так и осталось дерево, не живое, не мертвое; торчит пнем обезображенным, а верхушкой ветвистой, средь которой зеленые веточки виднеются, в землю уткнулось. Упавших, истлевающих, с корнями в рост человеческий, тоже много.

Дикий лес, гиблый. В такой без особой нужды не сунешься ни за дровами, ни за грибами-ягодами. Обидеть может, а то и пропадешь ни за денежку мелкую. В таком только татям да душегубам и место.

Думал было Илья к хозяину обратиться за помощью, тому самому, что медведем его пугал. Да видно, другой здесь хозяин. Такой же как лес — сумрачный, дикий, неприветливый.

…Полянку ту, возле которой односельчан обидели, он бы вовек не нашел, кабы не случай. Лужу на дороге перепрыгнуть решил — так просто, по-детски. А того не заметил, что сук низко распростерся — зацепился шеломом, тот и слетел. Пока рукавом от грязи отирал, по сторонам смотрел, оттого и не прошел мимо. Не даром говорят: у страха глаза велики. Полянка та размером куда меньше сказанной оказалась. И пень меньше, и куст лещины, и сама лужа; об луже-то он и позабыл, след тележный высматривая. А чего высматривать? И так не особо заметный, а тут еще сколько дней прошло. Опять же: тати эти телеги забрали, с лошадями. Куда тут, по такому лесу, на телеге? Но до лужи след хоть как-то местами просматривался, а далее — нигде не дороге не видать. Здесь вроде и впрямь к полянке свернули.

Пошел Илья — как, думал, разбойники подались. Вышел на прогалину, дай, думает, кругом ее обойду: не может такого быть, чтобы следа никакого не осталось. Ветка сломанная, куст примятый, еще что приметное. Однако ж, неладное что-то деется. Только шаг сделает, — и будто земля ему в лицо бросается; ступит назад — все по-прежнему. В другую сторону — опять из-под ног уходит… И, главное, пока на месте стоит, ничего особенного: деревья как деревья, кусты как кусты… А морок одолевать начнет — девки на поляне показываются; прыгают, веселятся, друг за дружкой гоняются, в его сторону посматривают. Косы длинные, сарафаны белые, на головах — венки из цветов свежих. В лесу цветов нет, а у них — есть. Мавки, не иначе.

Присел Илья на ствол поваленный, задумался. По-иному дело глянулось. Сколько их было, разбойников-то? На слова сельчан не

положишься, напугались шибко. Кто они, из каких краев пришли? Отчего промысел лихой выбрали? Одно — коли селяне бывшие, а ну как из людей ратных? Мечом-копьем владеть умеющим? Сам-то он если только булавой; тут, должно быть, особого уменья не надобно — маши себе, ровно дубиной. Только против умелых да опытных не помашешь. Стал припоминать, что ему деды про разбойников рассказывали. Сказка — ложь, а все-таки не на пустом месте складывается. Припомнил, что атаманы зачастую слова заветные знали; что стрелы от них отскакивали, меч не сёк. Еще: оборачиваться умели, невидимками становиться, со следа сбивать… Со следа сбивать!.. Илья аж привстал. Вот оно что! Не иначе, правдой сказка оказалась. Значит, здесь они где-то, недалече, а иначе с чего бы морок наводить?..

Как со вечеру — сильный дождичек,
Со полуночи-ночи — подморозило…
Ты взойди-ка, ты взойди, солнце красное,
Над горою взойди, да над высокою,
Над дубравою взойди, да над зеленою,
Обогрей же нас сирот, сиротинушек…

— Слышь, Невер, мне вот что подумалось: а с чего это песни у нас все какие-то протяжные да невеселые? — спросил молодой разбойник, весен семнадцати-двадцати, пожилого, коренастого, густо обросшего черной бородой. Они сидели у костра и приглядывали, как бы огнем не охватило почти совсем уже готового кабанчика.

— Жизнь наша такая, — буркнул тот. — Какова жизнь, таковы и песни. Другой была бы, по-иному и пелось бы.

— Не скажи, — возразил молодой. — Разве мы не вольные птицы, разве платим кому подати? Разве грабят нас тиуны да лучшие мужи? Что с того — избы нет. Вот ужо разбогатеем, получу свою долю, тогда…

— Тогда — что? — спросил пожилой.

— А вот то. Купцом стану. Торговать буду. Гостей не больно-то пограбишь. Слыхал я, у них и дружина своя имеется, и послабление от князя.

— Дружина, говоришь? — раздумчиво протянул пожилой. Собирался что-то сказать, но не стал.

Посидели, помолчали. Повернули толстый сук, служивший вертелом.

— Только вот не понимаю, зачем атаман у сельчан телеги с лошадьми забрал? Золото-серебро, оно понятно; хотя откуда у них такому богатству быть? — снова начал разговор молодой.

— Должок у него тут в городе имеется. Давний. Расплатиться желает.

— Что за должок?

— Что за должок? Обыкновенный… Сам-то он из Новагорода. Слыхал про такой?

— Кажись, слыхал…

— Кажись… Город такой есть, поболее вашего. Далеко на севере. Туда, говорят, первый князь пришел, из Руси, а уж оттуда — в Киев. Сами-то они сейчас без князей живут…

— Это как?

— А так, по-старому. Как в вашем городе прежде жили. Скопом дела решают, вот как у вас было. Вече называется. Посадников избирают. Жил он там в Славенском конце, третья изба от городской стены вдоль Плотницкого ручья. А еще мост у них есть, Великим прозывается. Правду сказать, не один он там, и все — Великими кличут. На том мосту потехи у них случаются, кулачные. Конец на конец. То ли три у них конца, в городе-то, то ли еще сколько… Это самое вече, — у каждого свое. Только я не о том. Как-то по зиме потеха кулачная у них случилась. Отец атаманов не любитель был, а тут нашло на него что-то, ровно околдовали. То ли на мосту случилось, то ли на самой реке, а только когда народишко расходиться стал, он среди прочих лежачих остался. Принесли его домой, думали, отлежится, встанет. Силушкой-то не обижен был: быка ударом кулака в лоб с ног сшибал. Отлежался, да так и не встал. Кровью все кашлял. Свезли по весне… Только до того еще, как помер, припоминать стали, что да как. Редко такое бывало, чтоб до смерти. Помнут сильно, покалечат — случалось. А тут… И припомнили, что на стороне Людина конца вроде как молодой затесался, и вроде как нездешний. Во время потехи, — до того ли было, чтоб высматривать? Там уж не зевай… И вот этот самый молодой, он вроде в рукавицах был, расписных. С атамановым отцом лицом к лицу бился. После потехи же исчез, а куда — никто не видел. Вот и порешили, что он в рукавицы, должно быть, подковы положил. А иначе — как такого бойца одолеть можно? Спохватились; за такую проделку смертным боем бьют. Тут-то и вспомнил кто-то: уж больно молодой тот…

Невер примолк и принялся поворачивать сук с кабанчиком.

— Ну, так чего молодой-то? — не стерпел товарищ.

— Не запряг… Отец атаманов — он повольником был. Гости новгородские, чтобы убытку в торговле с купцами готскими, людей нанимали, чтобы они, по соседним землям да рекам, озоровали. Чтобы никто, значит, помимо них не встревал…

— Это что же — разбойничали?

— Как хочешь назови. Вот они, повольники эти самые, и озоровали. Там ладьи пожгут, там товары отнимут. Иногда, бывало, стычки случались…

— Со смертоубийством?

— По-разному… Так вот, кто-то и припомнил, что молодой этот, он вроде как… В общем, отца его, — атаманов отец положил… Вот и дождался своего часа, вернул должок…

— Так вот ты про какой должок… — протянул молодой разбойник.

— А ты думал?.. Мать у него вслед за отцом ушла, той же весной. А ему, как старшему, такое вот наследство досталось. Око за око.

— Так, может, молодой тот не причем был?

— Может, и так. Только ему лучше знать, атаману-то. Он его поначалу долго разыскивал. Сам в повольники подался, везде, где мог, расспрашивал. Потом вроде как поутих — где ж его найдешь? Пока не приметил как-то в дружине княжеской, в Киеве.

— Да как же он его приметить мог, ежели прежде в глаза не видел?

— Слухом земля полнится. Разговор случайно слышал. Тот, кого он искал, не из последних в дружине был. Князь его отличить решил — послать в один из городов, для догляда. Не всем это по душе пришлось, кое-кто позавидовал. И вот идет атаман, — только он в то время еще не был нашим вожаком, — по улице, навстречу ему — всадник, дружинник. Глянул на него — и как будто в груди что-то шевельнулось. Одного взгляда хватило, чтобы навек запомнить. Подивился, — никогда прежде с ним такого не было. Идет себе дальше, а тут еще два дружинника стоят, смотрят всаднику вслед и о чем-то беседуют. Прислушался невольно и услышал, что тот в дружину из Новгорода пришел. Вроде как родных у него там повольники извели. Понял атаман, отчего у него у груди екнуло. Повернулся — и вослед. Только дружинник как в воду канул. Он обратно — у тех двоих про город узнать, ну, куда того доглядать послали — и тех след простыл. Городов-то немного, да один от другого не за версту стать. Долго искал, пока у вас нашел…

— Телеги-то зачем у людей забрал?..

— Так ежели просто ватагой в город заявиться, приметить могут. А тут одежу сменить — и вроде как на торг. Мало ли кто на торг собрался…

Опять помолчали.

— И давно вы вот так, вместе? — спросил спустя время молодой.

— Давно… Уж и не упомнить, сколько. Мы тогда еще булгар

проведать собрались. Город есть такой, там, — Невер махнул рукой, но так, что было понятно, не направление указывает, а вроде как утверждает: «там стоит», — где Кам-река в Волгу впадает, только ниже. Богатый, красивый, гостей множество. Вот и решили: коли множество, так может и на нашу долю чего перепадет. Он к нам по дороге и прибился. Сам напросился. Я, говорит, камнем на ногах не повисну, ежели что, то и подмогнуть смогу. Правду сказал: и камнем не висел, и помогал при случае. Только атаману нашему прежнему почему-то не глянулся. Бывает ведь так: ничего плохого про человека сказать не можешь, а не лежит к нему душа, хоть головою об дверь. Так вот… Долго ли, коротко, как в сказках сказывается, а пришли мы к этому самому Булгару. Ты в Киеве бывал?

— Не пришлось…

— А этот — он, пожалуй, побогаче Киева. Мы, пока пробирались, разузнавали, где что можно. Диковин там, говорят, видимо-невидимо. Дома каменные, и улицы камнем выложены. А по улицам этим птицы гуляют — размером с нашу курицу, а цветом сама — ровно жаба. Хвост же у ней — в две сажени. Как подымет его, как распустит — словно небо после дождя под солнышком — блестит-переливается. И еще лошади у них не как у нас, а горбатые. Я так понимаю — вот ежели взять простую лошадь, да дать ей бревном по хребтине, — вот такие…

Молодой поморщился.

— Ты, Невер, ври, да знай меру. Такое сказанул — за день не обойдешь. То у него лошадь какая-то, бревном побитая, то птица, на жабу похожая. Может, еще и квакает?..

— Люди говаривали — кричит, как наша ворона…

Молодой отвернулся.

— Тьфу!..

Невер не обиделся и продолжал.

— А река там, возле города, — это мы как пришли, увидели, — куда ни глянь, вся в ладьях, так что стен не видно. Стен же и в самом деле нету, — с той стороны, что на реку. А с других — как же без них? Высокие, с башнями, рвом окружены. Еще с реки будто старица отходит, прямо в город. Там тоже лодок полно. Мы поначалу удивились: как же так, что с берега стен нету? Это ж любому врагу в радость. Ан нет, присмотрелись, — видать, правда, не очень, широка больно, река-то, — вал там, укрепленный. Ну и, само собой, войска внутри должно быть, видимо-невидимо. Голыми руками не ухватишь. И еще — внутри города башни высокие торчат, что твои жерди. Белые такие, каменные, наверно. Должно быть, сторожевые, потому как на них вроде дозорные перекрикивались. Тут, вблизи города, понятно,

ничего не ухватишь. Потому и решили к слиянию рек вернуться. Там пооглядеться, местечко приискать, засаду устроить. По всему видать, любую лодку хватай — в накладе не останешься. Вернулись, отыскали местечко. Там, вишь, лодки к одному берегу прижимаются, как против течения идут, к пологому. Где вода потише. Оно, конечно, нездорово, потому как глубина поменьше, днище покарябать, а то и вообще пробить, можно. Только нам как раз на руку. Не упомню уж, сколько дней случай подходящий ждали, чтоб не оплошать, а вышло куда как худо. Углядели ладью по себе — народу на ней мало, справимся, ежели сопротивляться надумают. На испуг рассчитывали. Вот приблизилась она, людишки спокойно себя ведут; кто чем занимается. Поравнялась с тем местом, где мы ее поджидали. Тут наш атаман слово заветное молвил — встала ладья, ровно вкопанная. Ветер попутный, хоть и слабый, парус колесом, — а она стоит. Закричали мы дружно, — да что там закричали, заревели, — бревна по три вместе связанные в воду спихнули, шестами толкаемся, топорами, кистенями размахиваем — глянуть со стороны, так самого храброго храбреца оторопь возьмет. А этих, на ладье, не взяла. Не робкого десятка оказались. Откуда только что появилось: одна стрела свистнула, другая… На таком расстоянии да не попасть — это сильно постараться надо. Вот и вышло: назад — негоже, всех постреляют, и вперед — на верную смерть. Замешкались, глянул я — а нас уже и половины не осталось. Не до богатства стало. Бросил я шест, и сам в реку бросился. Поглубже стараюсь, чтобы сверху не приметили, да стрелой не достали. Хорошо, течение помогло, берег пологий, и то, что отплыли недалече. А так бы ко дну пошел — намокло все на мне, тяжко очень стало, и воздуху не хватает. В общем, выбрался как-то посередь кустарника, и в лес, затеряться поскорее. Обернулся, как меж деревьев петлял, а ладья уж и дальше себе подалась. Знать, кончилось житье атаманово, коли слово его силу потеряло.

Невер помолчал. Молодой разбойник тоже сидел молча.

— Не стал я далее бежать-то. Подождал, как ладья скроется — и к берегу. Немного нас уцелело. Кто под стрелу попал, а кого водой на стремнину унесло. Кого смогли, выловили — чтоб, значит, по-людски попрощаться… Ну и остались поблизости, переночевать. Кто смог, те уснули, а мне не спалось. Какой тут сон? Лежу, ворочаюсь с боку на бок, в небо смотрю. Вдруг, слышу, вроде как плеск. Не иначе как, думаю, по следам нашим кто идет? Вижу — черное что-то движется от реки. Врать не буду — хотел было ноги в руки, да не то, ни другое не слушается. Лежу, ровно колода. А черное это все ближе и ближе подходит, и вроде как человек. Совсем придвинулся, наклонился, вода с него льется, и

шепчет, глухо так, но понять можно: «Возьми». Совсем мне дурно стало — голос-то вроде как атаманов. А он постоял так, склонившись, и снова шепчет: «Возьми». Только то и спасло меня, что со страху онемел. Дальше он пошел. Ходит так, от одного к другому, пока возле нонешнего нашего атамана не оказался. А тот, должно быть, спал, и не понял спросонья. Потому как слышу, рыкнул он, грозно так: «Ну, давай, чего у тебя там?» Не успел сказать, пропало видение черное, ровно и не было…

Невер поежился, как от холодного ветра, повернул вертел с кабанчиком.

— А чего он, атаман-то ваш, ходил?.. Ты ж вроде как сказал, того он, ежели ладья с места сдвинулась?.. — не утерпел молодой.

— Вот то-то и оно, что того. Вишь ли, ежели кто слово знает, не может он просто так… ну, пока завета этого кому не передаст. Будет бродить вокруг да около того места, где настигло его… Спрашивать тех, кто мимо идет, возьмет, али нет.

— А ежели не возьмет никто?

— Так и будет бродить до веку. Повезло ему, атаману-то нашему прежнему, сразу нашел того, который взял. Не по доброй воле, случаем, а слово нужное было сказано.

Помолчали.

— Завет этот, он об чем, знаешь?

— Того никто не знает, пока сам на себя не примет. Только как примет, не больно-то рассказывает. Говорят в народе, перекидываться может, оружие его не берет, со следа сбивать…

— Как же оружие не берет, коли ты сам только что…

— Нет такой силы, чтоб силою не обороть, и такой хитрости, чтоб хитростью не провести. Вот, к примеру, одолень-трава. Слыхал про такую? Коли соком ее стрелу покропить, ни во что стреле такой заветы всякие разные. Или наконечник серебряный, или заговоры какие… Ладно, хватит лясы точить. Созывай народ, вечерять будем…

* * *

— Одолень-трава…

Так и не смог Илья с полянкой сладить. Ни вдоль пройти, ни поперек, ни в обход. Как ни старался, а силой слова не переломишь. Измаялся только, по кустам да буеракам лазаючи. Ввечеру вернулся туда, откуда начал. Прилег возле полянки, так, чтоб видно ее было, правую руку в петлю булавы просунул, на случай гостей незваных, левую — под голову. Лежит, смотрит в

небо, размышляет. Что ж делать-то? Назад воротиться — негоже, зеленоглазую поискать — тоже вроде как неказисто: мужик, а без бабы ни шагу. Оно, конечно, еще вопрос, что это за баба, а все одно неказисто. Ну, утро вечера мудренее. Светать начнет, снова попробую. Не получится — там уж и решу, как дальше быть. А пока — выспаться надо. Ан не тут-то было, не засыпается, и все тут. Только это ему кажется, что не засыпается. На самом же деле, сморил сон добра молодца. Не удивительно, — кого хочешь одолеет, будь ты хоть сильнее сильного, хоть слабее слабого, знаешь ли слово заветное, не знаешь, ему все едино. Проведет лапой пушистой по лицу, пошепчет что-то в ухо, — и все дела.

Спит Илья, и не чует, что спит. Кажется ему, будто наяву все происходит. Видит он, вышел кто-то из леса на полянку, к нему направляется. И еще — ночь кругом, а светло, ровно днем. Девка какая-то. В простеньком сарафанчике, чуть узором тронутым, коса русая до пояска алого, ноженьки босые, личиком славная, — идет, косу ручками теребит. Вроде как напевает что-то.

Ишь ты, не на того напала. Вскинулся Илья, будто ворога заприметил. А оно, может, так и есть: что это за девка, коли по ночному лесу шастает? Не девка это вовсе, а… Добро, поглядим, что за птица.

Не испугалась. Подошла поближе, головку к плечику склонила, улыбнулась. Ласково улыбнулась, одно плохо — глаза уж больно невеселые, нет в них той улыбки, что на устах.

— Одолень-трава?.. — произнесла. — Знать, никак не совладать без нее с силой слова заветного?.. Что ж, коли надобно, ступай за мной, покажу тебе место, где траву ту добыть можно. Отчего бы и нет? Только знай, многие пытались…

— А ты, собственно, кто такая будешь? С чего это помочь решила? Аль в трясину манишь?

— Ну что ты, Илья, разве похожа я на трясинницу? Заряной родители звали, так и ты зови. Что помочь решила — не спроста. Нужда у меня в тебе есть, коли я тебе помогу, так, может, и ты мне поможешь.

— Чем же это я могу тебе помочь?

— Про то сама знаю. Да ты не бойся, многого не попрошу.

— Не бойся?!! — Илья расхохотался; кабы и впрямь простой девкой была — куда уж как весело: взросла былиночка перед дубом. — Ступай, Заряна, показывай дорогу к месту, где трава растет.

Идет за ней Илья, диву дается: за день все вокруг излазил-истоптал, а мест не признает. Вроде они, а вроде совсем не они. Вот этого ручья, его точно не было. А девка как раз свернула и вдоль течения идет. Нет, не идет; ногами перебирает, а земли

будто и не касается. Недалеко отошли, ручей в речушку превратился, бежит себе спокойненько; лист сухой в воду упал, покружило его, да так где-то там за спиной и остался. Еще сколько прошли, разлилась речушка, словно пруд посреди леса. Продолговатый такой, длиной раза в два поболее, нежели вширь, а вширь — саженей десять. Только в пруд этот самый разве кто без головы сунется — потемнела вода, а по поверхности растения всякие плавают, что на мелководье не сыщешь.

— Вот и привела я тебя, — девка говорит. Остановилась, отошла к березке, рукой махнула. — Добывай, коли сумеешь.

Коли сумеешь… Тут, окромя сумеешь, знать надобно, что добывать. Откуда ж Илье трава эта самая знакома будет? Он о ней только слыхивал. Листьев, вон, полно плавает, какой хватать? Который поближе? Уж больно в середину лезть не хочется. С одного взгляда видно — не простой прудик. Глянул на девку, а та стоит себе, косу в пальцах крутит. Разве палку какую найти, да зацепить… Тут вроде как движение какое в воде обозначилось. Поднимается что-то, из глубины — к поверхности. Медленно так поднимается, темное что-то и небольшое, с кулак размером. Заволновалась гладь водная, всплыли комья зеленые, замерли на чуток, да и развалились в стороны лепестками желтыми. Сколько ж их тут? Глядит Илья — цветы-то, их и на реке, что возле деревни, полным-полно. Это что же, и есть та самая одолень-трава? Снова глаза на девку скосил. Крутит, окаянная, косу, и все тут. Хоть бы знак какой подала. Наверняка ведь — обманки это. А как настоящий-то среди них отличить?

Пока стоял да раздумывал, туманом вроде как от лесу на воду потянуло. Не шибко густой, так, полосами. Где погуще, где пореже. И в этом самом тумане видит Илья, ровно огоньки по поверхности забегали. То есть не то, чтобы забегали, — вспыхивают, и сразу гаснут. Там вспыхнет, там полыхнет, и все ближе к одному месту подбираются. Подобрались, закружились, будто чаша — и разом опали. А на том самом месте — цветок распустился. Почти такой, как и прочие, но белый. Ясно сразу стало, где настоящий. Только попробуй — подберись. Можно, конечно, дерево какое завалить, да по стволу и подобраться, силушки хватит. Ан нет, не дурней тебя сюда люди хаживали. Чего уж проще, прихватил с собой топор, срубил лесину и рви себе. Так ни одной зарубки не видать. Должно быть, здесь и остались: вишь как вода заволновалась. И палки какие-то над поверхностью появились, на руки похожие. Гиблое место. Нельзя туда.

Вздохнул Илья. А тут ветерок легонький поднялся, развеялся туман, цветы закрылись и снова ко дну ушли. Ровно и не было

ничего — померещилось.

— Ну что же, добрый молодец, — девка говорит, — хватило ума состорожничать, так может, хватит и договор заключить?

— Какой еще договор? — недовольно буркнул Илья.

— А такой. Знаю я, чего ты здесь ищешь, знаю и как помочь. Проведу тебя мороком, укажу дорогу к стану разбойничьему.

— А взамен что попросишь?

— Они золото-серебро твое забрали? Вот и у меня кое-что… Вернешь себе — свое, а мне — мое, на том и поладим.

— Что же это они такое у тебя забрали?

— Говорила ведь: про то сама знаю. А еще говорила: многого не попрошу. Мне б свое вернуть. Ну так как?

Призадумался Илья: нет ли тут подвоха какого. Коли б сильно обидели, попросила б головы снять; должно быть, вещь какую забрали. Слыхал Илья, что ежели у такой кто платок, скажем, заберет, за того ей и замуж идти. А кому охота замуж за разбойника?

Подумал-подумал, да и согласился. Слово дал нерушимое.

— Вот и ладно, — девка говорит. — Ты пока отдохни сколько, а поутру увидишь меня векшею. Не спутаешь. На какое дерево прыгну, к тому и ступай. Коли чего привидится — морок это, вреда не причинит. Кроме ворона. Как заметишь, ворон меня с ветки сбить захочет, стреляй в него без пощады. Ну, прощай.

Сказала, и нет ее.

Скажите на милость, а выбираться-то как? По речушке вверх — это еще помнится, только докуда? Он ведь, правду сказать, за дорогой не особо и смотрел: все дивился, как это девка ловко над землей перепархивает. Вот незадача… Побрел обратно наудачу, куда кривая вывезет, да вскоре и проснулся. Лежит на прежнем месте, с булавой в руке, конь неподалеку гривой трясет… Пойди, разбери, то ли во сне привиделось, то ли и вправду ходил куда… Поднялся, огляделся. Все по-прежнему, мрак ночной развеялся, вот-вот солнце взойдет. Теперь что? Ждать, али снова попытаться полянку перейти?..

И тут слышит — ровно кто камешком по камешку стучит. Векша где-то рядом. Да вот она — на суку пристроилась, стоит столбиком, лапки сложила передние, и цокает. Ну что ж, Илья, видно, суждено сну твоему сбыться. Повел плечами, попробовал, ладно ли булава в руку ложится. Что ж, веди, векша. Чему быть, того не миновать.

А та видит, готов добрый молодец за ней следовать, проскакала по суку, на другое дерево прыгнула, приникла к стволу, ждет. Илья — к дереву, конь — за Ильей. На полянке же снова хоровод завертелся-закружился. Не такой, как давеча.

Давеча он на одном месте кружился, а сейчас — вот как листья, ветром подхваченные. Бывает, вытянутся над землей, будто столб какой, и начнут этаким столбом туда-сюда метаться. Вот и здесь так, на полянке-то, только не листья кружаться, а те самые, в сарафанах простеньких…

Векша деревья, что поближе друг к дружке растут, выбирает. Сделает Илья шаг, начинает его к земле клонить, али в сторону, другой сделает, и нет морока. Каждое дерево свою силу имеет, людям неподвластную; неподвластную и слову заветному. Между ними морок с ног валит, а вблизи — рассеивается.

Так и идут, от дерева к дереву. Вскоре голоса стали слышны. То поближе, то подальше. Будто на помощь кто зовет, а шаг сделает — умоляет назад повернуть, не губить себя во цвете лет. То матушка сидящей на пеньке покажется, то батюшка, то деды. Смотрят печально, головой покачивают. Зеленоглазая показалась, к себе поманила; не пошел Илья, не поддался. Дал векше слово, что за нею последует; идет, как она указывает.

Сколько так прошли — неведомо. Ни по времени, ни по расстоянию. Только вдруг замерла векша. Застыла столбиком на суку, и вроде как прислушивается. Поводит по сторонам головкой маленькой, ушки с кисточками выставила. Тут-то Илья и приметил, чего это она замешкалась. Поначалу показалось — нарост на стволе дубовом, а присмотрелся — нет, шалишь. Ворон сидит. Не сказать, чтобы совсем уж необычный какой. Размером, может, чуть больше обычного, а так… Взгляд у него, как будто человеческий. И сам он человеком кажется, притаившимся. Заметила векша ворона, назад прянула, на Илью обернулась. Жалобно так смотрит, защиты ищет. Выпрямился ворон, — чего скрываться? — расправил крылья и — грудью на векшу. Только ведь и Илья не зевал. Какая там стрела — он ведь кроме игрушечного лука другого сроду в руках не держал. А если б даже и держал — пока стрелу выхватить, пока лук вскинуть… Не успеть. Но и не сплоховал. Махнул рукой, свистнула навстречу ворону булава. Не попал в птицу, ее будто ветром отбросило, — в ствол угодил. Загудел дуб, показалось — пошатнулся даже. Ветки посыпались. Глянул Илья вокруг себя, что бы еще под руку попалось, ан ворона-то и нет, будто и не было. Подобрал булаву, дальше двинулись.

* * *

…Спят себе спокойненько люди лихие. Даже тот, кто на сторожу поставлен. Чего бы и не спать? Слово атаманово крепкое,

ответет розыск, коли случится таковой. Только малой силой — кто ж в лес сунется, а большой — уже б прослышали. Пара деньков всего и осталась, а там — торг большой в городе начнется. Погулять там маленько, да в другие края подаваться.

Сколько их тут разлеглось? А сколько пальцев на обеих руках, без одного. Один — это атаман, нет его здесь. Отлучился куда-то по делу важному. Доглядеть, должно быть, что да как. Может, кто с зарей на дороге покажется, это ведь только кажется, что она далеко от становища, а на самом деле — не более двух полетов стрелы, ежели б на открытой местности. Или еще куда.

Шорох раздался. Прилетел ворон, скрылся за сосной высоченной, возле которой Невер спал. Мгновением спустя, атаман из-за дерева показался, к кострищу направился. Остановился, осмотрел хмурым взором становище, свистнул в полсвиста, ажно уши заложило. Вскинулись бродяжники, ровно и не спали, оружие похватали. Кто присел, а кто и на ноги поднялся. Что стряслось, атаман? Чего в такую рань поднял? Дело какое предстоит?

Поддел атаман ногой обрубок ствола, катнул к кострищу, присел. Знак подал, чтобы остальные ближе подбирались да устраивались, кто как. Видать, и впрямь что-то серьезное намечается; коли б иначе, атаман сам бы все порешил.

— Вот что, братцы, — начал тот. — Подумать нам надобно, как быть. Розыск на нас обнаружился. Скоро здесь будет.

Переглянулись люди гулящие; неужто слово заветное для розыска ни во что стало?

— Сам бы он никогда дороги к нам не нашел, да проводница у него сыскалась…

— Это кто ж? — спросил один из разбойников.

— Да так, местная жительница… Ей слово заветное — не преграда.

— А розыск… Много их? — нарушил молчание другой разбойник.

— Не много. Один всего.

Ушам своим не поверили. Это что же, из-за одного, пусть он хоть из богатырей богатырь, переполох такой? Друг на друга глянули. Не вчера со двора ушли, не в одной переделке побывали. Каждый, почитай, с кистенем, саблей степной или еще с чем, кому что любо, ловчее, чем иная баба с веретеном управляется. Им ли одного испугаться? Или один этот тоже словом владеет?

— Скрывать не стану, — тяжко молвил атаман. — Не разглядел, что это за розыск. Вроде как нараспашку, а непонятно. Упрямый, страху в нем нету, но не волхв. По виду — дюжий, в доспехе воинском, конь при нем. Ухватки же воинской не видно,

не дружинник, стать… Ну, чего молчите? Тут раздумывать особо нечего, неподалеку он уже.

Хорошо сказать — раздумывать нечего, так привыкли уже. Обычно как дело ладилось: соберет атаман круг, скажет, кому где стоять да что делать, и вся недолга.

— Так чего особо думать-то? — проскрипел Невер. — Порешим его, как и не было. Он один, кем бы ни был, а нас эвон сколько.

Разбойники одобрительно загудели, кроме молодого, который помалкивал, посматривая на старших.

— Порешить, ума много не надо, — наставительно заметил атаман. — А ну как его к нам в товарищи взять? Рассказать про наше житье-бытье вольное, про богатства несметные, кои удалью да умением добыть можно?..

— Не удалью да умением, татьбой да лжою богатства свои наживаете, — раздался голос. — Людей обижаете, кто супротив вас слова сказать не посмеет, чтобы с саблей вострой не переведаться. В товарищи взять желаете? Не будет у нас товарищества. А смерти моей искать станете, глядишь, зубы-то и пообломаете.

Обернулись бродяжники на голос, а Илья уже на полянку, где становище, вышел. И верно, конь при нем, и оружие, и сам в доспехе. Только оружие, если присмотреться, к седлу приторочено, в руках же и нет ничего, окромя булавы. Хоть и дюж, а кому грозить вздумал? Не детишки, чай. Погоди ужо, даст знак атаман, разочтемся.

— Ты, человече, коли по делу пришел, так говори, зачем, — посуровел атаман. — А лаяться дома, с бабой своей, ступай, коли есть.

— Говорить мне с вами особо не о чем, — спокоен Илья, ровно на огонек к родне ввечеру заглянул. — Обидели вы селян наших, золото-серебро отняли, телеги с лошадьми, самих раздели. Коли добром вернете, подумаю еще, что с вами делать, а коли нет — так не взыщите.

— Где ж это селяне золотом-серебром разжились? — усмехнулся атаман. — Что-то во всю жизнь не попадалось мне селений таких, чтоб богатством славились. Тем паче, заморским. Не ладно говоришь, человече. Нас в лжи укорил, а сам?.. Добром вернуть? Возьми сам, коли сможешь. Тут оно, неподалеку, закопано. Смотри только, заговор на него положен. Никому не дастся, ежели кровь невинную над ним не пролить. А тебе, человече, вот еще что скажу: либо к нам в товарищи, либо в сырую землю. Нет у тебя отсюда иного пути.

Призадумался Илья. Не о товариществе и сырой земле. О

золоте-серебре, которое заговорено, чтоб без крови невинной не взять. Как же ему теперь быть? Яснее солнышка ясного, не взять ему клада во второй раз. Так ведь и с пустыми руками назад воротиться тоже не гоже. Не то, чтоб с пустыми, телеги-то, вон они стоят, и лошади. А как же кузница, мельница? Сколько лет без них жили, столько и еще жить?..

Видит атаман, молчит Илья, ничего не отвечает. По-своему понял.

— Ты, коли насчет золота, не тушуйся. Придет пора, достану, все по-честному поделим. Ну, чего решил?

— А чего тут решать? Повяжу вас всех, да в деревню отвезу. Пускай народ волю свою объявит, что с вами делать.

— Народ, так народ, — согласился атаман. — Нехай себе там решает, а здесь мы решать будем. Вяжите его. Денек-другой без еды-воды полежит, может быть, и одумается. А нет, так омут недалече…

Буднично так сказал, спокойно. Даже вздохнул: чего, дурень несговорчивый, супротивничает? Не понимает, видать, счастья своего.

Разбойники же, тем временем, к Илье ломанулись. Впереди Невер, саблей степной размахивает. Ему первому и досталось. Махнул Илья булавой, даже и не вполсилы. Попала она в грудь разбойнику; отлетел шагов на пять, и еще других за собой увлек, наземь повалил. А еще двоих — тут уж конь богатырский удружил. На дыбы поднялся, разом копытами отшвырнул. Вроде как проще стало. Поредела дружина разбойничья. Сразу трое — не живы, не мертвы полегли. Пятеро против Ильи остались: атаман с места не двинулся, да и молодой разбойник поостерегся, за спинами товарищей схоронился.

— Сказано же вам было — зубы пообломаете, — вроде как с досадой молвил Илья и булаву с руки на руку перебросил. — Ну, чего волками уставились? Али мало?

Должно быть, мало показалось. Снова ватагой на пришлеца кинулись. На этот раз Илья и булавой не махал. Первому подскочившему так сплеча в ухо отпустил, что тот опять: и сам упал, и остальных повалил. Закопошились разбойнички, знать, поняли, не на того напали. Илья на атамана глянул.

— Ну так что, добром пойдешь, али как? А про слово заветное и думать забудь. Враз достану. — И булавой показал, как достанет.

Поднялся атаман.

— Не так хотелось свидеться, не так и расстаться. Что ж, нонче твоя взяла, а завтра — поглядим. В долгу я у тебя остался. Прощай пока, ненадолго…

Руки вскинул над головой, присел чуток, подпрыгнул — вот уже и нет его. Взмахнул крыльями ворон черный, прочь подался. И нет у Ильи ничего, чтоб достать перевертыша. Крякнул с досады. А тот далече не улетел. Сел на сук, сидит, смотрит, что дальше будет.

Махнул на него Илья рукой, к разбойничкам повернулся.

— Слыхали, что сказано было? К народу, на суд отведу. Али непонятливые?

Хотел еще что-то добавить, а тут голос раздался.

— Погодь, Илья, на суд вести. Может, по-иному сговоримся…

Повернулся Илья в ту сторону, а там… Понятно, кто там. Хозяин объявился. Смурной весь, на пень замшелый похожий.

— Слыхал я, — говорит, — о чем речи велись. Потому, предложение есть. Сам видал, какой лес у меня — дремучий да запущенный. За всем не уследишь, да и рук мало. Не веди их на суд, мне отдай. Работниками у меня послужат, пока век их не придет.

Молчит Илья, соображает. Оно, конечно, разбойники, но с другой стороны, как же: вот так запросто в неволю отдать?

А хозяин ровно читает, что внутри у Ильи творится.

— Думаешь, сокровища свои они лаской да уговорами добывали? А на суде за такое, сам знаешь, что народ приговорит… Молодого, вон того, что отдельно стоит, с собой забирай, отдаю, нет на нем вины тяжкой. И еще денег дам, на кузню и мельницу. Чистых денег. То золото-серебро, что у сельчан твоих отняли, — кровь на нем, оттого и цвет подобающий имеет. Его себе оставлю.

— А с атаманом как быть? — Илья спрашивает.

— Сам свою долю выбрал, в ворона переметнулся. Пущай вороном до веку и летает.

Думает Илья, молчит.

— В гостях, Илья, воля не своя. Слово мое сказано, и другого не будет. Не желаешь уговор держать, как знаешь. Недосуг мне с тобой.

— Сам сказал, не своя воля, — буркнул Илья. — Считай, сговорились.

— Там, на телеге, мешок с гривнами. Дорогу сам найдешь. Недалеко тут. Коли ума хватит…

Сказал, и исчез. И разбойники пропали, и ворон. Один молодой остался.

— Чего встал? — Илья ему. — Иди, запрягай лошадей. На дорогу выберемся, а там уж и поглядим, что да как.

Поосмотрелся, нет ли чего, тоже к телегам направился. Запрягли. Илья мешок достал, развязал, достал несколько гривен,

на руке взвесил — полновесны ли, не обманул ли хозяин. Знал, что не обманет, а для порядку надобно.

— На первую садись, — сказал разбойнику. — Бери вожжи, правь. Я за тобой править стану. Дорогу-то знаешь?

— Откуда ж мне знать? — угрюмо отвечал тот. Он прежде, пока запрягали, слова не вымолвил. Так и молчал с той поры, как Илья на становище вышел. — Нас атаман вел. Перед ним и деревья расступались.

— Так уж и расступались? — не поверил Илья.

— А вот так и расступались. Сам гляди. Куда здесь подаваться?

Это он верно сказал. Деревья не то чтобы одно возле другого растут, но и не так, чтобы телеге свободно пройти. Глаза поднял, нет ли векши поблизости? Нету. Знать, самим выбираться придется.

— Тебя звать-то как?

— Просом.

— Это что ж за имя-то такое странное? Али прозвище?

— Уж какое есть.

— Со мной пойдешь, или улепетнуть думаешь?

— Там видно будет.

— Ну, добро. Тогда так сделаем. Я впереди пойду, что да как смотреть, чистить, где надобно. А как знак подам — ко мне езжай. Понял?

Просто не ответил. Кивнул, и взгромоздился на телегу, подобрав вожжи.

Сколько помнил Илья, от той поляны, что возле дороги, до становища разбойничьего, недалеко было. Оно, хоть морок и сбивал с толку, а помнилось ясно. И хозяин то же сказал. Только до вечера, как ни бились, — Просо помогал и стволы в сторону оттаскивать, и пни корчевать, — не вышли к дороге. Развели костер, повечеряли, чем довелось, уговорились, как стражу ночную держать будут.

Илье первому спать выпало. Растянулся под деревом, булава в правой руке, левая — под голову. Даже и не подумалось: разбойник ведь рядом, мешок с гривнами… Мало ли, что в голову придти может?.. А почему не подумалось? Потому — пока к дороге пробивались, присматривался он к парню. Работящий, понятливый, незлобивый — что ж за тропинка его к людям лихим завела? Хотел было напрямки спросить — не случилось; да и не больно-то он разговорчив оказался.

И снова: то ли сон, то ли явь. Вон он, Просо-то, у огня сидит, наклонил голову, думает о своем, иногда ветку возьмет, пошевелит. И не видит, как мимо него, прямо к Илья, девка

давешняя идет. Как и прежде — улыбается, а глаза невеселые.

— Что, богатырь, — спрашивает, — помогла я тебе? Сдержала слово? Настал твой черед слово держать.

Правду сказать, об этом Илья уже как-то и подзабыл.

— Ну, чего тебе? — буркнул. — Я от своего слова не отпираюсь. Чего они там у тебя забрали? Только имей в виду, если побрякушки какие из-под заговора с кровью добывать надобно, это не по мне. Я тебе другие куплю, лучше прежних будут. Какие скажешь, такие и куплю.

— Да что ты, Илья, какие побрякушки? Не нужно мне никакого злата-серебра. Не мое это. О товарище твоем речь шла…

— О каком-таком товарище? — Илья и понял-то не сразу, а как понял, разом вскочил, ажно задохнулся. — Да ты… Да ты как… Чтобы я, живого человека…

— Говорила я тебе: свое вернуть. Али забыл?

— Какой он тебе свой? Уморить задумала? И думать забудь!..

— Слово нерушимое тобой дадено было, Илья.

— Обманом то слово выманено, нет ему силы. Прочь ступай. Еще раз повторяю: и думать забудь. Не бывать такому, чтобы человек человека… этакой-то отдал.

— Есть ли сила, нет ли, — не тебе судить. Прочь гонишь? Что ж, будь по-твоему. Только смотри, Илья, как бы обратно звать не пришлось. Не выйти тебе из леса, покуда слово свое не исполнишь.

Повернулась, и пошла себе. Только ленточка цветная в косе русой мелькнула.

А Илья проснулся. Поворочался немного, снова заснуть попытался — да какой уж тут сон! Поднялся, к костру подошел, присел с другой стороны, напротив Проса, на огонь уставился. Вот ведь незадача какая вышла. Что ж теперь, до веку по лесу этому блуждать? Сказала ведь — не выпустит. Но и отдать то, что просит — не по-людски это.

Сидит Илья, то на костер посмотрит, то, сам того не замечая, на Проса. Тот же по-своему понял.

— Что, не спится? — усмехнулся. — Да ты не бойся, я ж *слово дал*, пока на дорогу не выйдем, не утекну.

Что ж ты, окаянный, по-иному сказать не мог? Слово он дал. Что мне из твоего слова — щи варить?

— Ты как в разбойниках-то оказался? — спросил.

— От доли лучшей бежал, — усмехнулся тот. — Что, не веришь? И правильно делаешь. От добра — добра не ищут. В городе я обретался, у кузнеца в подмастерьях… («У кузнеца!.. Ах же ты, хозяин, хозяин!») Он меня, казалось, против прочих отличал, едва не вместо сына держал. Дочь обещал, что минет

время — вместе работать будем… А как посватался один, из именитых, так он разом все и позабыл. И дочь ему отдал, и… В общем, подпустил я ему красного петуха, да и подался, куда глаза глядят.

— Пригожая, девка-то? — спросил Илья, не зная, что еще сказать. — Звали-то как?

— Не то слово… Заряной звали.

— Красивое имя…

— А ты чего за разбойниками погнался? Слыхал я, золото-серебро они у сельчан твоих отняли?..

Чего ж таиться? Рассказал ему Илья, как дело было. Про жизнь их нехитрую, про кузню, про мельницу. Про хозяина, однако ж, не стал; про хворость свою былую, и про странников тоже умолчал. Слово за слово, и Просо разговорился. Так и проболтали почти до света, не хуже баб. Угомонились потом, да оба разом и заснули.

Проснулись поздно, и снова, как накануне, валежины растаскивать, пни отбрасывать, шаг за шагом к дороге пробиваться. А ее все нет и нет. Сколько раз Илья Просо вперед посылал, посмотреть, правильно ли идут, столько раз тот ни с чем возвращался. Вроде и не заблудились, а вроде кажется, будто по кругу ходят, а те помехи, что в стороны пораскидали, на прежних местах оказываются. Удивляется Просо, по лицу видно, однако ж помалкивает. Илью же за живое взяло. Упрямство природное взыграло. Надо будет — весь лес повыкорчую, а живого человека на поругание не отдам.

День прошел, другой. Они уж и кричать начали, только все без толку. Кабанчик, что Илья завалил, кончился. А на одних кореньях долго не протянешь. Потемнело лицо Ильи, знает, в чем причина, однако ж молчит. На авось надеется. И пронадеялся…

Он тогда с телегами остался, а Просо опять вперед пошел, дорогу искать. Слышит Илья, кричит что-то, даже вроде как радостное. Шумнул в ответ, ждет: неужто повезло наконец? Спешит назад Просо, слышно, как кусты трещат. Явился — не запылился, лицо сияет, ровно блин намасленный.

— Ну, что там, сказывай? — приступил к нему Илья. — Никак дорога?

— Нет, дороги нету, зато вот, — и ленточку цветную протягивает. — На ветке нашел. Знать, люди неподалеку где-то…

Глянул Илья на ленточку, разом все в груди оборвалось. Присел на телегу. Вот тебе и уберег. Нет, чтоб мимо проскочить, ну висит себе, и пускай висит… Понимает, что к одному шло, а все одно неспокойно.

— Ты чего, Илья? — Просо удивляется. — Аль приболел?

Махнул Илья рукой, не знает, как и сказать. Тут-то и послышалось из лесу: зовет кто-то. Не оттуда, откуда Просо шел, а маленько в сторону. И голос — будто девичий. Илья рот раскрыть не успел, спохватился молодой — и в лес, на голос подался. Пошумел немного, и тишина наступила. Ну что, Илья, вот оно и закончилось, блуждание твое. Теперь до дороги — в какую хошь сторону иди, не заплутаешь. Жалко парня, конечно… Ладно, не век же тут сидеть да печалиться. Вон он, прогал промеж деревьев виднеется, туда и правь.

Прищелкнул вожжами, тронулась лошадь, заскрипела телега. Несподручно одному, с двумя телегами-то, да это ничто; скоро на дорогу выберусь, там попроще станет.

Не успел и десяти шагов проехать, раздались кусты впереди, Просо выходит. Сияет, что солнце полуденное. И девку на руках держит. К себе так прижимает — будь здесь хоть сто богатырей, не оторвут. Живой… А девка — вроде как та самая, а вроде как и нет. Сарафанчик обтерханный, сама растрёпанная, и видно, что… ну, в теле, что ли…

— Не поверишь, Илья, — Просо разве что на весь лес не вопит, — вот она, лада моя ненаглядная, краса неописанная, Зарянушка… Ослушалась наказа батюшкиного, не пошла за немилого, убежала. Столько времени бродила, меня искала!.. Нашла…

А девка приникла к груди его, обвила руками шею, искоса на Илью посматривает: не выдаст ли?.. А тому что делать?

— Заживем теперь, — не остановить Просо, слова из него, что зерна из-под цепа вылетают, — отработаю людям, коли зло какое причинил. Верой-правдой отслужу. Вези нас, Илья, в деревеньку свою. Сам увидишь, не из последних мастеров у вас кузнец будет!.. Честно скажу, сомневался я, стоит ли предложение твое принимать, что ты давеча высказал, вижу — судьба вмешалась, весточку подала!.. Да, дорога тут вот, шагах в десяти. И счищать ничего не надо, так пройдем. Даже и непонятно, чего это плутали столько. Мы пока на вторую телегу присядем, за тобой править будем…

Прошли они мимо, и показалось Илье, будто голос услышал: «Здравствуй, Илья Иванович!.. Ты уж не кори меня за то, что так вышло. А только знай: каждому счастья хочется, хотя немножечко, хотя глоточек маленький… Запомни это — каждому…»

Об нем и вправду речь шла, чтобы кузнецом поработал, а вот о *тебе*, красавица… Ладно, на дорогу выберемся, открою глаза Просу, пусть сам решает.

Бывает, выдастся день такой, что самое верное дело — и то

наперекосяк делается. За что ни возьмись — лучше и не браться. Вот и у Ильи нонче: что ни задумает, все не по его задумке выходит. Уж и до поля своего по дороге добрались, а Илья все никак с духом не соберется. Одно дело — разбойником укорот дать, а другое… Хорошо, Велеслава повстречалась. Глянула, поздоровалась со всеми, рядышком с Ильей пошла — не стала на телегу садиться. Кому ж и рассказать все, как не ей? Ничего не утаил.

— Ох, Илья, Илья, — вздохнула. — Ты коня своего богатырского да одежду ратную здесь оставь. Положи вон под куст, никто не возьмет, не приметит даже. Потому как не задержишься ты у нас. Иное тебе, видно, на роду написано. А за кузнецом с женою его — пригляжу. Ты не думай, ничего такого не случится. Недолго ей и быть-то. Две-три весны — и сгорит, что лучинка… Правду она тебе сказала: «каждому счастья хочется, хотя немножечко, хотя глоточек маленький…» Куда уж меньше… Как в деревню придем, ты вот что людям скажи…

4. А ВЫСОКИЕ-ТЫ ГОРЫ СОРОЧИНСКИЕ…

Вот говаривают люди: сорока на хвосте принесла… Это когда не ведают, откуда что взялось. Так и Илья: не успели телеги из лесу выехать, а народ уж едва не навстречу бежит. Оно, конечно, ничего тут мудреного нету. Резвились себе ребятишки чьи-то в лесу, заслышали, едет кто-то, глянули — и быстрей в деревню. Их, когда случится, вершник не догонит, так бегут. Только про сороку оно как-то вроде и красивше выходит, и правдоподобнее.

Хотя птица, надо сказать, так себе. Тараторить горазда, иная баба позавидует. А уж как охотники ее не любят ее — каждый знает. Иные, в лес зайдя, коли завидят, тут же назад поворачивают — не будет добычи. Эта стрекоталка все поближе держаться норовит, да треском своим все зверье на версту окрест предупреждает, кто идет. Не любят, однако ж и не трогают, потому — поверье существует: если хвороба скорая страшная минует, то уж со счастьем навек распрощаешься, ни в одном деле проку не будет.

Только не на сорок голосистых сельчане собравшиеся похожи, скорее — на галок. Обступили, расспрашивают, а сами слова сказать не дают. Насилу угомонились. Поведал им Илья, как с Велеславой уговорено было. Разбойников поискать пришлось, следы-то поистерлись, а вот биться с ними и не пришлось совсем. Сами друг дружку порешили, как золото-серебро отнятое промеж себя делить начали. Не стал он его брать — там, на месте, и закопал. И разбойников тоже. Мешок с гривнами промеж них лежал, его и привез — кузню с мельницей обустраивать. Людей вот спасти довелось; схватили их разбойники, живота лишить собирались, да сами и… Нашел их, к дереву привязанными, совсем уже спастись отчаялись. На счастье, кузнецом оказался, Просом кличут, а жену его — Заряной. Не здешние они, из дальних мест пришли. Почему — про то разговора не было. Чего уж тут разговаривать, когда полено к полену складывается? Обещались за спасение отработать, миру на пользу, а там, глядишь, и насовсем останутся, коли приживутся. Велеславе спасибо, приютит на время.

Врет Илья, и не краснеет. Как по писаному рассказ ведет. Оно и понятно: правду скажи, никто не поверит, больно как-то мудрено все. А соври по-простому, любой скажет: чему ж тут и удивляться-то, что все так приключилось? Бывает, дело житейское. Сегодня одному повезло, завтра — другому. Велеслава

— она плохому не научит. Илье-то невдомек, а травница примечать стала, неровно в сторону его сельчане глядят. Девки — хоть сейчас замуж. Жених — на зависть. Только в силу вошел, в семье да хозяйстве за ним — как за каменной стеной (говорят, есть такие, в странах заморских, которые города свои стенами каменными огораживают, не деревянными). Род его всем известен, не пришлец какой. В общем, всем взял. Оттого и норовят поближе подобраться, ручкой-плечиком коснуться, глазками интерес показать. Но то — девки. А парням каково? Кто промеж них с Ильей сравниться может? Не успел с печи слезть, а уж дел вон каких наворотил, другому столько за век не под силу. Правду сказать, хорошо оно, конечно, что односельчанин, только спровадить бы его куда, счастья поискать. Вот как найдет — милости просим, а дотоле — ни-ни…

Большинство все же рады: были разбойнички, и все вышли, опять дорога свободной да безопасной стала. От золота-серебра избавились, деньгами разжились. Надо места выбирать, где кузню ставить, где мельницу. Опять же, кузнеца искать не надобно, сам подвернулся. Пуще же прочих те радовались, которым Илья телеги с лошадьми вернул. Никто и не заметил, что он с жеребенком уходил, а вернулся без. И то сказать — до жеребенка ли?

Это Иван спросил, когда позади избы присели, перед тем как ночевать. Куда, мол, животина подевалась? Без утайки рассказал все Илья, как на самом деле было. Или почти так. Про Проса с Заряной как прежде оставил, очень уж крепко ему слова про счастье в сердце запали.

Слушал Иван, не перебивая. Один раз только вроде как сказать чего хотел, заслышав «зеленоглазая». Сдержался. До конца выслушал, потом промолвил:

— Правду говорят люди: отродясь такого никто не слыхивал, чтобы столько чудесного враз приключилось. И все вокруг тебя…

Счел Илья момент подходящим, да и говорит:

— Ты, батюшка, не кори, коли не то скажу. Только думается — не по мне хозяйство вести, не по мне и землю ухаживать. Для иного рожден. Не просто так приходили люди хожалые, не просто так разговоры вели. И песня Боянова — неспроста она. В Киев зовет, в дружину богатырскую. Встать на пути диких, что деревни разоряют, поля выжигают, людей побивают али неволят. Не будет мне здесь жизни спокойной, ежели против судьбы пойду. Благослови, батюшка…

— Ишь, чего удумал, — поднялся Иван. — А о нас с матерью ты подумал? Кто нас в старости приветит? А она уж не за горами, чай… Спать пошли.

Распахнул дверь — в избу. Не оглянулся.

Посидел Илья еще немного, вздохнул горько, и тоже спать отправился.

Наутро, правда, с теми же словами к отцу приступил, но тот и слушать не стал. Хозяйством, мол, заниматься надобно. А Илья мается; почудилось ему, сказать отец что-то хотел, да раздумал. Вечерком опять присели, на крыльце.

— Сон мне нынче привиделся, — нарушил молчание Иван. — Будто приходит ко мне старец какой-то, и говорит: «Так уж на роду вам написано: не быть дитю вашему кормильцем, ездить ему по полю по чистому»…

В сторону от Ильи глядит. Не все сказал.

— Благословения ты у меня давеча спрашивал? Что ж, вот тебе мое благословение. Коли и впрямь ты решился за обиды людские стоять, добро, не препятствую. Наказ же мой к тебе таков будет, и в том, что следовать ему будешь, ты мне слово дашь. Не лей крови понапрасну, не погуби того, кто пощады просит. Отнимешь жизнь — не вернешь. На добро — добром отвечай, на зло — справедливостью. Как бы ни был виновен виноватый, гневу воли не давай. Сам не можешь рассудить, людей спроси, кто постарше да помудрее. Ну, а об остальном нужды говорить нету. Сердца слушай, подскажет, что да как… Одно не пойму — как ты князю покажешься? Ты ведь и оружием не владеешь, и слово за тебя замолвить некому?.. Оно понятно, коли глянешься — всему обучат, только глянуться-то как? В дружину всякого встречного-поперечного не берут, должно быть. Тут помимо силушки, еще что-нибудь надобно. Место-то хлебное. Всем ведомо, как князья за службу верную награждают…

— От наказа твоего, батюшка, не отступлю, — твердо произнес Илья, — в том слово мое крепкое. Что оружием не владею — так ведь я не к князю сперва. Сказано было — со Святогором прежде повидаться. А дальше — там видно будет.

— Где ж ты его искать будешь?

— Сказано было, на горах Сорочинских он. Только где они — на восходе ли, на закате — про то не знаю.

— Да и я не слыхивал…

Помолчали.

— Когда ехать думаешь? — спросил Иван.

— Завтра, с петухами… — потом прибавил: — Про то, чтобы я за ворота — и след простыл, даже и думать не смейте. Пока жив, помнить про вас буду, как улучу время — понаеду. А коли доведется, чтобы самому место службы выбирать, попрошусь на заставу, какая к деревеньке нашей поближе.

— Ты, коли за всех людей встать решил, об том и думай. Не

ровен час, вспомнишь про нас с матерью в сече лютой, что одни мы останемся, что некому старость нашу приветить будет, себя уберечь захочешь; дрогнет рука, дрогнет и сердце. Врагам на радость, самому на погибель. Не на отшибе живем, посреди людей. В беде не оставят.

Лучше б он этого не говорил. Сразу как-то и вспомнилось, как жили, когда он, Илья, без ног был. Нельзя сказать, чтобы совсем бросили, однако и помогали не очень-то. Свои заботы у каждого.

По-иному теперь и желание его выглядит. Дуростью несусветной. В возраст вошел, а умом не выдался. Добро бы, не один он в семье был. Хоть брат, хоть сестра — уже попроще. Случись что — к себе жить взяли бы, или сами тут жили. К князю, опять-таки, как сунешься? Что скажешь? В дружину хочу? Там таких, небось, по десятку в день заявляется, а то и поболее. Силушки не занимать? Только и заслуг? Кто ты таков, чтобы тебя — да в дружину? А коли рассказать, сколько на печи без ног просидел-пролежал, на смех поднимут.

Вот ведь окаянство какое — нет, чтобы подумать да рассудить хорошенько, вместо того — «благослови, батюшка… в Киев, в дружину… за обиды людские…» Звали тебя очень, никак без тебя не обойдутся, каждый день гонцов присылают, ждут — не дождутся, со стен высоких высматривают — уж не едет ли…

То ли спал, то ли не спал в ту ночь, так и не понял. Встал, как обещал, с петухами, вышел на двор осторожненько, — во многом прощании многая скорбь, — поклонился до земли, лицом к крыльцу оборотясь, и подался к тому месту, где коня с оружием-доспехом оставил. Как со двора шел, не оглядывался, знал — смотрят ему вослед родители через окошко, не хотел глазами с ними встречаться. Внутри словно барсук нору обустраивал, так драло, что хоть вой. А еще боялся, — обернется, так и останется; бросится в ноги с повинной. Простят его, конечно, только выйдет — язык у него, что помело. Вдобавок не к уму — так, умишке. И тот еще поискать.

Доспех-оружие где сложил, там и лежали. Конь пофыркивал, головой тряс, с ноги на ногу переступал — будто чуял, вот-вот в дорогу дальнюю, к неведомым горам Сорочинским. Надел Илья доспех, как смог, лужа на дороге была — в лужу глянулся, каково выглядит. Не очень как-то, не по-богатырски. Тут ведь надеть мало, тут еще и привычку носить иметь надобно. А откуда ж ей взяться-то? На ногах — сапоги красные, а лапоточки в суму переметную спрятал, авось, пригодятся. Щит, кожей алой обтянутый, за спину перекинул. Лук в сагайдаке, колчан со стрелами, меч с копьем, все на седле оставил. Булаву — в руку правую. Едва на деревеньку не обернулся, ровно под ребра кто

толкает. Нельзя сейчас оборачиваться, нет в нем твердости нужной, чтобы ехать. Положил левую руку на луку седельную, левую ногу — в стремя, вот уже и в седле. Тронул поводья. Пригнулся к конской холке.

— Ну что ж, товарищ мой верный, пора нам. Живы будем — вернемся. Вези, куда сам знаешь…

Не успел сказать, преобразился конь. Допрежь того смирный был по виду, хоть и чувствовалась в нем сила, не менее, чем у самого Ильи. Со стороны глянуть, будто расправился, крылья распустил, из глаз огонь пышет, из ноздрей и ушей дым валит. Шаг сделал другой, ровно примериваясь; побыстрее пошел, прискакивать начал, сначала легонько, потом вполсилы, а уж потом… Держись, Илья Иванович!..

Легко сказать, держись… Откуда ж ему уменью вершному обучиться было? Поначалу, едва ходить начал, отец его на лошадь сажал да по двору катал. Присматривал да придерживал. Поначалу страшно было: и тебе высоко, и грива из пальцев ускальзывает, и сидеть неудобно. Шагом лошадь идет, а все равно сидеть потом неуютно как-то, на лавке там, али на крыльце. Еще когда сено возили, тоже на лошади сидел. В основном, правду сказать, поверх сена сидел. Один раз даже, помнится, налетело колесо на камень, хрястнула ось, воз и завалился на бок; отец тогда сверх меры нагрузил. Ну, и за дорогой не очень смотрел. Крепко тогда Илья об землю шлепнулся. А главное — быстро, ни испугаться не успел, ни понять, что да отчего. Нос расквасил. В ночном еще, когда лошадей на берег сводили, тоже верхами сиживал. Но это как бы не в счет, потому — спутаны у лошади передние ноги, не может вскачь пуститься.

В полную силу бег коня богатырского. Поначалу сто саженей за скок одолевал, потом по версте, а далее — уж и следа не найти, где прежде землю копытом примял. Ископыть летит — по копнушке, никак не меньше. Кажется Илье, когда в стороны глянуть успевает, вода в прудах-озерах колеблется, деревья к земле припадают, листва с них сыплется — ровно семена с одуванчика. А еще ему кажется, что как в сказках, что деды рассказывали: пластается конь выше лесу стоячего, ниже облака ходячего; горы-реки промеж ног пропускает, поля-луга хвостом устилает. Никогда прежде не доводилось ему этак-то, птицей лететь. Непривычно. Вцепился руками в поводья, ажно пальцы побелели; не ровен час с седла соскользнуть. Это тебе не с воза лететь, там низко было. А тут приложишься — и ворон косточек не соберет. Все больше к холке пригибается, так ему вернее кажется.

Солнце давно за полдень перевалило, когда конь бег свой

приумерил. Прискакивать стал, а там и вовсе на шаг перешел. Дивуется Илья: другой бы конь запыхался, пена с губ, с туловища пар, а этому — ничего. Бредет себе ленивенько, пофыркивает, головой поматывает. Голову вверх запрокинул, глянул на Илью большим глазом: мол, куда хотел, туда и добрались. Что от меня требовалось, все исполнил. Дальше ты уж сам как-нибудь.

Посмотрел Илья по сторонам. Не разобрать, где и очутился. Дорога вроде как по лесу петляет, но по лесу необычному. Обычный лес — он на земле растет, а этот… Этот будто бы по камням взбирается. Потому как дорога с обеих сторон скалами зажата. Уж на что у них поодаль деревеньки холмы высокие, да куда там им против здешних скал. Будь на голове шапка — запрокинешь голову, чтоб края увидать — так шапка непременно свалится. Цвета бело-серого, кажется, будто сомкнулась плечом к плечу дружина богатырская, готовясь к рати с супротивником грозным, а тот, видя, что не справиться ему, взял, да и заколдовал богатырей — в камни обратил. Так и стоят с той поры в ожидании, не расколдует ли кто. А иная скала — ровно великан камень на камень складывал. Какой попал под руку — тот и клал. Вот и получилось — тут впадина, а тут выступ. По этим-то скалам и карабкаются деревья да кустарники. Иные до верху добрались, а иные на половине дороги застряли. Видом странные. Взять, к примеру, сосну. У них в лесу, рядом с деревенькой, сосны высокие, стройные да ладные, а эти… Эти невысокие, кривые, сучья чуть не от корня в стороны растопырились, правда, которые повыше забрались.

Едет Илья, дивуется. Иная картина перед глазами встает. Чудится ему теперь, будто скалы — это стены городские. А зелень, что волной подножие обхватывает, и та, которая выше, и та, которая на самой вышине, — это войско, приступом на стены карабкающееся, на башни крепостные взбирающееся.

Тут тропка показалась. Сам-то Илья и не заметил бы, до того посреди деревьев укрылась; конь свернул, будто не впервой ему здесь. Поначалу средь леса, а там к скалам вывела, шире стала, телега спокойно проедет. И вверх повела, как ступеньки крылечка к порогу ведут. Пологонько так, неспешно. До половины еще не добрались, — пики над кромкой показались. Иные, видать, подальше, а иные поближе. И чем выше Илья поднимается, тем больше их становится. А как на самый верх взобрался, такое глазам открылось, что описать — слов нету.

Насколько глаз видит — горы да ущелья. Горы, по всему видать, старые — некоторые уже и поседели, вершинами-то. Те, что подальше, не разберешь, где кончаются, так облаками укутались. А облака те — ветер гонит, не дает им роздыху на

вершинах, потому и нет границы четкой: где земля, где небо. Ущелья же отсюда — на руку с пальцами растопыренными похожи. Реки зеленые по ним текут; отдельных дерев не разобрать. Склоны — иные пологие, а иные — поставь полено на попа, топором развали, вот такими и видятся. Те, что солнцем освещены, они — где белые, а где… ну, такого вот цвета, как ствол у ольхи. Пятна черные — пещеры, должно быть.

Глядит Илья, наглядеться не может, до того красиво, дух захватывает. Чувствуется в земле этой мощь, силушка потаенная. Кажется ему, будто стоит он на краю обрыва, и наливается частью ее, силы этой земной, с каждым глотком воздуха пряного, дурманящего. Что ж тут будет, когда травы в силу полную войдут? Повернулся в седле, огляделся.

Поляна небольшая, подковою. Дерева кругом — все сосны да ели. Другие тоже, конечно, проглядывают, только их по пальцам пересчитать можно. Там, за ними, те же вершины горные. А еще — вроде как дорожка через поляну обозначена. Не тележная, не колейная, так, на звериную похожа. Будто хаживают по ней, не часто, но — хаживают. Не вовсе заросшая. Значит, не совсем уж край этот дикий. Значит, живет тут кто-то. Посему — поспешать надобно, чтобы в лесу не ночевать. Не впервой, конечно, только кто ж знает, каковы тут порядки, посреди гор.

Тронул чуть коня, — тот понял, что от него требуется. Попятился чуть, от обрыва, повернулся и неторопливо себе по тропе шествует. С полверсты не проехали, на лугу оказались. Покатый себе такой, в одну сторону повыше, в другую — пониже. Посередине, будто складочка. Справа от складочки — елка пушистая, да липа разлапистая, подальше. И слева — то же. Камни еще раскиданы; огромные, должно быть, да не углядеть — в землю спрятались, сединой сквозь зелень выглядывают. А вон там — кусты на луг выбрались; они отсюда на барашков похожие, такие же кругленькие и кудрявенькие. Прогалочек в той стороне имеется, а тропинка вроде как потерялась.

Правит туда Илья, сам по сторонам поглядывает: нет ли где следа человеческого. Не видать. Птиц много, гомонят в листве, с дерева на дерево перепархивают; зверье невидимое травой да ветвями шевелит.

Все ближе Илья к прогалочку. Вот уж и совсем рядом. Он, вишь, лес как бы на две части разделил, не дает сомкнуться, петляет себе, сколько глаз видно, то вширь раздаваясь, то сужаясь, к дальним вершинам. И тут…

Глядит Илья, сам себе не верит. Дерево могучее стоит вдалеке. Неизвестно, что такое. Правду сказать, он их не особо и знает-то, дуб там, ель, сосну, еще какие, — по пальцам

пересчитать. Только не в этом дело. Под деревом тем что-то чернеется, маленькое такое, ровно муравей. А возле — пятнышко темное, поболее. Никак конь там пасется, и человек лежит? Уж не сам ли Святогор-богатырь? Хотя нет… Про того сказывали: ростом чуть не до неба, конь шаг шагнет — версту позади оставил. Этот же, — если только и вправду человек — обычный. И конь его — тоже. Ну да все равно кроме него никого поблизости нету. Хочешь — не хочешь, расспросить более некого. Опять же, если живой. И если человек. Конечно, никогда не слыхивал, чтобы *те* на конях ездили. Прикидываться конем — бывает. А так — разве что *суседушко*. Только откуда ему посреди леса да гор взяться? Впрочем, чего гадать-то? Скоро все и разузнается. Лишь бы по-нашему понимал.

Подбирается Илья поближе, однако ж, опаску держит. В народе про горы эти самые Сорочинские много чего рассказывали, кто тут только не обитает. Первое дело — змеи разные, многоголовые. Огнедышащие. Отсюда они в землю нашу наведываются, людишкам покою не дают, в полон забирают. Зачем забирают — и подумать страшно. Еще силы какие-то грозные, неведомые, которым и названия нету. Со змеем еще справиться можно, в нем, кроме размера, ничего такого, а вот силы неведомые — тут непонятно, что делать. Ладно, поглядим. Не змей вроде, не сила неведомая, человек.

Вот уже совсем близко подобрался. Глядит. Совсем Святогор статью, кабы не рост. Ежели встанет, с Ильей вровень будет. Годами, правда, постарше: ишь, борода какая седая на грудь разметалась. Усы ей под стать, поверх бороды разлеглись. Брови густые, как кудель. В полном доспехе воинском — верхняя половина. Нижняя — как у Ильи; сапоги алые, то есть прежде алыми были, а сейчас повыносились и поблекли, порты холщевые. Доспех же отличается, хотя и не сильно. У Ильи — кружочками поверху, так что на чешую рыбью похоже, а у богатыря — пластины одна над другой, с ладонь. Ну, шелом, он шелом и есть. Мечом опоясан, ножом, щит поодаль лежит, копье к дереву прислонено, булаву к седлу приторочена. Лук с колчаном в головах. Руки-ноги пораскинул, сопит. Спит, умаявшись.

Конь же… Вот своего рядом поставить — не отличишь. Росписью упряжи отличаются, а в остальном — один в один. Будто в одно время одной кобылицей рождены. У людей такие близнятами зовутся, или двойчатами, а как у коней…

Спешился Илья: негоже со старшим свысока разговаривать.

— Ты уж извини, человече, что сон твой нарушить приходится, — начал он, не зная, как и обратиться. — А только кроме тебя не к кому. Не по злому умыслу и не в насмешку — по

нужде великой. Не подскажешь, горы ли это Сорочинские? Как мне Святогора-богатыря сыскать?

А тот посапывает себе, ровно не слышит.

Вдругорядь обратился Илья — и опять без толку. Что делать? Посмотрел повнимательнее — уж не заколдован ли? Вроде нет. Ткнул осторожненько рукой в плечо, потом посмелее, — будто в камень тычет. Взялся поудобнее, чтоб потрясти, где там! Ни на вершок с места не сдвинул. Вот ведь незадача. Как разбудить богатыря? Принялся в щит свой булавой молотить — шуму много, а все как прежде. Спит богатырь, не просыпается.

Не стерпел Илья, и булавой легонько так по боку. Отскочила булава. Он опять, по первой послабже, а уж потом — со всей дури. Ровно в скалу молотит. И досадно, и смешно стало. Как тут быть?

Огляделся — вода неподалеку поблескивает. Так, ямку заполнила. Не ключевая, конечно, но… Набрал в щит, да всю как есть на богатыря и выплеснул. Коли что, разъясню, как все было, повинюсь, а повинную голову и меч не сечет.

И в самом деле, проняло богатыря. Зафыркал спросонья, — не поймет, что случилось, — бородой замотал, рукой по лицу провел, глянул вправо-влево, на бок повернулся, вставать собирается.

— Ты уж извини, человече… — начал было Илья, да осекся, чтобы не расхохотаться: больно уж смешно тот выглядел. И так нехорошо поступил, обливши-то…

А богатырь, тем временем, уж и на ноги поднимается. Сейчас все и объяснится. Только вот ведь что непонятно. Покуда лежал — размером с Илью был. А как подниматься начал… То ли он вверх растет, то ли Илья в росте уменьшается. Выше и выше голову задирает, а угнаться не получается. Вон уже и борода где-то в вышине маячит, ровно облако, а прямо перед глазами — сапога изгиб. Как теперь с таким разговаривать, как повиниться, дорогу спросить? Тут в сторону подаваться надо, растопчет невзначай, и не заметит.

Не успел на коня взмахнуть, сверху как будто туча опускается. Черно кругом стало, хоть глаз выколи. Чувствует Илья, оторвало его от земли-матушки и на воздух поднимает, вместе с конем. Хотел было плечами повести — куда там, так сдавило — не продохнуть. Оно, может быть, и к лучшему: кто ж его знает, сколько вниз лететь, коли высвободиться удастся? А потом, — даже и удивиться толком не успел, — оказался не разберешь и где: кругом мягко, темно и что-то справа шевелится. Подается под руками, и на ощупь — ровно холстина грубая. Крикнуть попытался — и крик глохнет, и труха в рот набивается, дышать тяжко. Так и барахтается, молча, не зная, что и поделать.

Конь под ним тоже барахтается, нет у него твердой опоры под копытами.

А потом покачивать начало. Справа, за мягким, застонало-заскрипело-заурчало, волны какие-то движутся. Хоть и незавидно положение, в которое Илья угодил, духом все ж таки не упал: не Змей Горыныч, чай, проглотил, а коли нет — так и выберемся. Вверху же, как время прошло, гром грохотать начал. То есть не то, чтобы гроза, а как будто говорят что-то, на два голоса. Один суровый такой, словно укоряет, второй — тоже суровый, но словно оправдывается. Больше же ничего не слышно, а и слышно — не разобрать.

Сколько прошло времени, про то Илье неведомо, только подошло к концу заточение его, потому как мотать из стороны в сторону перестало. Зашумело над головой, опять подхватило, ввысь подняло, на свет ясный выпростало, — аж глазам больно стало. Зажмурился Илья, слышит:

— Встречай, Славяна, мужа дорогого, да гостя незваного. Откуда в местах наших приключился, по какой-такой надобности, ума не приложу. Только посматривай: нравом уж больно дикий; нет, чтобы по-хорошему спросить, так он меня водой облил. Не ровен час, еще чего учудит, с него станется.

Тяжелый голос, однако ж беззлобный. Глаза протер, удивляется.

Перед ним изба крепкая, из бревен в обхват сложенная. Крыльцо резное; не так, чтобы искусной резьбы, попроще. Столбы навес подпирают, ступеньки к двери ведут, что нараспашку. Баба на крыльце, руки в боки. Сама крепостью как изба, что за спиной у нее. Лицом пригожа, румяна, уста алы, глаза большие, синие-пресиние, две русые косы под повойником, сарафан, птицами заморскими вышитый. Смотрит насмешливо. Или это так кажется?

Богатырь же уже спешился, руку правую на седло положил, Илью разглядывает, сумочку переметную поглаживает. Да неужто вот в этой самой сумочке и привез? Статное ли дело? Вон он, размером-то не больше Ильи.

— Ты, Святогор-богатырь, зла на меня не держи, — только дурень не догадается, кто перед ним, к кому нежданно-негаданно в гости попал, — потому как не удалось мне тебя разбудить. И так я старался, и эдак, а не случилось. Ничего другого и не придумалось, как водой… К тому же, квиты мы. Ты ж меня, небось, вот в этой самой сумке привез?

— Неужто правда? — прыснула Славяна и прикрылась руками.

— Так не бросать же его в горах… Мало ли, обидит кто…

Потемнело лицо Ильи.

— Ты, Святогор, сам только про вежество говорил, да сам же и задираешься. Может, я ростом против тебя не вышел, да и силенки поменее твоей будет, однако ж постоять за себя сумею.

Теперь уж и Святогор расхохотался.

— Да я не задираюсь, — говорит, и вправду, миролюбиво. — К слову пришлось. Звать-то тебя как? Из каких краев тебя в горы наши занесло? За какой надобностью?

— Зовут меня Ильей, по отцу — Иванович, по роду — муромич. Отчина моя далеко отсюда, ежели б не конь, так уж и не знаю, сколько б добирался. А надобность моя простая. Хочу народу послужить, силушкой своею, потому как степняки сильно донимать стали. В дружину княжескую проситься. Вот только навыком воинским не владею. Мне и сказали: есть, мол, на горах Сорочинских, Святогор-богатырь. Он в этом деле из первых первый. (На самом деле, не совсем так было сказано, но не подмажешь — не поедешь.) Ступай к нему да поклонись в ножки, проси, чтобы обучил тебя всему, что сам знает. Я и пришел.

— А вместо того, чтобы в ножки бухнуться, водой окатил, так, что ли? — вдругорядь расхохотался Святогор. — Это кто ж тебе про меня такое сказывал?

— Нашлась одна, — нехотя, не желая врать, признался Илья. — В лесу живет. И глаза у нее — зеленые-презеленые.

Святогор разом смолк. Брови насупил. Смотрит пристально.

— В лесу, говоришь? — бормочет. — И глаза зеленые?

— Нешто ведома? — Илья спрашивает.

— Может, ведома, а может — и нет… — И прибавил, совсем непонятное, как бы в раздумчивости: — То-то и конь говорил…

Не поверил Илья своим ушам.

— Конь говорил?..

— Ну да. Я тебя когда в суму посадил, спросонья был; потом, мол, разберусь. Еду себе, еду, а конь мой спотыкаться стал, что с ним допрежде никогда не случалось. «Что ж ты, говорю ему, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься? Ты идти не мошь, аль везти не хошь?» А он мне: «Как прости-тко ты меня, хозяйнушко, везу я двух могучих богатырей, да в-третьих с конем богатырскиим». Не поверил я ему, чтобы такой невзрачный, да богатырем был. И посейчас не верю. А давай-ка мы завтра поутрени поедем во чисто поле, переведаемся силою. Коли сдюжишь, так уж и быть, обучу, чему сам научен.

Так вот что за голоса Илье дорогой слышались!..

— Не могу я с тобой силушкой переведаться, — сказал.

— Это еще почему?

— Заповедано…

— Кем?.. — опять Святогор насупился, потом как будто спохватился. — Погодь, давай поначалу повечеряем, а там все и расскажешь. Чтоб не говорили потом, будто Святогор гостя не приветил.

Как же, не приветил… Стол у хозяина накрыт — на десятерых хватит. Чего тут только нет: и дичина тебе, и птица, и рыба, и пироги, и хлеб-соль, и мед, и квас: выбирай, что глаз приманивает. Гостя не приневоливают, однако ж посматривают, чтоб с пустыми руками не сидел. Сам-то Святогор столу еще ту честь воздает: такие ломти отхватывает да в рот отправляет, иному на целый день хватило бы. Хозяйка, та поаккуратнее; придвинула к себе блюдо с птицей какой-то, пощипывает; нет-нет, на Илью взгляд бросит. А тот и рад бы от Святогора не отстать, да где там!.. Того попробовал, другого. Рыба понравилась. Не такая, как у них в речке. Непонятно только, откуда она у них тут в горах?

Вроде бы, повечеряли. Святогор отодвинулся, кушак ослабил, выдохнул сытно — ровно ветер по горнице. Илья еще прежде него насытился, так себе сидел, в народе сказали б — для численности…

— Пойдем-ка, на дворе присядем, потолкуем, — Святогор поднялся и встал в дверях, пропуская вперед гостя.

Вышли, присели на лавку возле стены.

— Вот теперь можешь сказывать, кто и что тебе заповедывал.

Не стал Илья запираться, тень на плетень наводить. Рассказал все, как было, без утайки. И про хворость свою, что на печь положила, и про калик, что от недуга избавили, и про сказание Бояново, что в сердце вошло, и про зеленоглазую… Слушает его Святогор, и не поймешь: то ли верит, то ли нет.

— Калики какие-то, — пробормотал. — Что за богатыри? Про Горыню — ведомо, про Дубыню, Усыню там… Дон, Дунай… Этот, как его, ратай…

Настал черед Илье подивиться.

— А это кто такие? — спрашивает. — Сколько на свете живу, никто словом не обмолвился…

— Так много ль ты на свете-то живешь? — усмехнулся Святогор. — Я — и то с трудом припоминаю. Братья родные. Горыня — тот горы сворачивал; где дорогу торил, а где загораживал. Дубыня — дубьё верстал; который дуб высок — тот в землю пихал, а который низок — из земли тянул. Чтоб ровные были. Усыня же, говаривали, положит ус поперек реки, и по усу тому, словно по мосту, что пешие, что конные, что телеги переправляются… Пришел я к ним, вот как ты ко мне, посмеялись они надо мной, однако ж не погнали. Научили кое-чему…

— А нонче они где?

Темная тучка пробежала по лицу Святогора.

— Про то сами ведают… Сгинули, должно быть…

Помолчали.

— А ратай? — спросил Илья.

— Что — ратай?.. Ах, этот… Попадись он мне, поквитались бы. Один только раз его и встретил, а уж на всю жизнь запомнил, хоть и давно это было. Я еще тогда с гор своих в иные места наведывался. Так вот. Еду себе путем-дорогою, гляжу, впереди меня идет кто-то. Не скажу, по какой надобности я тогда отлучился, не упомню, а тут, думаю, оно, хоть и пеший, а все ж таки товарищем будет, коли в одну сторону направляемся. Это мне сейчас до людишек дела нету, а тогда молод был, что где знать желал. Еду-еду, а он все впереди, и вроде даже — как было до него, так и осталось. Ну, подхлестнул я коня; прежде он рысцой трясся, а тут порезвее припустил. И опять — без толку. Ясное дело, прихватила меня досада. Конь-то мой, из первых первый, нет ему равных на всем белом свете. В полдня я с гор своих до Киева дорыскивал, по молодости да по надобности. А тут — ровно заговорили коня моего. Уж, кажется, во всю прыть летит, да только странник этот где был, там и остался. Не стерпел я, кричу: «Ай же ты, прохожий человек, приостановись не сомножечко, не могу тебя догнать на добром коне». Он и приостановился, сумочку с плеча уронил. Подъехал я, стал спрашивать: как так получается, что я его догнать не смог? Уж не кудесник ли он какой? «Нет, отвечает, просто ходить мне, оно не в диковинку. Сколько себя помню, всю жизнь на ногах». «Так ты что же, спрашиваю, послом каким будешь?», а сам посматриваю — одежа у него простенькая, лапотки старенькие, не годится такой в посыльные. По стати своей — богатырского рода. Дай-ка, думаю, предложу ему силой померяться. «От земли я, отвечает, за сохой всю жизнь, вот и приобык, к ходьбе-то». Нет, думаю, меня не проведешь. Вон они, плечи какие; такому быка положи, он и не заметит. «Сдается мне, подсмеиваешься ты надо мною, говорю. В сумочке-то что у тебя, в пыль ведь обронил?» «А вот подыми с земли, так увидишь». Ладно, думаю, будь по-твоему. Зацепил это сумочку концом копья, а она ни с места. Поднажал — копье согнулось, затрещало. Соскочил с коня, ухватился одной рукой, потом двумя — никогда прежде такого не случалось, чтобы малость малую да понять не сумел. Потянул со всей мочи, чувствую, в землю уходить начал. Кажется, будто не пот — кровь со лба побежала. Бросил тянуть, выбрался кое-как, не знаю, что и подумать: кого встретил. «Что ж там у тебя такое?» Нагнулся он, поднял сумочку, распахнул. Нет в ней ничего, только хлеба кусок.

«Тяжко, отвечает, людям хлеб достается, сколько труда да силушки в него вложено, не каждому богатырю по плечу. Это тебе не мечом махать». Пойди его, пойми… «Звать-то тебя как?» «Микулушкой кличут, Селяниновичем». Вскинул себе сумочку на плечо, повернулся, и дальше направился. Какой он тебе ратай? Ясно, кудесник. «А скажи-ка ты мне, Микулушка, — вслед ему кричу, — может, ты судьбу мою ведаешь?» Остановился он, обернулся. «Я свою-то судьбу не ведаю, куда уж мне твою знать? Только, говорят, есть на белом свете такие горы Сорочинские, на тех горах стоит дерево великое, под ним — кузня. В той кузне — кузнец; он все знает. У него и спроси». «Как же мне кузнеца того сыскать? Я уж не первый год в тех горах живу, а про кузню ту слыхом не слыхивал». «Сыскать ее, в том ничего мудреного нету. Поезжай себе путем-дорогой прямоезжею до росстани, а от росстани влево сверни». И пошел себе, пошел, только я его и видел… Сейчас бы его встренуть, с сумочкой его. С тех пор у меня силушки-то поприбавилось, поквитался бы.

— А что же кузнец? Сыскал?

— Сыскал… Коли хочешь, и тебя к нему провожу.

— Это еще зачем? Мне свою судьбу знать надобно.

— Ты ж вроде как в ученье ко мне набиваешься. А с таким оружием тебе не то что в ученье, ворон в огороде пугать, и то неспособно.

— Так ты что ж, вроде как согласен?

— К кузнецу съездим, там и поглядим. Поздно уже, отдохнуть надобно. Как ты, не знаю, а я еще до солнышка подымаюсь. Вон сарай с сеном, там и ночуй пока. Не взыщи, иного места не приготовили, не знали, что в гости пожалуешь. Непривычны мы к гостям-то, да и не заносит сюда никого.

Сладко спалось Илье. Крепко. Так, что и не слышал, как Святогор поднялся. Только тогда глаза и продрал, когда тот об притолоку сарайную легонько постучал.

— Не взыщи, хозяин, — чуть смущенно сказал Илья. — Больно уж у тебя сено духмяное. Захочешь не проспать, а проспишь.

— А еще в службу княжескую проситься решил! — похохатывает Святогор. — Там не в гостях, не разоспишься. А коли разоспишься, разом службу эту на боках своих почувствуешь.

— Неужто князь дружинников наказывает? — усомнился Илья.

— Мне почем знать? Я не князю — себе служу. Хочу — сплю, хочу — в дозор еду.

— А спросить дозволь: за кем же ты тут дозираешь?

— Да мало ли… Одно время змеи одолели, опять же короли всякие-разные, или степняки за добычей. Только мои это горы, я здесь хозяин. У себя там, творите что хотите, а тут как повелю, так и будет.

— Так ты что же…

— А ничего. Толкну утес какой, перегорожу путь, и вся недолга. Сметливый — тот обратно развернется…

— Ну а несметливый?..

— Таких пока не встречалось, — усмехнулся Святогор. — Собирайся. Утренничать пора, и к кузнецу.

…Кузня представляла собой высокий, большой сруб, солидный, как сами горы, с распахнутыми дверями-воротами. Расположилась она, вместе с хозяйственными и жилыми постройками, посреди леса, на ровной площадке, подалее от обрывов и круч. Мимо нее пролегала дорога — откуда и куда, неведомо.

Спешились Святогор с Ильей, вошли.

Изнутри кузня показалась еще более большой и внушительной, нежели снаружи. Дышал жаром огромный горн, сложенный из валунов; воздух в него нагнетали мехи, в человеческий рост, приводимые в движение двумя подмастерьями. Несколько огромных бочек, наполненных водой, на земляном полу. Еще несколько, поменее, свисали на цепях с потолка. Скамья. Маленькие, не по размеру кузницы, окна с околенками, затянутыми бычьим пузырем. По стенам — инструменты и готовые изделия: подковы, косы, топоры, цепи; вдоль — несколько лемехов, какие-то заготовки. Еще один подмастерье удерживал длинными щипцами на наковальне раскаленную добела заготовку; двое других били по очереди большими молотами, кузнец, с малым молотом в руке, следил за их работой, время от времени останавливая и нанося несколько коротких, выверенных ударов. Косматый, черноволосый, с бородой, растущей не в длину, а вширь, с закатанными рукавами, в кожаном фартуке, размером под стать кузнице, он видимой своей мощью ни в чем не уступал Святогору.

— Здоров буде, кузнец, — громом прогрохотал Святогор.

— И ты будь, — едва скосив взгляд в его сторону, отвечал тот, не прекращая работу.

— Не больно-то ты приветлив…

— Так что с того? Сказывай, зачем пожаловал. Судьбой кованой, что ли, нерадостен?

— Радостен — не радостен, про то сам знаю. Не про себя я. Занесло, вишь, ко мне гостя, в ученики богатырскому делу просится. Оружие бы ему по руке, доспех по стати.

Кузнец бросил мимолетный взгляд на Илью.

— По руке, говоришь? Чтоб по руке, на это время надобно. А пока — вон там, в чулане гляньте.

Святогор кивнул Илье следовать за собой и прошел в чулан. Илья подался было за ним, когда услышал позади голос кузнеца.

— Как подберешь, все, что на тебе и с собой, отдельно положишь. Потому — не твое это. Что возьмешь, год сроку. Через год вернешься, получишь взамен надобное. Раньше никак не поспеть.

— А вот Святогор сказывал, будто ты ему судьбу сковал. Правда то, али подсмеивается?

Кузнец зыркнул в его сторону черным глазом.

— Сомневаешься, значит?

— Не то, чтобы сомневаюсь, а только чудно как-то…

— Добро… Скую тебе судьбу. Но уж коли что не так — не взыщи.

И этот туда же. Не стал Илья с ним препираться, скинул доспех, на скамью положил; поверх — оружие, что при себе держал. Да в чулан подался, там Святогор такой шум поднял, будто с ратью вражескою повстречался.

…Обратно подались, когда Илья осторожненько так, вроде невзначай, поинтересовался.

— Неужто и вправду кузнец судьбу сковать может?..

— Так ты что же, у реки будучи, и не напился?

— Ну почему же… Спросил. Обещал сковать…

Расхохотался Святогор. Никак остановиться не может. В седле раскачивается, вот-вот оземь грохнется. Терпел Илья, терпел, а потом взыграло-таки ретивое.

— Чего гогочешь попусту? — насупился.

Унялся тот наконец. Головой покачивает.

— Не токмо над тобой, — говорит. — Над всеми дурнями. Не оскудеть ими земле нашей, ох, не оскудеть…

Услышал Илья, еще сильнее насупился.

— Не серчай. Сказал же, не токмо об тебе речь. Я вот такой же, как ты, в молодости был. Сила есть, норов есть, а головы вроде как и не надобно. Я, когда к кузнецу по первости попал, так же, как ты, недоверчив был; все, думал, потешаются надо мной, по моей молодости. Спросил я тогда, в ответ посмеяться думал: «Ну, коли ты судьбы куешь, так и отвечай: на ком мне жениться?» Не просто спросил: думал я — ни к чему богатырю жена. Обуза. Он и отвечает: «На прямой спрос и ответ прямой. Невеста твоя в царстве Поморском. Во дворце, на горе высокой. Тридцать лет во гноище лежит, и нет ей до поры исцеления». Хорош сват!.. Как там в народе говорят: у вас товар, у нас купец? Только не по

купцу товар такой… Задаром не нужен. Ничего не сказал я, повернулся, да и подался себе.

Прошло сколько времени, довелось мне в Киев наведаться. Там и услышал от гостей заморских: и впрямь, есть на свете царство Поморское, и дворец в нем есть на горе высокой, и девица шелудивая — все сходится, как кузнец сказывал. Мне б послушать да забыть, а я чего-то обеспокоился. Ну как впрямь наворожит что? Недаром про них молвится, что они неведомо с кем спознаются, чтоб искусством своим овладеть. День хожу, другой — шевелится внутри, не дает покою. Пуще и пуще сомнение разбирает. Не выдержал. Спросил, какой корабль в царство это самое Поморское отправляется, упросил с собою взять.

Про то, как плыли, и вспоминать не хочу. Я ведь, помимо платы, обещался работой помогать, от разбойников морских оберечь, ежели случай представится. А сам, едва отплыли, слег, и сколько времени в море были, столько пролежал. Силушку будто отняли, как с земли на корабль ступил. Какой там помогать!.. Когда на берег снова ступил, людишки местные на смех подняли. Толпами ходили на меня посмотреть. А чего ж и не веселиться-то? Доспех на мне — ровно на жерди какой. Лицо посерело, вытянулось, руки-ноги подрагивают, ни меча тебе поднять, ни булавой махнуть.

Только мне и недосуг, их-то гонять за привет такой. Мне, чем ближе, тем все беспокойнее становится. Порасспрашивал я дорогу, рассказали мне, вслед же еще пуще хохочут: «Должно быть, невесту подбирает, себе под стать». В другой раз, осерчал бы сильно, добавил уму-разуму, а тут… В общем, как кузнец и сказывал, на горе высокой терем ейный стоял. Так высоко, что я, пока добрался, ног под собой не чуял. Петляет дорога; идешь по ней, идешь, кажется, уж несколько верст отмахал, глянешь вниз, ан нет, вон она, а ты прямо над тем местом стоишь, где пару часов назад дух переводил. Кроме же как по дороге этой самой, иного пути нету. Оступишься ненароком, далеко вниз лететь придется. Грохнешься — только мокрое место от тебя и останется.

Взобрался, наконец. Терем по размеру такой, что и царю жить не зазорно. Ворота нараспашку, никого не видать, попрятались, должно быть. Я ведь, как последнюю версту одолевал, не больно-то помалкивал. Всем всего столько пожелал, враз не унесешь, — и дороге этой самой, и камням на дороге, что нарочно под ноги лезут, и кузнецу, и невесте, и еще ни весть кому, — вот и попрятались, чтоб под горячую руку не попасть. Нараспашку ворота, — добро, ломать не придется; двери — тоже. Сунулся

внутрь — смрад такой стоит, что слезы из глаз, ничего не видать. Как в горенку поднялся, не помню уж. То, что с горы не слетел, здесь полной мерой наверстал, — лесенки узкие больно, да крутые.

Вхожу, вижу, лежит что-то на ложе. Стол, лавки, окошки распахнуты настежь, — только все это как если под водой глаза раскрыть, мутное. Смрад же такой стал, что не вздохнуть. Приблизился я к ложу, а там колода какая-то. Вот как обрубок дубовый, кора сплошная, а по коре вроде как поблескивает. «Что ж вы, думаю, окаянные, вытворяете? Слепому видать, не живет баба, мучается. Потому, видать, и сосватал ее мне кузнец, чтоб я от мук ее освободил». Подумал так, и разом внутри легко стало. Спал с сердца камень тяжкий. Бросил я на стол перстень дорогой, с Алконостом из камня самоцветного, на погребение, вынул меч из ножен, да и ударил…

— Как так? — Илья встрял. — Бабу? Мечом богатырским?

— А кого ж еще? Не корову же… Думаешь, легко было? И рука дрогнула, и меч не так лег, а как хрустнуло, развернулся я, да деру. Оно понятно: дело-то хорошее сделал, только вот поперек себя… Летел, не разбирая дороги; на пристани оказался, и не заметил как. Снова на корабль, — хорошо, сразу подвернулся, — отдал почти все деньги, что были, и опять — едва отплыли, слег, и сколько времени в море, столько пролежал. Только на этот раз все колода мерещилась. Доползу до борта, приподымусь, гляну — вон она, в волнах, догоняет… Долго мерещилась. И даже после того, как обратно вернулся. С тех пор зарок себе дал: в море — ни ногой…

— Дела… — протянул Илья, не зная, что и сказать.

— Дела делами, а только это еще не конец, истории-то. Прошло время, занесло меня к порогам, что на Славутиче. Прослышал я о ту пору, что богатырь среди степняков завелся, силушкой похваляется. Взыграло ретивое, дай-ка, думаю, переведаюсь. Ан вместо степняков — ладьи подымаются. Красиво так изукрашены, паруса цветные, богатые. Дружина крепкая. Мне бы мимо себе ехать, в Степь, а я сдуру возьми да спроси, кто такие да откудова. На заставе спросил, она повыше порогов стояла. Те и рассказали, что ладьи эти из царства Поморского, гружены товаром красным, а ведет их — баба. Чуть не побил я ту заставу — где ж это видано, чтобы бабы на ладьях плавали, товаром красным торговали? А потом рукой махнул; тяжкая жизнь на заставе, может, медом угостились на славу, так что ж мне их теперь за это?.. Только они уперлись: твердят свое, ровно дятлы по одному месту: как есть баба главная. И — веришь ли — что-то в груди у меня взволновалось. Баба, царство Поморское…

Помаялся я, и так, и эдак поразмыслил, плюнул на этого богатыря степного, — нехай себе пока тешится, еще свидимся, — и по берегу в Киев. Конь-то у меня в ту пору плохонький был, не то, что нонче; опять же страннички пару раз встретились, поучил уму-разуму… В общем, как в город заявился, ладьи мои уже вовсю торгуют, а среди народа разговоры идут — и впрямь баба у них главная, да еще какая — красавица писаная, на особом корабле, под особой охраною. Уж на что наши витязи крепкие, а и те не из лыка сплетены; хотели тут несколько молодцев на корабль взойти, на бабу взглянуть, — так вразумили, что неделю света белого не видели; разнесло, ровно в борть сунулись, да и застряли.

Разобрало меня тут любопытство. Что ж это за чудо такое, что и увидеть нельзя? А коли нельзя, откуда ж известно, что красавица писаная? Впрочем, у нас издавна так завелось: что сам не видел, того лучше в целом свете нету. Перерядился я в платье зажиточное, стал в рядах, где людишки с ладей торгуют, присматриваться да прислушиваться. Знамо дело, только время попусту потерял; ничегошеньки не высмотрел и не выслушал. А дело-то у них бойко идет; они и торгуют, и покупают, скоро в царство свое Поморское, назад, отправятся, а я вроде как ни при чем останусь. Дай, думаю, тоже гостем прикинусь, авось сладится. Сунулся, — они все больше меха скупали, — сказал, что запас имею, чего предложить. Не успел двух слов сказать, они меня поначалу на смех подняли, а потом коситься стали, с опаскою. Кто ж знал, что у гостей этих самых свой особый язык имеется, свои ухватки, по которым они друг дружку за версту видят?

Так ничего у меня и не вышло, а тут пришел раз, гляжу издали, и вижу — якоря подымают, отплывать собираются. Это что ж мне теперь, и в Киев не сунуться будет, — я ж, между делом, об заклад побиться успел, что высмотрю-таки бабу? Нет, думаю, шалишь. Умом не взял, силушкой возьму. Сбежал на пристань, ухватил канат, что ладью с этой самой бабой на месте удерживал, и ногами в настил уперся. Дружиннички-то ейные веслами толкаются, ругаются, ан с места сдвинуться не могут. «Это что за орясина? — кричат. Чего тебе надобно? Вот мы тебя!..» «А мне ничего другого не надобно, как с главной над вами парой слов переведаться, отвечаю. Переведаюсь, так и отпущу. А нет, век воду баламутить будете, а с места не тронетесь». Один собрался было канат тот самый перерубить, да только он длинный оказался. Махнул я тем концом, что в руках держал, ровно кнутом, он в воду через борт и полетел. Народ собрался, хохочут. Давно потехи такой не видывали.

Смекнули дружиннички, что к чему. Ну, то бишь, супротивничать — только себя на посмешище выставлять. А тут баба эта самая вышла, разузнать, что случилось.

Глянул я на нее, и рот раскрыл. Да и народ, что вокруг толпился, тоже разом поумолк. Не сбрехали люди — впрямь краса писаная.

— Ты зачем, молодец, ладью держишь? — спрашивает.

— А затем, — отвечаю, — что предложение у меня к тебе имеется. Дозволь сказать.

Не сразу, конечно, ответил, потому — потерялся.

— Что ж, говори свое предложение, — улыбается.

Как улыбнулась, совсем я голову потерял. Глаз от нее оторвать не могу. Чего говорю — и сам не ведаю.

— Ты сходенки сбросить вели. Как подымусь, так и скажу. Негоже, при всех-то.

— Что ж ты такое сказать хочешь, что при всех негоже? — еще пуще улыбается.

А я и сам не знаю. Авось, думаю, кривая вывезет.

Подала она знак, сбросили сходни. Отпустил я канат, взошел. Она ручку выпростала из рукава широкого, плавно так повела, ровно лебедушка крылом, проходи, мол. Я же, как ручку ее увидел, столбом встал; потому — перстень у нее на пальце, с Алконостом из камня самоцветного. Разом все вспомнилось, будто вчера случилось.

Заметила она, что меня в оторопь привело, перестала улыбаться.

— Аль прежде видел? — спрашивает.

— Не без того, — отвечаю.

— А чей он, ведаешь?

— Может, и ведаю… Откуда он у тебя?

— А ты кто таков собой, чтобы спрашивать?

— А такой… Может, этот самый перстень, он мой был…

— Ах, вон оно как… — Призадумалась, на меня глядит.

Святогор неожиданно прервался, чуть приподнялся на стременах и приложил ладонь к глазам. Илья проследил глазами направление его взгляда, но увидел разве что маленькую темную полоску далеко в небе.

— Змей, — совершенно будничным голосом произнес Святогор. — Давненько не видел…

— Змей? Какой змей? — не сразу понял Илья.

— То есть как какой? Вестимо, тот самый, которого в народе Горынычем кличут. В горах моих живет, далече отсюда. Давненько не видел.

— Вот так прямо и живет? — удивился Илья. — Что ж ты

его… не того?..

— Живет себе, и живет. Мне не досаждает, я его и не трогаю. А ты что думаешь, мне его на цепь посадить? Дом сторожить?

— Он же… Он же в землю нашу летает, народ губит, села разоряет…

— Сам видал, али люди брехали? — насмешливо глянул в его сторону Святогор. — Ну, так кого разоряют, тот пусть сам о себе и обзаботится. А мне змеи не мешают…

Не понимает Илья. Как же так получается? Народ Святогора первым богатырем почитает, — ну, может, не первым, одним из первых, — а ему до народа и дела нет. Сам по себе. Забился в горы и живет, в ус не дует. Оно, конечно, через горы эти ни один враг не сунется, да только не потому, чтоб богатырь за землю стоял, что его породила, а потому, что досадить боятся. Чудно… Спросить хотел, напрямки, а против воли вырвалось:

— С бабой-то, что дальше приключилось?

— С бабой-то?.. А ничего… — Святогору то ли не хотелось припоминать, то ли рассказывать, то ли змей его мысли в сторону увел. — Украл я ее, как положено. Дружину ее побил немного, ладьи поломал. Не в Киеве, конечно, когда в обратный путь отплыли. Я за ними берегом последовал, и когда они к берегу пристали, тут и украл. Сказал ей, как все было, и про кузнеца не утаил, как он мне судьбу выковал. И она мне рассказала, как лежала в тереме во гноище, как водили к ней лекарей всяких-разных, — ни один с хворобой ее не справился. А потом, — она уж вроде как отходила, — какой-то молодец ударил мечом по коросте, что тело ее покрывала, та и спала. Это ей слуги рассказывали, — они из углов да щелей выглядывали. Даже след от удара остался. Стала она с той поры выздоравливать, скоро совсем оклемалась, ровно родилась заново. И положила она о ту пору зарок себе наистрожайший — уж коли и суждено ей выйти замуж, так пусть же суженым ее станет тот самый молодец. А найти его — по перстню собиралась, что он на столе оставил. Сама она богатствам счета не знала, вот и построила ладьи, дружину набрала, торговать стала. Так оно проще молодца найти, потому как слава о красоте ее за сто верст впереди бежала. Ну да и силушкой не обижена, за себя постоять может; сказывала, как-то раз подъехал к ней какой-то соискатель, мой это перстень, мол, нашла, кого искала. Так она его в бараний рог скрутила, даром что подковы гнул, ровно прутики ивовые. В общем, к чему это я? А к тому, что коли уж ты попросил кузнеца судьбу себе сковать, не бегай ее, все равно не убежишь.

— Да я и не просил вроде… Думал, вы надо мной надсмехаетесь, — сказал Илья. — А что, ежели вернуться? Я

мигом — туда и обратно… Объясню…

Святогор расхохотался.

— Коли б кузня та простая была, может, и вернулся бы. Да только нет тебе к ней дороги, пока срок назначенный не минует. Сколько он тебе сроку назначил? Год? Вот через год — любую дорогу выбирай, каждая к кузне приведет; а до той поры — и не пытайся.

* * *

…Чем Илья Святогору глянулся? А может и не глянулся вовсе? Может, лишние руки в хозяйство на время заполучить решил? Про то не ведомо; только согласился богатырь обучить Илью искусству воинскому, а заодно навыкам разным, которые тот, по причине немочи своей многолетней, освоить не сумел. Где грубая сила требуется, там пожалуйста. А вот, скажем, косьба? Тут рукоятку надобно правильно на косовище расположить, пятку к земле прижать, чуть приподнять лезвие — и повернуться телом вполоборота. Не руками тащить косу по земле — телом вести. Оттого-то у неопытных косцов поначалу поясницу и ломит, али ладони в мозолях. Ну, про то, как острие в землю со всего маха вгоняют, и говорить нечего. А Илья — чем хуже прочих? Не один десяток раз косу из земли вытаскивал, сколько кочек смахнул, — не счесть, пока получаться стало.

С конем обращаться — тоже уметь надобно. Прежде чем потник положить, спину обтереть надобно, посмотреть, нет ли натертостей. Ремни седельные строго подогнать: послабже — соскользнет седло, посильнее — задохнется конь. Опять же уздечка. Сколько пальцев должно помещаться между горлом и подбородным ремнем? А сколько между ремешком и челюстью? Не так все просто.

Да и ездить — целая наука. Конечно, ежели надобно, чтобы конь, помимо прочего, твоим боевым товарищем был. Как команды ему подавать, голосом ли, движениями рук и ног. Как в седле держаться, чтобы не слететь. Здесь тоже довелось — и падать, и место себе, что с седлом соприкасается, поотбить.

С воинским искусством — то же. Поставит Святогор, к примеру, колоду, махнет мечом — та и рассыплется надвое. Махнет Илья — зазвенит меч, да и отскочит, хорошо еще, ежели ладонь не вывернет. И булава. Казалось бы — дубина дубиной, махай себе, — поберегись, коли голова дорога; только Святогор приложит колоду — та крякнет и осядет, а у Ильи — отлетает булава, точно по камню хватил.

Или вот лук. Тоже искусство — наложил стрелочку, натянул тетивочку, и пуляй себе. Главное — посильнее натянуть, чтоб подальше стрелка полетела, да покрепче держать, чтоб лук не выронить. Ну, и прицелиться, конечно. А только попервой тетивочка та самая так Илье по запястью шваркнула, чуть не взвыл. И оружие выронил, от неожиданности, и куда стрела улетела — не заметил. Только Святогор пуще в другой раз хохотал: это когда Илья на скаку выстрелить попытался. Допрежь он все луком цеплялся: то за седло, то за самого себя, а тут вскинул, да и не удержался в седле, так грохнулся — земля содрогнулась…

Копье тоже… Приспособил Святогор вроде как чучело, только из толстого ствола. Привязал поперечину; с одной ее стороны днище от бочки приспособил, с другой — дубину на веревке. Мчится Илья, копье наклонив, чтобы в днище посильнее да поточнее ударить; а как ударит — повернется чучело вокруг себя, и дубиной по всаднику угодить норовит. Коли что не так — как раз дубиной и приголубит.

Тяжко идет ученье, ох, тяжко. Даже и не думалось, что так оно будет. Однако ж понемногу дается.

Одно Илью смущает. Славяна, жена Святогорова. Прошло время, примечать стал: как только нет того поблизости, — и рядышком пройти норовит, и заденет слегка, и глазами поведет, и голову наклонит особенно как-то. А Илья, он из камня сделан, что ли? Али слепой, али к красоте бабьей нечувствителен? Вот и мается, не знает, как поступить. И Святогору не скажешь, потому — сказать особо нечего, и ей — посмеется, ишь, чего удумал…

Бегут дни, один на другой похожие; только тем и отличаются, что на дворе. Оно, конечно, в хорошую погоду и по хозяйству, и искусству воинскому, и прочим навыкам обучаться куда как сподручнее, нежели под ветром и дождем. Только ведь ни враг, ни нужда не спрашивают, когда придти; посему — завсегда быть готову встретить их надобно. Мужает Илья, матереет. Не просто силушку в себе чувствует, разухабистую да вольную, — разумной силушка становится, расчетливой, не бежит поперед головы. Уменья прибавилось. Видели бы его отец с матерью…

Гнать старался от себя мысли о родителях. Соскучился очень. Как-то они там, без него? Вот, кончится ученье, первым делом — домой отправлюсь. Сколько там еще до назначенного кузнецом сроку осталось? Потому как решил для себя: в тот день, что кузнецом назначен, поклонится Святогору до земли и распрощается. Не век же в учении да гостем, пора и честь знать. Дальше уж как-нибудь сам.

* * *

…Вот он и настал, наконец, день долгожданный. Совсем уж Илья мыслями измаялся. Не то, чтоб совсем уж оперился, а так, едва на крыло стал. Худо-бедно за себя постоять сумеет. И не только за себя. Оно, конечно, далеко ему до Святогора, ну да ничего, с опытом наверстается. Слова осталось правильные подобрать, чтоб не обиделся. И со Славяной так распрощаться, чтоб не подумала, будто он от нее бежит. Пока к кузнецу да обратно, есть время подумать.

Позавтракали, собрались, в путь подались. Святогор привычно по сторонам поглядывает, не нарушил ли кто владений его, а Илья все слова ищет правильные. Только не выходит никак. Больно уж неловко получается: чем таким может он отплатить за учение, за привет? То, что по хозяйству помогал, так это не в счет. Вот коли б битва какая приключилась, чтоб помочь, из беды выручить — это да. Так ведь, как назло, разогнал богатырь всех королей и иже с ними, если и идут куда походом, горы эти, небось, за сто верст стороной обходят.

Тут Святогор осадил коня, повернулся в сторону утеса голого, застыл. Илья тоже глянул, но ничего не увидел: скала себе, и скала, площадка ровненька, деревца чахлые за камень зацепились. Полно здесь таких. А только Святогору такое видится, что Илье разглядеть не под силу.

— Чего там? — спросил.

— Не пойму, — отвечал Святогор. — Странное что-то. Слухи были, водятся в горах силы какие-то грозные, неведомые, которым и названия нету. Никогда с такими не встречался. Не они ли пошаливают? А ну-ка, глянем…

Ближе и ближе подъезжают. Осторожничают. Больно близко тропа к обрыву вьется. Не то, чтоб узка, а коли что не так… Даже думать не хочется, что будет, коли не так… И видит Илья, что прежде от взора его пряталось — камень какой-то к скале на площадке притулился. Будь один — он и не заметил бы, а заметил — так и пускай себе лежит, есть-пить не просит. Не то — Святогор. Вот уж воистину — хозяин. Приметил непорядок.

Это уж когда на площадку выехали, понял Илья слова Святогоровы. То, что издали камнем простым виделось, домовиной оказалось. Старой на вид, но прочной, дубовой должно быть, от времени прочнее камня ставшей. Обычного размера. Крышкой прикрыта. А по крышке — вырезано что-то непонятное. Доводилось Илье видеть письмо — это когда по бересте, скажем, или по чему еще, значки выводят, буквами именуемые. И такой силой обладают эти самые значки, что кто

владеет этой самой премудростью, тот про что хочешь кому хочешь за тридевять земель все расскажет, будто с глазу на глаз, — ехать не надобно. Достаточно бересту эту самую послать. Только те, что Илья видел, и те, что на крышке — не похожи вроде.

Спешились оба, осматриваются. Никаких следов. Домовина — и все. И так смотрели, и эдак — ничего не высмотрели.

— Ты, Илья, в сторону стань, — пробормотал Святогор. — И держи меч, али булаву там, наготове. Я сейчас крышечку-то возьму, да подвину. Коли что оттуда выпорхнет, так ты не зевай — бей без промаху. Потом разберемся, что да как.

— Стоит ли, — усомнился Илья. — Может, не живой там. Негоже беспокоить.

— Негоже бросать вот эдак-то, посреди скалы. Взялся упокоить — так и упокой по-человечески. Ежели не живой окажется, сами упокоим, как подобает. А ежели сила какая злая, — попотчуй ее без жалости.

— А ну как пустая? — спросил Илья.

— Да кому оно понадобилось, пустую домовину в гору затаскивать? Готов?.. Поглядывай!..

И прежде, чем Илья толком сумел приготовиться, толкнул крышку в сторону и отпрянул. На вид тяжелая, крышка подалась легко, ровно перышко, обнажив под собой пустое пространство. Святогор, отмахнувший сжатую в кулак руку за спину, готовясь разить, крякнул.

— Вот тебе и на, в самом деле пустая… Что за напасть!..

— Далась она тебе, — досадливо поморщился Илья. — Лежит себе, и лежит. Как бы нам к кузнецу не опоздать…

— Не опоздаем…

Святогор еще раз оглядел домовину, хотел, видно, ногой пнуть, потом раздумал, к коню направился.

— Ладно, будь по-твоему…

Уже собрался было в седло, но замешкался. Расхохотался.

— А ну-ка, полезай в домовину. — Это он Илье.

— Зачем еще? — удивился тот.

— Полезай, полезай, не бойся. Я, ежели что, ее по щепочкам разнесу. Засаду устроим. Ты вовнутрях будешь, а я тут снаружи прилягу, будто неживой. Как кто явится, знак подам. Нельзя же вот так просто, взять, и уехать, не разобравшись.

— На обратном пути глянем, — пытался урезонить его Илья. — А то, может, не тот явится, кого ждем… Ну, может, он не живой, хозяин домовины-то…

Но Святогора было не остановить.

— Нешто это видано, чтобы не живые по свету белому

шастали? Это детишек неразумных пугают, да и те не очень-то боятся. Нет уж, коли умер, так умер. Полезай, говорю. С час покараулим. Не заявится никто, дальше подадимся. Как и говоришь, на обратном пути глянем.

Очень не хотелось Илье в домовину ложиться. Не то, чтобы боязно, а все ж таки не по себе. Вот ведь незадача, попала вожжа Святогору под эту самую… под кольчугу. Ладно, час полежать, это не на веки вечные.

Улегся Илья, Святогор крышкой накрыл, повозил, прилаживая.

— Ну что, удобно тебе? — спрашивает. — Дышится?

— Удобно, — буркнул Илья. — Ты давай тоже, в засаду…

Снаружи громыхнуло; должно быть, Святогор, изображая неживого, грохнулся, как стоял. И затих.

Лежит Илья, прислушивается. Скучно. Не поймешь, сколько и времени прошло, скоро ли вылезать. Потихоньку лаять себя начал, что поддался Святогору. Ребячество учинили, ровно дети малые. Как вдруг…

Показалось Илье, будто разверзлось у него под спиной, будто проваливается куда-то. Захолонуло сердце, вскинул руки, чтобы крышку сбить, — ан не руки у него, крылья. И не в домовине он более, в небе синем. Высоко-высоко. Среди стаи птичьей. И сам он вроде не человек, а птица. Радостью переполнен, волей, свободою. Парит вместе с другими к горам дальним.

Только это всего лишь показалось, что дальние. Первая придвинулась — и не заметил как. Нет вершины у горы. Вместо нее — огонь живой полыхает, во все небо. Жар нестерпимый. Некоторые птицы, что впереди летели, вспыхнули коротко, — и нет их. Остальные же — не боятся и не сворачивают, летят в огонь, ровно и не огонь это вовсе. Илья, хоть и страшно ему стало, за ними держится.

Миновали гору. Дальше летят. Не заметно, чтобы птиц меньше стало. И огня не заметно было: так, сияние какое-то вокруг, вовсе не жаркое…

Одну миновали — вот уже и вторая, ничуть не меньше первой. По склонам ее, будто смола течет. Медленно так течет, пузырями покрыта. Воздух над смолой колышется, не иначе как испарениями пропитался. Камнем падают вниз некоторые птицы, остальные же — не боятся и не сворачивают, прямо путь держат. Страшно Илье, а не отстает.

И эту миновали. Третья надвигается, тоже как смолой текучей покрытая. Пригляделся Илья — нет, не смолой, змеями. Такими огромными, что и сказать нельзя. Поднимают вверх головы, шипят так, что уши закладывает. Замирают крылья

распластанные у некоторых птиц, так и летят вниз, распластанные, навстречу пастям разверстым. Остальные же — не боятся и не сворачивают, машут себе крыльями.

Позади остались горы. Впереди — синь моря-океана, только вдалеке, на самом горизонте, темнеется что-то. Думал, далече лететь, ан нет, совсем скоро хорошо видно стало. Остров стоит посреди безграничной водной глади. Камень огромный на острове том, белый-белый. Два потока из-под него выбиваются и в море текут. Один светлый-пресветлый, другой — чернее черного. Не видел таких камней прежде, однако ж безошибочно знает — Алатырем камень тот в народе кличут. Настолько большой, что и сказать нельзя. Только рядом с тем деревом, возле корней которого приспособился, почти не заметен. Вознесло дерево то крону свою пышную на высоту недостижимую, раскинулась крона во все стороны не иначе как на полмира. Справа средь листвы на дереве том один дворец золотом сияет, прекраснее которого в целом свете не сыщешь, коли влево не посмотреть. Там такой же прекрасный, но серебряный. И какой из них лучше — сказать невозможно. Пока на один смотришь, — он лучший, а стоит взгляд перевести, — да нет же, этот!.. Ближе подлетают, уже и иных птиц, на ветвях сидящих, разглядеть можно. Думал прежде, сказки народ сказывает, на потеху, а оказалось… Вон она, Гамаюн-птица, а вон — Сирин. И Алконост, и Стратим, и еще какие-то, чьих прозваний не ведает.

Ближе и ближе дерево. Уже и листочки на веточках видны. Чувствует Илья, вроде как подустал немножко, пора бы и отдохнуть, не все же крыльями махать. Присмотрел себе веточку, к ней устремился. Только было лапы вперед выставил, чтобы половчее ухватиться, да листочек махонький, что на веточке рос, раздался разом во все стороны, так что Илья сквозь него мимо веточки махнул. Глядит вниз, и глазам своим не верит…

…На одном из холмов приречных примостилась деревенька невеликая — дворов тридцать. Спряталась посреди лесов да дубрав, только с реки и разглядишь ее. Ладненькая да аккуратненькая, сколько здесь простояла — кто ведает? Избы, сараи, постройки хозяйственные…

Ажно сердце к горлу подбросило, слезы на глаза навернулись. Как же не узнать родимых мест-то? Вон она, изба родимая, а рядом с избой… Да неужто деды его родные? Молодые, сильные, головы задрали, приметили, руками призывно машут. Узнали. Даже в птичьем облике узнали. Крикнул Илья в ответ, крылья сложил, чтоб побыстрее…

Как вдруг…

— Ну ты чего там, заснул, что ли? — прогремел голос

Святогора.

Слетела в сторону крышка. Открыл глаза Илья — и сразу зажмурил от яркого света. Головой трясет, в себя приходит.

— Вылазь, чего разлегся!.. Нет никого, только время понапрасну потратили…

Вылезает Илья, и вид у него такой очумевший, что даже Святогор заприметил.

— Что это с тобой? — полюбопытствовал.

А Илья и сказать ничего не может. Глаза таращит, рот разевает, будто рыба на суше.

— Никак, языка лишился? Сперва ног, теперь языка… Хорош богатырь!..

Не лишился языка Илья, только и рассказать толком не может. Да и как тут расскажешь? Звенислов — тот смог бы, или Боян… Все ж таки поведал. Коряво, через пень-колоду, а рассказал о видении чудном.

Слушает его Святогор, губы кривятся. С одной стороны, не врет вроде, а с другой… Хотя, чего там, мало ли что во сне привидеться может. Или не во сне? Вон, перо какое-то птичье к бармице пристало.

— Ну, вот что, — решил вдруг Святогор. — Давай, мы теперь наоборот поступим. Ты снаружи караулить будешь, а я внутри полежу. Может, и мне чего глянется.

— Сам же сказал, время понапрасну теряем. Поехали к кузнецу, как решили.

— Никуда он не денется, кузнец твой. Ты только в оба смотри. Ежели не так что, знак подай.

Святогор улегся в домовину и повозился, устраиваясь поудобней. Илья неодобрительно качал головой.

— Все. Накрывай. Я недолго. Не привидится скоро, так и вылезу.

Приспособил Илья крышку, отошел пару шагов к скале, присел, спиной прислонившись. По сторонам посматривает, ждет, когда Святогору надоест дурью маяться, потому как нет никого окрест, никакой тебе силы вражьей.

А тому скорешенько надоело. Слышит Илья, завозился богатырь, наружу собирается. Поднялся, повел плечами, руки развел, — затекло тело, в домовине лежавши. К коням отправился, обернулся — чего там Святогор мешкает? Али еще полежать надумал?

— Слышь, Илья, чего это там, сверху-то, крышку держит? Не подается…

— Да нет там ничего, — пожал плечами Илья. — Поехали, солнце уж вон где…

— Не могу, не пускает меня домовина… Ну-ка, попробуй, снаружи-то…

Крякнул Илья досадливо; что такое сегодня со Святогором приключилось? Подошел к домовине, наклонился, толкнул крышку. И впрямь не подается. А нут-ка кулаком, да со всего маху, — только кулак отбил. Была крышечка деревянна да легонька, а стала вроде как каменна. Глядит Илья, не поймет, в чем дело.

— Давай, пошевеливайся, — Святогор изнутри поторапливает. — Тяжко здесь становится, дышать нечем. Рукой не получается, булавой бей, мечом. Разнеси ее, домовину эту, в мелкие щепочки…

Взмахнул Илья булавой, приложил со всего маху. С оглядкой приложил, с таким расчетом, чтобы когда брызнет щепками, по Святогору не задеть. Отскочила булава, ровно от скалы, зазвенело так, что в глазах свет померк.

— Сдурел ты там, что ли? — Святогор кричит. — Мало не угробил совсем…

Глянул Илья — ни следа на домовине не осталось, ничего ей не приключилось, а в том месте, где удар пришелся, вроде как цепь железная показалась. Показалась — и исчезла, и нет ее. Вдругорядь приложился Илья, а что толку? В третий, в четвертый… Подвинуть попытался — будто в скалу вросла. И Святогор затих, не слышно его стало, а то все ругался да подгонял.

Бросил Илья оружие в сторону — нет от него проку никакого, упал на колени, приник к домовине.

— Как ты там?.. Живой?.. — спросил, с замиранием сердца.

— Живой пока… — глухо донеслось из домовины. — Ты вот что… Видать, по мне домовина сделана, видать, судьба моя такова. Нечего и спорить…

— Судьба… — Илья поднял голову. — Судьба!.. Кузнец!.. Он ее ковал, ему и ответ держать!.. Не помирай, Святогор, погоди, я мигом… — Вскочил на ноги, к коням бросился.

— Стой, погоди… Не ведаю, дождусь ли… Ежели что… Отцу моему в ноги от меня поклонись, виноват я перед ним. Прощенья попроси. Где найти его — кузнец скажет. И еще… Есть здесь щелочка махонькая. Подойди, приклонись к ней. Дыхну я на тебя, силушки-то и прибавится…

— Не надо мне твоей силушки, она тебе и самому пригодится. Ожидай, скорешенько я.

Подхватил Илья оружие, метнулся к коням, вспорхнул в седло, дал в бока пятками. Не прошло ученье Святогорово мимо; спохватился конь, рванулся, полетел, ровно птица. Что там

богатырь вослед кричал, не разобрать…

Торопится Илья, спешит-поспешает. А ну как кузнеца на месте не окажется? А ну как время не досчитал, до года? Или конь дорогу позабыл? Сколько верст, до кузни той? Успеет ли?

Не позабыл конь дорогу, вот и кузня. Ворота нараспашку, звон стоит, металла об металл. Знать, хозяин на месте, при деле. Соскочил Илья, в двери распахнутые бросился. И чуть не с кулаками — на кузнеца. Кричит непонятное, словно ум по дороге подрастерял, разом и про Святогора, и про домовину, и про судьбу выкованную — ничего не разобрать.

А кузнец стучит себе молотом, будто и не к нему обращаются, ухом не ведет. Только когда Илья приумолк, дух перевести, кивнул в сторону бочки с водой.

— Ты, молодец, охолони маленько, водички вон хлебни. А потом уж и говори. Ты ж все в кучу одну сметал, повыше кузни моей будет. Чего там стряслось, со Святогором-то?

Не стал Илья воды пить, хоть и разгорячился сверх меры. Еле-еле в руках себя держит, чтоб на кузнеца с кулаками не броситься. Человека выручать надобно, а он — охолони маленько… Однако ж не полез в драку, снова сказал, по правде, — не яснее прежнего.

— Вон оно, от чего ты так переполошился, — протянул кузнец, не прекращая работы. — А ко мне чего прибежал?

Опешил Илья.

— То есть как чего? Ты ж ему судьбу ковал?..

— Ну, ковал…

— Значит, знамо тебе, как его из беды выручить?

— А может, это и не беда вовсе? Может, вышел ему срок? Не до скончания ж веков по горам разъезжать… Пора и честь знать. Другим уступить.

— Да кому — другим? Он же первый на земле богатырь! Как же нам без него?

— А как вам без него? Нешто хужее будет? Что-то я не слыхивал, чтоб он об вас поминал. Жил себе, без вреда — без пользы.

— Не нам то решать, кому жить — кому помирать. Говори наскоро, как Святогора из домовины вызволить?

— А никак. Что же касаемо: кому жить, кому помирать… Молод ты еще, того не ведаешь, что вот коли забудут о тебе — тут и смерть; а пока помнят — нет смерти.

Оборвалось внутри у Ильи, как услышал: *никак*. И до этого понимал, что напрасна спешка его, только гнал мысли эти из головы. Надеялся. Развеяло надежды сказанное просто, буднично: *никак*.

— Ты, молодец, коли горевать собрался, так ступай куда-нибудь подале, — кузнец между тем говорит, — потому как не один ты такой на белом свете, долю свою ищущий. Работы невпроворот. Я тебе доспех — оружие обещал? Обещал. Скидавай, что на тебе, и клади на лавку. Там вон свое забирай, в пристроечке.

— Проститься надобно… — пробормотал Илья. — Попрощаюсь, потом вернусь.

— Дело твое. Коли уверен, что дорогу отыщешь… Хошь туда, хошь обратно. Кстати, ты говоришь, он тебе силушку свою отдать хотел, в лицо дыхнуть?

— Ну…

— Согласился бы, не стала б носить тебя земля-матушка, не выдержать бы ей такой тяжести. Неизвестно, чья б домовина была…

Вздрогнул Илья. Да неужто Святогор…

— Он еще к батюшке родному с наказом послал, прощения испросить… Сказал, у кузнеца спроси, где живет, он знает.

— Вон оно как. Ну, знаю, укажу дорогу. Заходи, как в пристроечке покончишь.

Вздохнул Илья, поставил оружие в уголочке, доспех разоблачил, сложил на лавке. Принес, что на седле приторочено было, тоже в уголочек поставил. Ему ли с кузнецом тягаться? Тот неизвестно сколько на свете прожил, неизвестно сколько судеб сковал. Спросить, что ли?

— Слышь, кузнец, — а сам в сторону смотрит, будто о чем неважном речь завел, — а окоромя доспеха с оружием, ты мне, часом, ничего боле не сковал?

Тот замер на мгновение, а потом так расхохотался — ровно гром по кузне. Мало молот не выронил.

— Что обещано было, все сковал, — отвечает. — Я свое слово крепко держу. Не отвлекай попусту. Сказано ж было — непочатый край работы.

И снова стучит. Потоптался Илья, потоптался, да и пошел в пристроечку. А чего еще делать-то? Надел доспех, — по нему сделан, и легкий, и прочный; меч, нож, булаву, копье, лук — все в руке лежит так, что лучше и не надобно; щит — пожалуй, что и самого Святогора удар сдержит… Сдержал бы…

Затуманилось лицо Ильи. Подобрал все, что ему полагалось, отнес, к седлу приторочил, в кузню вернулся, как велено было.

— Ну, как тебе? — кузнец спрашивает.

— Спасибо, — Илья отвечает. — Не знаю, как и благодарить…

— Живи по совести, вот и вся благодарность твоя будет. Все,

что оставил, знаю кому верну. Теперь об отце Святогорове… Недалече он тут. Для твоего коня недалече. Все прямо по дороге, на третьей росстани — направо свернешь, а на двух первых — налево. Мимо не проедешь. Вот тебе палица железная, в шесть пудов. Как попросит он у тебя руку, ты ему палицу-то эту и протяни. Слепой он, от древности своей, не заметит.

Хотел было Илья спросить, к чему человека старого обманывать, потом рукой махнул. Все одно ничего толком не узнаешь. Только и сказал:

— Не знаю уж, свидимся ли, а завет твой на сердце положу, рядом с батюшкиным. Прощевай, что ли…

— Прощевай, — кивнул кузнец.

* * *

…Не проехал Илья мимо. Негде тут было заблудиться, как кузнец и сказывал. К тому же, было удивительно, но вроде как знакома была коню его дорога. Лесом шла, ни разу к ущельям либо кручам не вывела. Опять подивился — кто ж ее и проторил-то в здешних краях, коли ни одной живой души не встретилось?

Изба оказалась приземистой, не то, что у самого Святогора. Однако такая же крепкая на вид. Впрочем, не стал Илья особо осматриваться, сразу к крыльцу направился. Помнил — отец богатыря древний, к тому же слепой, спутать невозможно. А ежели часом возможно оказалось, так хоть дорогу спросить.

Постучал в дверь, прислушался, изнутри слабым голосом сказали войти.

В горнице, за массивным столом, сидел на лавке благообразный старец, глаза веками прикрыты. Седой, словно лунь, на вид — хлипенькой. Глянул Илья на палицу, что с собой прихватил, неловко стало.

— По здорову буде, хозяева, — поклонился, как принято. — Мне бы узнать: не ты ли, часом, батюшка Святогоров будешь?

— А тебе по какой надобности? — как-то неприветливо буркнул старец.

— С поручением я к нему послан, от сына его, — не стал ходить вокруг да около Илья.

— С поручением? — Старец склонил голову набок и вперился в Илью незрячими глазами. — С каким таким поручением? Да и нет у меня более сына. До смерти не прощу его…

— Знать, не сбился с дороги, попал, куда надобно, — вздохнул Илья. — Поклон я тебе привез, — поклонился поясно, — и просьбу великую, от Святогора богатыря. Просит он у тебя

прощения вечного, потому как… Потому как…

И замялся.

— Ты не майся по-пустому, говори, как можется, не виляй да не приукрашивай, как есть. Времечка-то у меня предостаточно. Скажи, поначалу, где увиделись, почему тебя он ко мне послал? Да ты присаживайся, в ногах правды нет.

Присел Илья, рассказывать начал. Как мог. На старца не смотрит, в пол уставился. Не все сказал, кое-что утаил. Немного и времени понадобилось. Тихо слушал старик, не перебивая, не шевелясь. Закончил Илья повесть, скосил глаза и видит, перекосилось лицо старца, лютой мукою перекосилось. Протянул он к Илье руку старческую, дрожащую.

— Помоги мне подняться, добрый молодец. Помоги выйти на двор, присесть на крылечко…

Совсем было Илья в ответ ладонь протянул, да вспомнились слова кузнеца. Сердца ли послушать, али мудрости? Будь, что будет; послушаю в этот раз мудрости, против сердца пойду. И протянул палицу.

Ухватил ее старик, не ощутил в руке железо холодное, вместо тепла человеческого. Сжал слегка — ушли пальцы в железо, ровно в песок.

— Не за прощением приехал ты, — говорит, и палицу к себе подтягивает, — привез мне весточку нерадостну. Знать, убил ты Святогора богатыря; не в честном бою — тут никому с ним не сладить было. Хитростью одолел, коварством верх взял. Сам хочешь первым богатырем слыть? Не будет тебе прощения, ни пощады не будет.

Хотел Илья руку из петли ременной выпростать, не выходит. Туго захлестнула, не выпутаться. А старик, даром что хлипенькой казался, так тянет, что и самому Святогору не устоять бы.

Тут бы и пропасть Илье, только словно тучка набежала на небо, потемнело в окошке, и снова светло. Раздался и стих шум крыльев, дрогнула избушка, приседаючи. Тишина настала, глубже самого глубокого омута. А потом, поначалу тихо, а затем все нарастая и нарастая, зазвучала песня. И пела ее то ли молода жена, то ли красна девица. Так пела, что раз услышав, вовек не захочешь иной голос слышать…

По крылечку ли идет да молода жена,
По сеням ли идет да красна девица.
Издалека она шла путем-дорогою,
Со синя ли моря шла да всё голодная,
Со чиста ли поля шла да ведь холодная…
Уж вы ставьте столы да ей дубовые,

Вы стелите ей скатерки тонкобраные,
Уж вы ставьте ей да яствушек сахарных,
Наливайте ей питьица медвяного,
Привечайте-обогрейте молоду жену,
Привечайте-обогрейте красну девицу…

Замер старик, задрожал, отпустил палицу. Еле устоял Илья на ногах, пошатнулся, но устоял.

— Правду сказал ты, молодец, как есть правду, — старик шепчет. — Не тебе у меня, мне у тебя прощеньица просить надобно. Иди ко мне, становись. Стань мне сыном вторым, прими благословение…

А у самого слезы из глаз невидящих так и хлынули. Прижал к себе голову Ильи, — тот, теперь уже сердцу повинуясь, опустился перед стариком на колено. Шепчет что-то. Потом оттолкнул резко.

— Ступай скоро, не оборачивайся; коли обернешься — не миновать тебе беды. Садись на коня резвого, и прочь отсюда. Сам Святогору скажу, что исполнил ты поручение его, скоро свидимся. Разберемся промежь себя, кто перед кем виноват. Поспешай, рано тебе еще Сирина слушать…

5. ИЗО ВСЕХ ОДНА, ВСЕХ БЕЛЕЙ-БЕЛА…

До поворота — рукой подать, а там уж и не стало слышно Сирина. Не оглядывался Илья, как старик наказал, избежал беды. Как теперь вот мыслей избежать невеселых? Пустил коня шагом. Задумался. С одной стороны — чист он пред Святогором; что мог — сделал, что обещался — исполнил. Оно, конечно, надо бы и к Славяне заглянуть, по хорошему-то. Только как? К отцу сунулся, — обещавшись, конечно, не сам по себе, — едва жизни не лишился. К жене — как бы чести не лишиться. Чего уж там вокруг да около — вдовая она нынче. Кто бы что ни говорил, — не подняться Святогору из домовины. Как оно там дальше будет — про то неведомо, а сегодня-завтра точнехонько не подняться. Может, он уже и крыльями машет, на пути к Дереву. А Славяна? Как-то встретит весть о кончине богатыря? При живом-то заигрывала… Илья — он ведь не из камня, не чужд обаянию женскому. Не ровен час… Тьфу, пропасть, подумать — и то соромно, что может случиться не ровен час…

Сколько за день всего приключилось, так ведь и не вечер еще. По-иному ладил провести, только вот загад не бывает богат. Коли б все ладно приключилось, попрощался бы со Святогором, миром-ладом, и к своим подался. До заката б с родными встретился. Ан нет, не получается волю дать коню. Давит грудь тоска непривычная. Сам себе боялся признаться, подумывал иногда, — убедит Святогора к службе княжеской. Вместе рубежи от степняков и прочей нечисти оборонять будут, может даже, побратаются. Святогор — старшим, он, как-никак, первый богатырь. Илья — младшим. Тешил себя надеждою, — а нынче нет ее.

Так и ехал весь день, шагом. Только возле ручейков и остановится, самому водицы испить, коня напоить. Хлеб, что ему Славяна в суму переметную положила, наполовину истощил. Вторую — на завтра оставил. А как совсем уж свечерело — свернул с дороги, нашел дерево поразвесистей, под ним и прикорнул, попросившись. С детства помнил — коли придется заночевать в лесу, держись от тропок подалее, чтоб лесовик не наступил. Коня не стал привязывать — богатырской породы конь, не сладить с ним никому, кроме хозяина.

Сладко спит Илья. И снится ему, будто выезжает он из леса на луг бескрайний, травой густой да цветами-самоцветами к сини далекой уходящий. Нет на нем доспехов воинских, ни оружия

нету. В портах да рубахе холщевых, простой веревкой в поясе перехвачен. Ни тебе шапки, ни тебе сапог. И седла нет, и упряжи, однако ж не падает, так, рукою одной гриву конскую едва прихватывает. А конь его — вовсе и не богатырский. Ладный конь, белый, ровно снег, без единого пятнышка. Плывет посреди травы высокой ладьей морской, рассекает ее грудью крепкой надвое.

Вдруг, видит, средь моря зеленого шевеление. Идет там кто-то. Не разглядеть хорошенько. Повернул Илья коня в ту сторону, хлопнул по крупу — пошевеливайся. Прибавил тот прыти, однако ж больно густа да высока трава, не разбежишься. Да еще этот, что впереди, в прятки играть задумал. Только было Илье разглядеть, ан нет его. Оглянулся — в другом месте шевелится. Он туда — и снова нет. Взяло Илью за живое. Не на коне, так пешим словлю. Соскользнул, досадуя, тут-то смех и услышал. Это, которое в прятки играет, оно далековато, а смех — вот он, рядом. Вправо посмотрел, влево, — нигде никого. Шаг сделал — опять смех. Неужто полевица заманивает? Вон, что прежде убегало, к нему направилось. Человек вроде. Баба. Или девка. Венок из цветов на голове, а больше ничего не разобрать. Как есть полевица.

— Не полевица я, — слышит, и так ему сладко слышать, пуще Сирина, — живая. Суженая твоя…

Все ближе и ближе, вот-вот лицо разглядит.

Да, на беду, завозились на дубе, под которым прилег, полетели вниз желуди, и прямо Илье по лбу. Он ведь, прежде чем уснуть, шлем рядом положил. Вздрогнул, глаза распахнул — пропало видение. Так и не разглядел. А голос так и звучит в ушах: суженая твоя…

Ручеек неподалеку оказался, не стал умываться — сунул голову целиком, помотал из стороны в сторону. Выпростал, фыркнул, крякнул — вдругорядь сунул. На ноги поднялся — течет вода за шиворот, по спине, по груди, холодными струйками. Отошел, вроде бы, от сна, а голос так и звучит в ушах: суженая твоя…

Вот ведь напасть какая. Приснится же такое. Ему о том, как родителей повидать, да в Киев, на службу к князю подаваться, — думать надобно, а он — о бабе. Серчает на себя, а голос так и звучит в ушах: суженая твоя…

Потянулся, поразмялся, воды набрал свежей, кусочек хлебца пожевал, коня свистнул. Пора в путь-дорогу отправляться.

Почуял конь, что хозяину от него требуется. Сперва шагом пошел, затем трусцой, а там — прянул в поднебесье, стрелой полетел. Только Илья уже не тот, что год назад был; не хватается за гриву, не припадает к холке. Со степняками, конечно, не

ровня, — те на конях рождаются, — однако ж тоже кое-чему научился. Год назад смотрел, как бы не сверзится, сейчас смотрит — что вокруг деется. Горы-то, оказывается, далеко тянутся, не окинуть взглядом. Красивы красотой дикой, непотревоженной. Скалы, ущелья, леса, равнины, — а все ж таки не то, что родимая сторонушка. Та куда как красивей. Скоро, скоро увидимся. Обрадуются родители, сбегутся сельчане, пир горой, расспросы, рассказы… До заката увидимся, вон уже и кончилась страна горная, где-то там, вдалеке, гладь водная распахнулась великая. Скоро степи начнутся, а там уж места хоть прежде и не виданные, зато по рассказам знакомые. Передохнуть можно, где селение какое привидится, узнать, чем живут, что на земле творится. А еще лучше — застава.

Подумать не успел — застава вдали показалась. Где и положено, на холме, для лучшего обзору. Вышки только не видать отчего-то. И столба сигнального. Положим, ежели только строить начали, могли вышку на опосля отложить, хотя и странно, но уж столб-то первым делом вкопать должно. Повыше да посмолянистей, чтоб далеко видать было, как запалят, знак подавая — враг близится. Частокол поставили, а остального нет. Ну да ладно, главное, чтоб за соглядатая не приняли, встретили-проводили по чести.

Едет, и удивляется. Давно уже должно б приметить его, шевеление какое обозначить, а на заставе, насколько видно, тишина. Уж не приключилось ли чего худого? Проверил, на всякий случай, оружие, под рукой ли, внутренне изготовился, чтобы врасплох не попасть, зорчей присматривается. Все ближе застава…

Вышки отчего не видать было? Повалилась она, раскатилась по бревнышку. Ворот промеж частокола нету — по сторонам валяются. А внутри есть кто-то, живой. Иначе б ворон поналетело, на каждом колу б сидели да граяли. Неужто попрятались? В засаду, али как? Мысль шальная мелькнула — не метнуть ли булаву?

Не стал озорничать. Спешился, щит на руку, так, чтобы в случае чего, и самому прикрыться, и коня прикрыть. Идет не торопясь. Точно, есть живой. Выглянет из-за столба, на коем прежде воротина висела, глянет быстро, и снова спрячется. Что ж там такое творится?

Остановился, гаркнул в половину голоса:

— Эй, на заставе, есть кто живой?

И тут же ратник молодой показался, совсем юнец. Выпорхнул из-за столба, аки птица; видать, не своей волей. Взашей вытолкали. Шелом сбился, руками машет, чуть не упал. И так

смешно это со стороны, что Илья не выдержал, расхохотался. Только уж на этот раз не в половину голоса. А тот видит, — смеются не в обиду, — и тоже засмеялся. Тут уж и за частоколом захохотали, еще несколько ратных в проеме показались.

Раз смеются, в драку не полезут. Закинул Илья щит за спину, тронул коня, зашагал к заставе. Только там враз посерьезнели, копья выставили, — откуда и взялись, — к обороне изготовились.

Снова Илья остановился.

— Да вы что ж, ратнички, всех так приветствуете?

— Всех — не всех, не твое дело. Сам-то кто будешь?

Только тут Илья и заметил — не совсем здоровы ратнички. То есть, побиты слегка. Попримяты. Будто ссора какая у них с кем вышла, не так, чтоб до смертоубийства, а не шибко серьезная.

— Ильей меня кличут, по батюшке — Иванович. Из краев я дальних, отсель не видать. Иду я в Киев, к службе княжеской желание имею. В дружину проситься хочу, авось не прогонят. Заметил вас, свернул с дороги. Дай, думаю, поспрошаю, что да как. Передохну малость. А у вас вон он, привет какой. Копьями ощетинились, ровно еж. Вы мне дорогу укажите, и поеду, от вас подалее.

— Ишь ты, хват какой!.. Может, ты соглядатай…

— Да какой он соглядатай, — сказал кто-то. — Из калачников он, ежели по выговору судить… «А вот калачи, кому калачи, слезай с печи, покупай калачи…»

— Ну? — удивились остальные. — Это ж как его в наши края-то занесло?

— Ветром попутным, — буркнул Илья. — Так что, покажете дорогу на Киев?

— Ладно тебе, — вышел вперед один из ратников. — Жданом меня люди зовут, — сказал миролюбиво. — Ну точно, калачник, — это он другим ратникам через плечо бросил. — Ты не серчай, Илья, что не так встретили. Тут у нас беда, можно сказать, приключилась. Вот и попал под горячую руку…

— Это я-то под горячую руку?.. — ухмыльнулся Илья.

— А ты не смейся, — веско произнес Ждан. — Со стороны — оно каждый богатырь, а как до дела дойдет…

— Не обижайся, не со зла я. Просто вид у вас, ну, в общем, не шибко для заставы подходящий. Что стряслось-то?

— Стряслось?.. Ты заходи, какие б ни были, а чем приветить найдется.

— Погоди, — остановил его Илья. — Инструмент у вас какой имеется?

— Ну, имеется… А тебе зачем?

— А затем, сторожа ваша неказиста. Подсобить сможете?

— Не без того…

Поднял Илья половину ворот, — словно пушинку, — прислонил к проушинам. А ратнички, вместо помощи, рты поразинули.

— Долго мне стоять? — прикрикнул. — Прилаживай.

Бросились гурьбой, суетятся, однако ж приладили. Затем вторую створку.

С вышкой повозиться пришлось, но и с ней справились. Тот, кто разорение учинил, он скорее попугать хотел, или силушкой бахвалился, потому — урону, в общем, никакого не случилось. А то, что обидчик всего один был, Илья из тех слов понял, коими ратнички промеж себя перебрасывались. Однако спрашивать не стал. Закончится работа, сами расскажут. Так и вышло.

— Вишь ты, как оно все случилось, — начал Ждан, когда, подкрепив силы гречей с зайчатиной, ратники расселись кружком. Начальником был другой — Чина, но как-то само собой решилось, что раз Ждан определил гостя калачником, ему и отдуваться. — Мы тут недавно…

— Оно и видно, — заметил Илья. — Все собрались. Нет, чтоб кому-нибудь на вышке стоять да посматривать… А ну как нападет кто?

— Не нападет, — махнул рукой Ждан.

— То есть? А чего ж побиты тогда?

Ратнички глухо заворчали. Коли б не сытный обед, ох, и ответили бы гостю!.. Его счастье, что разморило немного.

— Оказия, она не спрашивает. Случилось так. Застава эта, она вроде на отшибе затесалась. Она больше не за Степью, а за горами присматривает. Только из-за гор давненько никто не заглядывал, там Святогор порядок блюдет. Потому и присылают сюда не богатырей из дружины княжеской, а таких вот, как нас — тех, кто вроде как на подхвате. Наше дело не воевать, а знак подать вовремя. Ну и числом напугать, ежели что. Сколько лет стоит сторожа, никогда этого самого ежели что не случалось, а тут… Сегодня, чуть свет, видим — рысит это себе по дороге вооруженный кто-то. И, главное, мимо рысит, словно нас и нету. Сам посуди — нельзя сторожу нашу не заметить, а коли нельзя, так ты в толк возьми, не зря она здесь поставлена, а чтобы дорогу блюсти. Ты подъедь по-человечески, скажи, куда да зачем, и поезжай себе дальше. И тебе хорошо, и мы вроде как при деле. А этот прет, будто глаза потерял. Крикнули мы ему, так он ведь еще и глухим прикинулся. Послали мы за ним Ошурка, — он у нас лучше всех на коне держится, — сами собираемся, чтобы пугнуть, только смотрим — Ошурка наш обратно возвращается, летит, аки птица, а всадник — за ним вдогонку…

— Я и сказать-то ничего толком не успел, — буркнул ратник, которого, по всей видимости, и звали Ошурком. — Так, пару слов всего…

— И что же это за пара слов такая?.. — хохотнул Илья.

— Да говорю я ему: «Что ж ты, говорю, обиду людям чинишь? Здесь, говорю, никто ни пехом не прохаживал, ни на добром коне не проезживал, ни черный ворон птица не пролетывал, ни зверь серый не прорыскивал…» Ну, а потом уже и пару слов прибавил, для пущей понятливости…

— А он что?.. — спросил Илья, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица.

— А что он? Остановился, развернулся, подъехал… Думал, сказать что хочет, а он ка-ак даст мне кулаком наотмашь по загривку.

— А ты что?

— А что я? Я рухнул. Вместе с конем, на пару…

И такой при этом вид был у ратника, что Илья не удержался. Впрочем, как и остальные. Да и сам Ошурка прыснул, поддавшись общему веселью.

— Дальше-то, дальше чего было? — отсмеявшись, спросил Илья.

— Чего было… Побарахтались мы в пыли, конь на ноги поднялся, встряхнулся — и деру. Ну, и я тоже…

— Так ты что ж, пешим драпанул?

— Где там пешим… Я так в коня вцепился, как клещ, не оторвать.

Тут опять Жбан вступил.

— Так вот… Видим мы, товарища нашего гонят, и навстречу. Кричим, машем чем попало, страху наводим. Только этот не из пугливых оказался. Щитом прикрылся, булавой, — вот как у тебя, а то и поболе, — машет, тем и другим одинаково бьет. Кому досталось, полетели по сторонам как лягушки с кочки, ежели в них камнем бросить. В общем, с самого начала не задалась сеча. Повернулся этот егоза раз, другой, — тут и биться некому стало, с нашей стороны-то… А он подскочил, ахнул булавой своей по вышке, по воротам, да и был таков. Даже не видали, в какую сторону подался.

— Да, дела, — протянул Илья. — Ну да ничего, коли встречу этого вашего богатыря, переведаемся силушкой, слово даю. Не дам ему спуску, за обиду вашу. Выглядел-то хоть как?

— Так кто ж его знает? Быстро все случилось, не разглядели… Человек как человек…

— Наш хоть? Ну, по речи…

— Молчал он… Наверное… Мы, вишь, так орали, что окромя

себя никого и не слышали…

— Вы мне вот что скажите, — после некоторого молчания, сказал Илья. — Как там, в Киеве, с богатырями? Ну, и вообще… житье-бытье…

— А у кого как. Небось, не шибко от вашего отлично. Кто руками своими живет, а кто богатством отеческим. Про дружинников же княжеских, особо приближенных, и сказать-то нечего. Что ни день — сплошные забавы. Пиры да охота. Разве что пошлет князь иногда заставы проведать, те, что ближе к Степи, а в остальное время — одно бахвальство.

— Первые-то среди них кто? — полюбопытствовал Илья.

— В народе поговаривают — Чурило, сын старого Плёнка, и Алешка, сын Григорьевич. Первые-то они первые, да только из говорунов и по бабской части. Мишка Потык еще…

— И только-то?.. — не поверил Илья.

— Что — только-то?

— Чтобы за бахвальство да баб — и в дружину богатырскую?

— Ну, не только… Чурило, он из-под Сурожа, с дружиной своей на службу князю поступил. Окромя него, тех мест никто толком не знает, а населены они кочевниками, печенегами именуемыми. Ему повадки их ведомы, как на рати себя ведут. Алешка же из Ростова. Хоть и не обижен силушкой, а нрав у него лисий. Впрочем, Тугарина таки одолел…

— Это кто ж такой?

— Тугарин-то? А богатырь со Степи. Много кровушки людской пролил, никак с ним сладить не могли. Алешка же сладил… Ты извини, Илья, сам не видал, а что по людям ходит, тому с опаской верить надобно. Буде придется в Киеве повстречаться, расспросишь.

Хорошо сидится. Наетые, напитые, солнышко пригревает, ветерком обдувает. Разговор течет, ровно реченька. Незаметно и времечко летит. Век бы так. Наконец, спохватился Илья.

— Да что ж это я, в самом деле, рассиживаюсь! Мне поторапливаться надобно.

Поднялся.

— Ты сразу в Киев, али как?

— Поначалу к родителям, проведать, что да как. Давненько не виделись. А уж потом и в Киев. Ну и богатыря вашего высмотреть попробую, раз обещался. Коли же случится, что я подался, а он возвернется, вы ему мной пригрозите. Скажите: наезжал, мол, Илья Иванович, проведал про поступок его, осерчал, встречи ищет. Что ежели хочет силушкой побахвалиться, так пусть равного себе поединщика высматривает. Меня, то есть.

На всякий случай столб сигнальный пошатал, вышку, ворота

— все ли ладно. Вывел коня за частокол, попрощался сердечно с заставою, дальше тронулся. В сторону родимую. Не стал сразу коня в полный мах пускать; по сторонам смотрит — нет ли где следов богатыря проезжего?

Потом уже, как скрылась с глаз застава да лес впереди показался, махнул рукой на поиски, — нет следов никаких, не век же искать, — начал приторапливать. Ежели так плестись, нечего и думать к вечеру в родимый дом поспеть. И только было собрался дать коню полную волю, как вдруг услышал голос, вроде как даже и знакомый…

…Не ясен-то сокол по горам летал,
Летать-то летал, лебедей искал.
Он нашел-то их, нашел, на крутой горе,
Все сидят-то, сидят, словно бел снежок.
Изо всех одна, всех белей-бела…

Заслушался… А как смолкла песня, осадил коня, принялся осматриваться. Чудно: не видать никого окрест, но ведь пел же кто-то только что. Потом все ж таки углядел: возле самого леса, пятнышко движется, вот-вот скроется. Сам не зная, отчего, привстал в стременах, воскликнул: «Эге-гей!» так, что, казалось, земля затряслась, и вдогон припустился.

Чем ближе, тем яснее видать становится — вершник, при оружии. Уж не улыбнулась ли удача, уж не тот ли самый богатырь-обидчик? Трусит себе рысцой, будто не слышит, что кто-то его догоняет. Будто не ему кричат. Еще сокола на плечо посадил.

— Погодь, добрый человек, — окликнул Илья и пустил коня шагом, но так, чтобы нагнать. — Не сочти за невежество, спросить надобно.

Остановился вершник, а как шагов с пяток до него оставалось, развернул коня. Смотрит Илья — что за чудеса, доспех у него обычный, оружие тоже, вот только лицо кольчужицей прикрыто, одни глаза видны. Молодые глаза, взгляд прямой. Развернулся и замер безмолвно, выжидаючи.

Илья тоже остановился.

— Ты, часом, не слыхал, песню вот только что пели?

А сам глядит — ну, точно, тот самый богатырь, как ему на заставе описывали. Один в один.

Подождал немного, молчит всадник. И на заставе давеча молчал, когда безобразничал. Без языка, что ли?

— Постой-ка, — говорит, — уж не ты ли тот самый невежда, про которого мне на стороже сказывали? Не ты ли людишек

разобидел, ворота раскидал, вышку повалил?

Молчит всадник, только взгляд переменился, — был внимательный, стал колючий; холодом от него повеяло.

— Ты хотя молчи, хотя песни пой, — начал закипать Илья, — а просто так не отделаешься. Ишь ты, что удумал, силушкой похваляться. И перед кем? Не сыскал себе достойного поединщика? Так вот он я. Мне удаль свою покажи…

Смотрит, поднес витязь руку к плечу. Перепрыгнул на нее сокол, махнул он, — расправила птица крылья, подалась к дереву ближнему, села, сидит. А всадник перекинул щит на руку левую, правой саблю, — степной работы, — чуть из ножен вытащил. Не робкого десятка, хоть и молод.

— Ты чем сподручнее, тем и маши, — а сам думает: «Не стану я его особо охаживать-то. Так, поучу маленько, пару раз по загривку, возьму слово нерушимое, что сам поедет прощенья просить, — и вся недолга. С кем не бывает, по молодости-то». А то что сам не стар, про то и мысли нету. Как и о том не думает, что противник ни в силе, ни в ловкости равным оказаться может. Куда там ему, как-никак, а сам ученик Святогора за дело взялся.

Вот незадача сразу и приключилась. Прянул Илья вперед, махнул булавой осторожненько, даже не вполсилы, чтоб только сбить противника с коня, а только и тот не лыком шит. Змеей проскользнул под рукой, так сабелькой своей по спине плашмя вытянул — гул пошел. Вот ведь вражина, ну, держись теперь!.. А тот вьется вокруг, ровно муха прилипчивая, то с одной стороны подкатит, то с другой, то с коня свесится, то клинок так подставить норовит, чтобы луч солнечный в глаза Илье полыхнул. Увертлив противник, что и говорить!

Понял Илья, вот так, шутя, не сладить с таким. Не силой с ним равняться надобно, в ловкости да хитрости одолеть. Не всему Святогор выучил. Попривык Илья, что противник его не уходит из-под удара, встречает щитом, али оружием. Этот же, ровно маслом намазан — чиркнет по нему булава, и в сторону свистнет. Так скоро устать можно, махая без толку, тогда голыми руками бери. Сам-то не больно сабелькой своей размахивает…

Изловчился все-таки, и как витязь в очередной раз под руку поднырнул, развернулся и сзади по шлему наотмашь достал. Не сильно получилось, по самому навершью, однако ж и того хватило: соскочил с головы, покатился по земле, а у супротивника волосы светлые по плечам рассыпались. Баба!..

Опустились у Ильи руки от удивления, рот раскрылся — ровно дупло, полезайте белки-совы, всем места хватит. А баба тем временем не растерялась: подскочила, да как приложит с ходу в грудь кулаком. Не ожидал Илья, что в бабьем теле, да силища

такая окажется. Взмахнул руками, да и полетел с коня на землю. Опомниться не успел: соскочила светловолосая, бросила в сторону сабельку свою, щит, выхватила из-за пазухи ленточку о три цвета, придавила грудь ему коленом, сплела руки этой самой ленточкой, снова на ноги поднялась, смотрит, улыбается.

— Ну что, женишок, — спрашивает, — сам пойдешь, аль за конем побежишь?

Совсем у Ильи в голове помутилось. И так удивительно было, а тут уж совсем ни в какие ворота…

— Какой я тебе женишок? — бормочет. — Кто ты вообще такая? Откуда взялась?

— Все вы так, — и голос у нее такой насмешливый, — один на другого как ворона на ворону… Хоть бы кто отговорку какую придумал. Ни ума, ни обхождения. Раз баба — силком ее, и вся недолга. Невдомек, что иная баба за себя и постоять может. Так может, мало не покажется. Подымайся, чего разлегся-то. Там тебя товарищи твои дожидаются.

— Какие-такие товарищи? — ничего Илья не понимает, однако поднялся кое-как. Руки к лицу поднес, на ленточку смотрит.

— Смотри — не смотри, — не вырвешься, — зубы скалит, и все тут. — Заговоренная. Самой Лелей. И не пытайся.

Как же, не пытайся. Поднапряг слегка руки — что за чудеса? Ровно цепями железными схвачены, а не ленточкой льняной.

— Ты что же это, полевица какая, али лесовица? — полюбопытствовал.

— Не полевица я, живая…

Вздрогнул Илья. Дрожь по телу пробежала. Слышал ведь голос этот где-то, вот, вроде как давеча, и слова те самые… Присмотрелся внимательнее.

— Ну, чего зенки-то вытаращил? Сам, спрашиваю, пойдешь, али на аркане волочь?

Снова руками пошевелил.

— Тебе, дурню, что сказано было? Никому не снять, кроме одного-единственного. Сама Леля мне ее подарила. И не пытайся…

Тут ленточке и соскользнуть. Настал черед бабе рот распахнуть, чтоб не все, значит, белки-совы Илье достались. Застыла, опустив руки. Смотрит на Илью, слова выговорить не может.

И он столбом застыл. Вспомнил и голос, и слова. Глядит — наглядеться не может. Так вот ты какая, судьба, кузнецом выкованная… И чем больше глядит, тем больше хочется. Краса-то какая… Конечно, и у них в деревне девки красные были, да

только куда им до этой…

А она… Вдруг закраснелась, руками закрылась, отвернулась и… расплакалась.

Видит Илья, содрогаются плечики, даром что доспехом прикрытые. Поднял руки, сжал осторожненько плечики эти.

— Ну, чего ты, чего?..

А она вдруг повернулась, уткнулась в него, и плачет, не перестает.

Приобнял, прижал к себе, такой беззащитной вдруг показалась. Даром что вот-вот только одним ударом с коня сбросила, что не сарафан на ней, доспех воинский. Гладит по волосам, еле-еле прикасается, ровно обидеть боится. А она отодвинулась, смотрит глазами, все еще слез полными, а сама солнышком сияет, улыбается.

— Суженый, — шепчет, — звать-то тебя как?

— Ильей, — почему-то шепотом ответил, а у самого сердце из груди рвется. Слово-то какое: «суженый»… Куда там Сирину, с его песнями… Вот прямо сейчас раскинуть руки, да взлететь к небу синему, да кликнуть кличем великим на все пространство видимое: «суженая»…

— А тебя? — снова шепчет.

— Радой люди зовут. По батюшке — Савишной… Ой, — совсем по-женски вскрикнула, руками всплеснула. — Да что ж мы все шепчемся-то?..

— И правда, чего?

Расхохотались оба. За руки держатся, глаз друг от дружки оторвать не могут. Со стороны глянуть — будто дети малые. Век бы так стоять…

— Что ж это мы? — спохватилась Савишна. — Домой пора. И этих выпустить надобно, ни к чему они теперь…

— Кого — этих? — не понял Илья.

— Женишков, — улыбнулась Рада. — Они у меня под замок посажены. С виду орлы, а на деле — куры ощипанные. Слух пустил кто-то, будто потому живу я на отшибе, что богатства стерегу несметные, в укромном месте припрятанные. Богатая да красивая, — тут она повела этак плечиком-то, опять у Ильи сердце — под облака, — чего лучше и искать-то? А только все богатство мое — изба да хозяйство, а красота, — глянула на Илью искоса, тот последних сил лишился, не поймет, как на ногах держится, — каждый о ней свое представление имеет, от прочих отличное. Кому милая, а кому — милости просим мимо нашего тына киселя хлебать… Повадились женишки, отбою не было. Вот и пришлось их маленько в чувство привесть. Они же как увидят, девка перед ними несговорчивая, глаза выпучат, руки в стороны

— не пойдешь добром, пойдешь силою. Думают, не найдется на них управы…

Пока говорила, на коней сели. Только было Илья повод в сторону потянул, и остановился.

— Нехорошо выходит, — вздохнул. — Обещался я на заставе богатыря того, что обиду учинил, проучить, да привесть прощения просить. Как же мне теперь?

— А никак, — улыбнулась Савишна. — Коли там кому и досталось, так за дело. Нечего попусту лаяться. Тоже мне, сторожа. Впредь умнее будут.

И, видя на лице Ильи недоумение, пояснила.

— Еду это я себе мимо, тихо-мирно, никого не трогаю, нет, обязательно надо удаль свою показать. Выскочил один, орет так, что на другом конце земли слышно, и все такими словами сыплет, трава никнет…

— А мне рассказывал, будто и сказал-то всего пару слов…

— Это он не соврал: всего пара и была, ну, может, две пары… Пока меня догонял, иных слов и не вспомнил, только этими и сыпал, как из мешка дырявого…

— Ну, тогда поделом ему, — стараясь оставаться серьезным, пробормотал Илья. — Нечего, понимаешь, зазря…

Не выдержал, согнулся в седле от хохота, как перед глазами вся картина представилась. И она прыснула, припомнив.

А еще показалось Илье, будто на пне, что неподалеку от дороги торчал, вроде как лицо кузнеца показалось. Но не хмурое, а довольное. Прищурился, подмигивая, глаз — и снова пень, каких много.

* * *

…Пока женишков выпускать ездили, да до дома Рады добрались, уже и солнышко село. Их, пленников, из полутора десятков лишь трое оставалось. Держала их девица в порубе, что от каких-то людей лихих в лесу сохранился; пару раз в неделю навещать ездила, на досмотр и для пущего вразумления.

— Думали, коли силой взять, времечко пройдет — стерпится-слюбится? А того в ум не пришло, каково нам, бабам, за немилым-то жить… Пуще, чем в порубе. На себе испытайте ту судьбу, что мне готовили, авось, поумнеете.

Слова, они, конечно, правильные, только вот поумнели ли? Впрок ли учение пошло, или обидой затаилось, что когда-нибудь делом черным выплеснется?

А еще узнал Илья, что Рада — она по матери из полян, а по

отцу — из степняков (то-то лицо у нее своеобычное). Взял в полон одним набегом красавицу-полянку степной богатырь, не сменял и не продал, женой сделал. Пришло время — родилась дочка, Радой мать назвала, а отец — каким-то своим именем, не упомнить. Недолго пожила мать после рождения дочери, хоть и обращались с ней, как с прочими, — извела ее тоска по местам родимым. Только и успела, что Раде любовь свою к земле, никогда той не виданной, завещать. Сказками, песнями, воспоминаниями о жизни былой… Отец, он все в набегах, ему дочь не интересна, оттого и не легла на сердце Степь, хоть и красива по-своему, и дом кому-то. Оттого и поселилась на сердце тоска неизбывная. Так и росла она: ни в лесу ягода, ни на лугу цветок. А как стали ее сватать… Нет, не сватать. У них это просто: пришел к отцу какой-то, предложил за Раду сколько-то коней с полоняниками в придачу, они и сговорились. В ту же ночь Рада и простилась со Степью, взяв коня, оружие, драгоценностей немного, что отец из набегов в подарок привозил, припасы кое-какие. Гнались за ней, не догнали… Научилась кое-чему. И сама не чаяла, что пригодится.

— Оружие? Чудно как-то — девка, и оружие, — покачал головой Илья.

— Да нет ничего чудного, — улыбнулась Рада. — У них не в диковинку баб делу ратному обучать, ежели характер подходящий. А я своим братцам спуску не давала, случалось, и поколачивала. Вот отец и решил меня наравне с ними к искусству воинскому приобщить. Ну, и хитростям всяким, как, например, след петлять, воду искать, какие травы к ранам прикладывать, чтоб поскорее затягивались, еще кое-чему… Лучшие воины молодых учат, за честь великую почитают… А потом, ты разве не слыхал, что и средь наших мест иные бабы, когда надобность возникнет, за мужей сойти способны?..

— Не приходилось, — честно признался Илья. — Я ведь… — Он замялся. — Я за пределы своей деревни почти и не наведывался, да и к нам нечасто со стороны забредали…

— Ну, так слушай. Только имей в виду, за что купила, за то продаю. Народ всяко сказывает, может, и наврали с три короба, однако ж дыма без огня не бывает, сам знаешь. Наш князюшка нонешний киевский, едва князем ставши, пиры закатывал, чтоб тем, кто ему стол доставил, угодить. Заодно к людям присматривался, дружину молодцами пополнить. На пирах на тех почестных, столы от яств ломились, меды рекой текли, гудошники да сказочники тешили. А с некоторых пор вошло в обыкновение среди пирующих похваляться. Как напьются-наедятся, так и начнется: иной конем добрым хвастает, иной

одеждами шелковыми, кто-то хоромами, а кто-то слугами. И довелось на пирах на тех гостю одному присутствовать, из земли Ляховицкия. Он пил-ел наравне с прочими, но до хвастовства не снисходил, головы не терял. Досадно то князю стало, вот он и наказал слугам, чтоб они гостю тому самые хмельные меды подносили. Так и случилось, что когда князь, улучив минутку, спросил его, подначивая: «Ай же ты, гость заморский, что же сидишь — не хвастаешь? Али нет у тебя диковинок? Аль похвастаться нечем — ни конями, ни шелками, ни хоромами, ни слугами?» А того так забрало, сам не ведает, что говорит. «Все это у меня есть в изобилии, отвечает, потому и хвастать зазорно. Этого добра у всех полно. У меня же, князь, есть молода жена; она кого хошь повыманит, кого хошь с ума сведет». Примолк тут пир, а того и не остановить. Всех прежних перехвастал, пока личиком белым в стол не ткнулся.

Тут остальные гости переглянулися, да и говорят князю: «А что, князюшко? За язык длинный и ответ держать. Засадим-ка хвастуна в погреба глубокие, пущай молода жена нас повыманит, тебя с ума сведет, а его повыручит». На том и порешили. А как порешили — так и сделали.

У гостя же того был человек верный. Проведал он, что приключилось, схватился на добра коня и подался в землю Ляховицкую с вестью нерадостною. Приехал к Василисе, — так жену гостя звали, — и все как есть ей пересказал. И про хвастовство, и про решение княжеское. Спохватилась Василиса, и так рассудила: «Деньгами мужа дорого выкупать — не выкупить, силой выручать — не выручить. Только и осталось, что догадочкою женскою действовать».

Переоделась она в одежду мужескую, подрубила волосы, созвала дружинушку добрых молодцев, назвалась Василием, и подалась на выручку. Не доезжая Киева, бел шатер раскинула, оставила молодцев, сама к князю подалась. Пришла в хоромы, челом била.

Спросил князь, как зовут-величают молодца, из каких краев, да по какой надобности?

Сказалась она сыном короля Ляховицкого, именем Василия, а за какой надобностью? — дочь княжескую сватать приехал.

Понравился князю молодец, да и о короле Ляховицком наслышан был, потому — пошел к дочери, а та ему в ответ: «Что ж ты, говорит, родной батюшка, с ума решился? Где ж это видано, девку за девку выдавать? Сам глянь, неужто не видишь? И ступает-то по-девичьи, и говорит-то по девичьи, и станом девица, и повадками…»

Засомневался князь, вернулся, да и приглашает молодца:

— Ох уж ты молодой Василий-королевич. Путь до нас долог, устал, небось. Не угодно ли со дороженьки в парную во баенку?

А она ему:

— Так не худо бы!

Вот истопили баньку…

Слушает Илья, уши развесив, так захватило. Как-то выберется баба из приключившегося ей испытания? Неужто князюшка в баенке бабу от мужа не отличит?

Не отличил князюшка, оплошал. Пока собирался да снаряжался, Василий-королевич вволю напарился, обратно идет, ему навстречу, благодарит сердечно. Тот рот разинул. «Что ж ты, говорит, меня-то не подождал? Я бы и парку поддал, и веничком бы отходил…» «Это вам, Василий отвечает, вольготно, а я не об том приехал, мне недосуг, пока дело не сделано».

Князь — к дочери, а она ему — слова прежние. Вернулся, снова Василия испытывает. «Не угодно ли тебе, говорит, после баенки да прилечь на часок?»

— Отчего ж не прилечь? — отвечает, а сама так легла: где ногам быть, туда головой, а где голове — там… Отдохнула, к князю выходит. А тот кружным путем, да в горенку, где королевич отдыхал. Глянул на ложе, видит, отпечатались на нем плечи богатырские, назад вернулся.

Настал черед третьего испытания. На этот раз князь предложил потешиться стрельбою. Позвал лучших своих стрелков, повесил колечко золотое, воткнул ножичек. Только осрамились его стрелки: один стрелил — недострелил, другой стрелил — перестрелил, а третий вообще не попал. Василий же одной стрелочкой точно в колечко угодил, а другой — рукоятку ножовую надвое расщепил.

Никак князь не угомонится. «А не угодно ли тебе, молодой Василий-королевич, с моими мужами потешиться, на широком дворе поборотися?»

Вышли на широк двор. Тут-то Василий и разгулялся. Схватит одного, другого, как хватит их лбами, только искры летят. Кого на землю положит, тот уж и не встает.

Переполошился князь. «Укроти-ка, молодой Василий-королевич, сердце молодецкое, кричит, оставь мне мужей хоть на племя…» И не стал больше к дочери ходить, причитаний ее слушать, а закатил пир свадебный.

Три дни пируют, на четвертый видит князь, погрустнел гость его. «Отчего ж ты не весел стал?» спрашивает. Тот ему в ответ: «Все и веселье у тебя, ровно на похоронах. Нешто нет гудошников, али гусельщиков?» Стали звать, а тот все недоволен. Пока, наконец, не вспомнили, что тот самый хвастовщик, в

погребах запертый, больно на гуслях играть горазд. Призадумался князь. Выпустить гостя-гусельщика, так и не видать его больше; не выпустить — королевича прогневать. Решился выпускать. Заиграл тот, распотешилось сердце Василия, стал просить он князя отпустить гусельщика с собой к белу шатру, пускай дружину песнями своими потешит. Чего уж теперь? Махнул князь рукой, пущай едет.

Приехали к белу шатру, там все и обнаружилось. Такое устроила жена мужу за хвастовство его, — как в народе говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Повинился он, прощенье вымолил. Простила, куда ж денешься?

Вот он ей и говорит: «Поедем-ка мы, говорит, обратно к себе в землю нашу Ляховицкую», а она в ответ: «Не есть хвала добру молодцу, тебе воровски из Киева уехати: поедем-ка свадьбы доигрывать!»

Вернулись в Киев, сели опять за столы дубовые. Говорит Василий-королевич князю: «А за что у тебя гусельщик под замком сидел?» Отвечает князь: «А за то, что хвастал на пиру молодой женой, будто она мужей моих повыманит, а меня с ума сведет». «Как обещал, так и сделалось, говорит, вот она, молода жена, перед тобою…»

Устыдился князь, и мужи его, не знают, куда прятаться. А потом говорит: «Раз такое дело, прощаю тебе, гость Ляховецкий, похвальбу твою. Отныне торгуй в нашем Киеве-граде во всяко время беспошлинно».

Только тот, говорят, с тех пор в Киев — ни ногой…

— Быть такого не может, — убежденно заявил Илья, выслушав Раду. — Брешет народ. Сами же бабы сказку такую и выдумали. Баба, она сколь бы умной и сильной не была, а все не чета…

Глянул в сторону Савишны, осекся. Не она ли его с коня спешила? Оно, конечно, врасплох застала, не ожидал, что перед ним вместо богатыря — баба, а все же спешила, тут вертись — не вертись…

— То есть, — поправился, — не то чтоб совсем набрехали, тут я с тобой согласен, но в том, что приукрасили, сомнений быть не может…

* * *

Так и случилось, что исполнилось кузнецом для Ильи скованное, а Раде — Лелей приуготованное; нашел суженый суженую, и наоборот. Зажили в избушке с хозяйством, что на

отшибе приткнулась, душа в душу зажили. Обволокло Илью счастьем простым, житейским; вспомнит о доме родном, улыбнется светло, теперь у него еще один дом родной есть. Вспомнит о желании своем прежнем князю послужить, снова улыбнется. Что ему князь, если у него Рада есть. То, чего не понимал прежде, — как это Святогор подвиги богатырские, славу людскую, на тишь-спокойствие променял, — теперь понятно стало. Равно как и то, почему народ жизнь мирную так высоко ставит. Будто родился заново. Слова, что прежде произносились, по-иному воспринимаются. Скажет кто раньше в деревне, к примеру, что такой-то на такой-то обженился, ну и что? Эка невидаль. А сейчас, глянет на *жену* свою, Савишну, сердце поет — да пропади они пропадом, слава и подвиги, лишь бы ей жилось.

Вроде и не шибко судьба ее за косы потаскала, у иных куда как хуже бывает, а и не особо жаловала. Не все рассказала про себя Илье, но и слышанного хватило. Он ведь про себя тоже не все поведал. Да разве ж это важно? Дни днями летят, месяц к месяцу в копну складываются. Заматерел Илья, не узнать того слётка, что вроде бы как и недавно из гнезда родительского выпорхнул…

6. А У СЛАВНОГО ТЫ ГОРОДА ЧЕРНИГОВА…

Сколько их дней этих, да месяцев, мимо окошек пролетело, двором скользнуло? Кто ж их считать будет. В народе говорят: счастливые часов не наблюдают. А уж в то, что Рада с Ильей счастье свое нашли, в том никто бы не усомнился, даже вполглаза на них глянув.

Сменил Илья доспехи свои, оружие на косу, соху да борону; лишь изредка с собою прихватывал, когда до ближайшего села с кузней и торгом подавался. Чем дольше живет на свете, тем большему учится. Одного только в разум взять не может: как же это получается, что люди труда мирного не ценят, разбой учинить норовят. Чего им не хватает? Сколько земли вокруг — рук не хватит, чтобы всю обработать. Или вот, скажем, Степь. Сам-то не бывал, не видел, а жена сказывает — от края до края, сколько глаз охватить может, в небо упирается. Неужто мало? Или у соседа и корова удойнее, и огород пышнее, и земля плодороднее?

Смешным теперь кажется, что он от земли, да в дружину ратную собрался. Если посмотреть, из всей деревни один такой выискался. Оно, конечно, когда беда приходила, из Степи, каждый за что мог хватался, — за косу, за топор, охотники — те за луки; но чтоб в дружину — что-то такого не припомнится. И то сказать: не наше это дело. Наше — землю обрабатывать, хлеб растить, а воевать да оборонять — на то города есть. Прав Святогор: чем всех оборонять, пусть каждый сам свое бережет. За всех стоять — не настоишься. Жизнь — она однова дадена.

Правильные, вроде, слова, и мысли тоже, вроде, правильные. Все бы хорошо, кабы не голос какой-то, из глубины самого себя раздающийся. Скоренько же ты и калик позабыл, и Васятку, и видения селений разоряемых. Для того ли тебе силушка дадена, чтобы ты вот эдак-то, в глушь забившись, счастье потихоньку в одиночку полным ковшом черпал? Поставил избу с краю — ничего не знаю? Давно ли за обиды людские заступался, а нонче? Каждый сам за себя, выходит? Это хорошо, когда молод, когда силы через край, а ежели отрок, жить не начавший, али старец, давным-давно бросивший последний взгляд во след уходящей зрелости? Как же так случилось, Илья, сын Иванович?

Не может Илья ответить, сколько ни спрашивай. Потому и старается голосу тому не внимать. А он, окаянный, с каждым днем все громче и громче, скоро совсем уж невмоготу станет.

Приметила Рада, что-то нехорошее с мужем деется. Гнетет

что-то. Старается как прежде видом быть, да только любящее сердце не обманешь. Ждала, ждала, пока сам скажет, видит — не дождется. Сама спросила. Напрямки.

— Давно не видал отца-матушки, — вздохнул Илья, а сам глаза в сторону отводит. — Как они там, без меня? Я ведь наведываться обещал… Вишь, каким боком счастье-то выходит. Кроме как об себе, ни до кого дела нет…

— И только-то? — улыбнулась Рада. — Обещался, так исполняй. Сама, без тебя управлюсь.

— Нет-нет, ну что ты! — вскинул голову Илья. — Вот-вот покос начинать, куда ж я подамся?

— Езжай уж. Раньше справлялась, и сейчас справлюсь.

— Смечем сено, там видно будет…

Сметали. Только Илья и ехать не едет, и ходит, все больше на грозовую тучу похожий становится.

— Теперь-то чего? — не выдержала Рада. — Портами за забор зацепился?

— Зацепился, — буркнул Илья. — Может, и ты со мной? — спросил с надеждой.

— На мне хозяйство, нешто брошу?

Помолчал Илья, с духом собрался.

— А вот как бы ты на то посмотрела, ежели б я на службу княжескую поступил?

Глаза у Рады, были родничками светлыми, а тут ровно двумя озерками стали, до того удивилась.

— Это кем же?

— Ну… в дружину. Не по себе мне как-то. Не тому меня Святогор учил, чтоб хозяйство… Нет, и тому, конечно, тоже. Но вот ежели б с одной стороны службу воинскую нести, а с другой — хозяйство, это б как-то оно правильнее было…

«Вот оно что, — подумалось Раде. — Не к родителям тебя тянет, не по местам родным соскучился. Зовет тебя судьба песней калик перехожих, и не смолкнуть ей, покуда жив будешь».

Вслух же сказала:

— Муж и жена — что игла с ниткой, куда игла — туда нить. Везде люди живут. Ты поначалу родителей навести, а там уж и решим, что да как. В Киев загляни на пути возвратном, разузнай, почем она, служба княжеская. Может, не рады тебе там будут, не ко двору придешься. Как в народе говорят: со свиным рылом, да в калашный ряд.

Кивнул Илья согласно, а у самого другая думка. Не может такому случиться, чтоб не признали в нем защитника земли родной, чтоб от ворот поворот указали, по причине происхождения незнатного. С любым искусством воинским

потягается, любому, кто нос воротить начнет, окорот даст. Ну да, будем надеяться, не дойдет до того…

…Ночь не спал Илья, ворочался, представлял себе, как с родителями повидается, как в Киев наведается, как примут его в службу княжескую, избу ему выделят. Перевезет он туда отца с матерью, жену с хозяйством, и заживут они жизнью счастливою, мирною. Потому как соберутся у князя все богатыри, какие только в земле есть, и не посмеет Степь до веку на просторы наши сунуться. Разве что торговать, ну да в том преграды им нету.

И Рада не спала. Слышала, как ворочается Илья, лежала тихохонько, о своем думала. О чем — кто ж ведает?

Утречком встала как обычно, собрала мужу чем в дороге пополдничать, — он к вечеру уж и дома будет, — на стол собрала, пока в бочке с водой плескался. Сидела напротив, положив подбородок на сложенные ладони, смотрела, как завтракает, улыбалась. Не заметил Илья, — он одной ногой здесь, а второй уже в доме родительском, — грусть легкая в глазах затаилась.

Вместе во двор вышли. Сами проверила, как конь оседлан, как оружие пригнано. Протянула суму переметную. Обняла, прижалась крепко. Постояли.

— Ну, что ты, — Илья бормочет. — Не навек же расстаемся. Пару недель — и жди обратно. За такой срок — что случиться может? Коли не ко двору окажусь в Киеве, так и раньше обернусь. Сама говорила, про иглу с ниткой…

Промолчала. Подождала, пока в седло подымется, провела рукой по руке. Отошла. Склонила голову набок, улыбается.

Долгое расставание — многая скорбь. Натянул Илья повод, взял конь с места рысью легкой, застоялся. Почуял волю, прянул стрелой. Обернулся было Илья, а не видно уже ни избы, ни полянки…

* * *

Снова, как прежде, пластается конь выше лесу стоячего, ниже облака ходячего; горы-реки промеж ног пропускает, поля-луга хвостом устилает. Успокоился Илья; вот так бы всегда. И чего медлил, маялся? Нет, чтобы сразу Раде сказать о думах нерадостных, не чужая ведь. Хотя иногда, чем своему, чужому проще высказать. Верится — так все сложится, как задумалось. Коли не ждет его в доме родительском беда какая, так особо задерживаться нечего. Два-три дня, — и в Киев. Не приветят — знать, по-иному судьба поворачивается. К жизни мирной. Нужно будет что-то такое придумать, чтобы Рада согласилась к ним

перебраться. А коли самому не придумается, то и совета спросить не зазорно. У отца с матерью, у той же Велеславы.

Ни себе роздыху толком не дал, ни коню. Задержались пару раз возле речек чистых, напились, перевели дух, — и дальше. Только уж как совсем близко от деревни оказались, убавили прыти. Верст пять осталось, не более, а уже все родное вокруг. Илья как приметил полянку знакомую, с коня долой, забрел в траву, раскинул руки в стороны, да и грохнулся навзничь — только гул пошел. Все здесь другое: и травы, и деревья, и запахи, и самое небо над головою. Даже дорога, что через лес к деревне вьется, совсем не та, что, скажем, в горах Сорочинских. Вставать не хочется…

А придется. Негоже особо-то разлеживаться. Народ сбежится, не утерпит, по себе знает. Интересно ведь, что на свете белом деется. И не странник захожий, неизвестный, свой возвернулся. До утра не разойдутся, даром что дел невпроворот.

Идет по дороге, коня в поводу ведет. Сердце из груди рвется. Скоро, ой как скоро увидит отца с матушкой…

Тут вдруг зашевелились кусты придорожные, вылетели с визгом ребятишки, вылетели и на месте застыли, ровно вкопанные. И Илья застыл, будто самого себя увидел. Таращатся друг на друга. Ну да те первые оклемались: брызнули в стороны, только пятки сверкнули.

— Куда вы? — расхохотался Илья. — Постойте, свой я, местный. Не обижу…

Смолк треск сухих веток под ногами. То ли удрали, то ли затаились. Сам бы что сделал? Наверное, затаился бы, да понаблюдал, что за богатырь на дороге повстречался. Рассудил, что не погонится за ним. Потом головой качнул: как же, рассудил бы, в таком-то возрасте…

Снова позвал негромко, чтоб совсем уж не напугать:

— Да свой я, говорят вам. Илья. Батюшка мой тут живет, Иван Тимофеевич, и матушка — Ефросинья Яковлевна… Знаете таких? Не бойтесь. Выходите, кого на коне богатырском до деревни довезти.

Сказал, и озирается. Ждет.

Как и думал, не все удрали. Оно, конечно, с одной стороны — боязно, но с другой-то — любопытство одолевает. Справа, слева зашевелились кусты, но так, чтобы в случае чего — шасть, и нету.

— Знаем таких, — голосок раздался, а у Ильи от сердца отлегло. Коли знают, значит, живы родители. — И про Илью знаем, только он давно уже уехал, и ни слуху, ни духу об нем не было…

— Слуху не было, говоришь? Так зачем слух, ежели сам я

объявился? Да не прячься ты, выходи.

— Ишь, хитрый какой; так сразу и выходи. Может, ты и вправду Илья, а может — и нет. Или Илья, да не тот. Чем докажешь?

Улыбнулся Илья в усы-бороду.

— Как же тебе доказать? Сам же говоришь, давненько меня тут не было. Что изменилось, про то не ведаю. А вот хочешь меч богатырский подержать?

— Да ну?!! — высунулся мальчишка и тут же спрятался снова. — Брешешь…

— Зачем же мне брехать-то? Вот, пожалуйста, подходи, держись.

— Ага… Я подойду, тут ты меня и схватишь.

— Да зачем же мне тебя хватать-то?

— А затем… Ты меч вон на пенек положи, а сам в сторонке стань, чтоб не поймал.

Ну что ты скажешь! Сделал Илья, как велено было. Вышел мальчишка, к мечу бочком-бочком подбирается, с богатыря опасливых глаз не сводит. Вот ведь оказия какая. Ни тебе посмеяться, ни пошевелиться. А мальчишка, как до пенька добрался, про испуг и думать забыл. Стоит, смотрит восхищенно. Еще бы, не деревянный, а самый настоящий.

— Красивый…

Протянул руку, погладил ножны. Попытался поднять — не получилось. За рукоятку обеими руками ухватил, тянет — не вытянет.

— Нешто заговоренный?..

— Да какой же заговоренный?.. Тяжелый просто, не сладить тебе одному. Помощь зови.

А ту и звать не надобно. Осмелела. Потянулась из кустов, поскольку вроде как не страшный богатырь, на все условия согласный и ловить не пытается. И так пытаются то поднять, то вытащить — ничего не получается. Правду сказал — тяжелый, не по силам еще.

— Ну что, может, в деревню? — Илья спрашивает.

— А ты вот про коня богатырского, чтоб ехать на нем, правду сказал, али как? — это тот, что первым из кустов вылез, совсем осмелел.

— Правду-то оно правду, а только не поместитесь все. Придется кому на коне, а кому и на самом богатыре ехать.

Сказано — сделано. Четверо на коне уместились, двое на плечи к Илье взобрались, да так и тронулись.

Пока до деревни добрались, там уже все, кто передвигаться мог, собрались: кто возле околицы высматривает, а кто прямо на

двор к Ивану с Ефросиньей подался. Не все ребятишки остались, кое-кто дунул до самой избы, на коне не догонишь. Богатырь какой-то по дороге едет, и прямо сюда. По виду нашенский, не степной. Народ как-то сразу и рассудил: коли богатырь, да один, да нашенский, не кому иному и быть, как Илье. Не из города же, — те поодиночке не выезжают. Кинулись люди к Ефросинье, — не твой ли? — а она сказать ничего не может. Прижала руки к груди и замерла, ни жива, ни мертва. «Он…» — прошептала. Иной вот спиной погоду чует: на дворе ведро, а он с делами советует повременить, спину ломит, знать, дождь недалече. Сердце же материнское с утра неспокойно было. И работа не шла — все, за что ни возьмется, все не так, что не вкривь, то вкось… Обмерла, счастью своему не верит. Не знает, за что хвататься. То ли навстречу бежать, то ли на стол подавать. Богатырь незнакомый еще из лесу не показался, а она уже твердо знает: сдержал слово сыночек, Илюшенька, не остался на чужбине, возвращается. Надолго ли? Подсказывает сердце — не насовсем. Вот ведь оно как — еще не встретились, а уже об расставании…

— Едет, едет! — крики раздались. Не сразу, как из леса показался, потому как поначалу понять не могли — что это там такое за диво: говорили об вершнике, а тут чудо какое-то, и пестрое, и многоголовое, и многорукое. Ишь, машет… Потом попригляделись — и впрямь, вроде как Илья. Тогда и загомонили радостно. Кто-то, конечно, крякнул с досады. Опять на пару дней все работы по боку. И что только Илья за человек такой уродился: как ни случись с ним чего, опосля выздоровления, так гулянка. С одной стороны — жаловаться особо не приходится, кормят-поят до отвалу, а с другой — хозяйство страдает. Потому как после гулянки той еще неделю оторви да выброси, пока в прежнюю колею возвернешься. Эх, век бы гулять, чего уж там… Как в сказке: изловил шапкой щуку, она за тебя все дела переделает, а ты себе лежи на печи — ешь калачи. Кстати, о щуке: сеть изорвалась вся, давно б починить надобно, а все недосуг.

Шум, гам во дворе Ивана с Ефросиньей. Уж чего-чего, а радоваться народ вполсилы не умеет. Работать — получается, а вот радоваться… Раздалась толпа в стороны, примолкла, дождалась, пока с отцом обнимется, пока мать к груди прижмет, и снова обступила. Еле вырвался — доспех снять, коня расседлать. Ребятишкам в особину счастье привалило: надобно коня богатырского к реке свести, напоить, помыть-обтереть. Им дело такое не в диковину, привычно. Повели ватагой, каждый поближе притиснуться норовит. Не видали здесь прежде таких коней; разные бывали, а таких не видели. Когда еще доведется? Еще с

глаз не скрылись, а уж задрались, кому повод держать. Ничего, как задрались, так и помирятся.

Во дворе же пир горой. Хоть и далеко ему, наверное, до княжеского, не приседают столы под тяжестью яств, однако ж и не пустые. Понятно, одним Ивану с Ефросиньей всю деревню не учествовать, так а родственники на что? А мир? Только ведь так просто угощаться — в том особого интересу нету, давай, Илья, выкладывай, как на духу, где был, что видел? А тому и сказать особо нечего. Про ученье много ли скажешь? Кого тем удивишь, что пахать научился, косить, избу латать? Или там жизнь семейная — чего в ней такого необычного?

Махнул Илья рукой про себя, да и начал припоминать, что ему Святогор рассказывал, а потом Рада. Особо не привирал, а только так выходило, будто он и сам вроде как при всем том, о чем говорил, свидетелем был, причем не безмолвным, а как бы даже и участником. Не то, чтоб главным, но и не последним. Хотя, если вдуматься, ежели участников этих самых всего два, и один из них главный, то второй — какой? Ну да людям это не важно, не для того собрались, чтобы вдумываться. А Илья и сам не ожидал, как складно получается, стоит только начать. Должно быть, по наследству передалось, от Тимофея с Яковом.

Дальше в лес — больше дров. Вот уже и Илья потихоньку, незаметно для себя самого, поперед Святогора стал, в одиночку разъезды кочевников по степи гоняет; уже и прочие подтянулись, такие караваи на стол мечут, — вдесятером не унести; уже никто никого толком и не слушает; уже мелькнули за столом глаза знакомые, зеленые-презеленые… А все ж таки время настало, когда не хочется расходиться, а приходится. Спасибо хозяевам, пора и честь знать. Завтра — или сегодня уже? — наведаемся, потолкуем, а нонче — по домам. К родителям сын долгожданный приехал. Уважил мир, на том спасибо.

Вот уж и последнего гостя со двора проводили. Как водится, до ворот, поясной поклон, спасибо, что пришел, уважил. Поклон в ответ — хозяевам хлебосольным, и остались, наконец, родители с Ильей с глазу на глаз. Только у Ильи эти самые глаза слипаются — мочи нету разнять. Ладно уж, ступай, ложись, без тебя управимся.

Поутру рано поднялся, а все ж не раньше матери. Та уже в хлеву суетится — дверь распахнута. Пока к колодцу сходил, вылил на себя пару ведер воды ледяной, отец на крыльцо вышел. Берут свое годы. В темноте не видать было, а сейчас заметно — белеть голова начала. Чуть меньше ростом стал, погрузнел, а силы в руках не убыло. Столы да лавки давеча играючи подымал… На избу Илья глянул, на сарай, на хлев. В порядке.

Разве что крышу кое-где подправить не мешает.

Тут Ефросинья с ведерком вышла. Улыбнулась.

— Сейчас утренничать будем, готово у меня все.

И в избе скрылась.

— Конь-то мой, как там? — вдогонку спросил Илья.

— В пристройке. Той самой, что для жеребенка вместе делали. Аль позабыл? — вместо Ефросиньи Иван ответил.

— Не забыл…

Пошли смотреть.

Примечает Иван, глаз-то у сына иной стал. Хозяйский. Не мечется без толку, оценивает, прикидывает, что к чему. Такому у Святогора-богатыря не научишься. Не все Илья вчера сказал, ох, не все.

Как поутренничали, вышли на заднее крыльцо, присели, начал Иван потихоньку расспрашивать про ученье богатырское. Народу нету, приукрашивать не для кого, отвечает Илья прямо, как было. Про ученье, про житье, про то, что нет более на свете Святогора-богатыря, некому теперь постоять на горах Сорочинских против королей заморских. Про Горыныча рассказал, даже про жену Святогорову, что она как бы…

Не видят, что Ефросинья позади тихонечко присела, слушает. Услышала про Славяну, обнаружилась, руками всплеснула.

— Тебе не на чужих жен засматриваться, свою иметь пора. Короли твои, змеи — пустое все. Негоже по свету белому бобылем шататься. Что у нас, девок мало? Глянь вон на Проса…

— А что с Просом приключилось? — встрепенулся Илья. — Я его вроде как вчера не видал?..

— Да был он, — сказал Иван. — С краешку притулился… Никак не отойдет…

— Жена его пропала, — пояснила Ефросинья. — Сколько тому прошло? В лес пошла, и пропала. Искали — не нашли. Только я так скажу, хворость у нее приключилась. С той самой поры, как здесь жили, все чахла и чахла, так бы и истаяла совсем, кабы не пропала. Жалко, конечно. Хоть и держалась от всех подальше, ни с кем-то не поговорит, а все равно жалко. Живого-то человека… — Илья непроизвольно вздрогнул. — Думали поначалу, и Просо твой не задержится, за ней последует. Отощал весь, кожа до кости.

— Велеславе спасибо, выходила, — сказал Иван.

— А и дочке Бажена тоже, — улыбнулась Ефросинья. — Попомни мое слово, быть по осени свадьбе. Хоть и нехорошо так говорить, а все ж таки скажу: не было бы девке счастья, да несчастье помогло. Давно она по кузнецу сохла, почитай, с той самой поры, как в деревне объявился. Глаз не сводила.

— Вон оно как, — протянул Иван. — Я-то думал, Велеслава ее травам учит, раз она как свободная минута, так шасть к ней в избу…

— Ну да, травам… Вот говорят: у бабы волос длинный, а ум короткий. На себя бы хоть раз обернулись. До седых волос дожил, а чисто отрок… Вот бы и тебе, сынок, женой обзавестись, хозяйством своим…

— До седых волос, говоришь, дожил, а чисто отрок? — хохотнул Иван. — А ну-ка, Илья, выкладывай начистоту, как есть. Кем там обзавелся.

— Да ты что?!.. — всплеснула руками Ефросинья. — Ты в своем уме?!..

Взглянула на приоткрывшего от удивления рот сына.

— Неужто правда?..

— Правда… — пробормотал Илья, а сам не знает, куда глаза деть.

— Ну, рассказывай…

И начал Илья рассказывать, в этот раз не то, что давеча, без прикрас. Про житье-бытье у Святогора, и про то, что нет больше на белом свете богатыря сильномогучего, про кузнеца, что судьбу ему сковал, про то, как встретил Раду. По батюшке — Савишну. Только батюшку ее по-иному зовут, как, — не запомнить толком, не выговорить, потому — из Степи он. Про то, как зажили, как хозяйством занимался. Наконец, про задумку свою, что хорошо было бы, ежели б они все вместе, рядышком… Вот наша изба, вот ваша…

— Так нешто места мало? — обрадовалась было Ефросинья. — Вон, до леса сколько. Избу новую поставить — дело недолгое. Землю, покосы мир выделит. Добро какое перевезти — поможем. Далеко ль живете?

— Далеко, — вздохнул Илья. — Так далеко, что ежели орлом под облака — и то не видать будет. Только, мать, иная у меня думка. Не стало Святогора, знать, мне за него теперь быть. Хочу я в Киев, в дружину княжескую. А за службу — землю просить. И нам, и вам с отцом.

— Вон оно как, — протянула Ефросинья, и как-то вся посерьезнела, словно облачко на солнышко светлое набежало. А Иван молчит; перед собой уставился, и молчит.

Хорошо, на дворе гомон раздался — опять народ зашел. Только уж на этот раз не за столами по лавкам сидеть, а на помощь Илью звать. Пашню расчистить, в Агафью дерев нападало, стропила поднять, сруб под сарай передвинуть… При его силище всех делов-то и на полгривны не наберется.

— Ступай, коль народ просит. Я тоже гляну, что подправить,

пока ты здесь, — хлопнул его по плечу Иван.

Будто крапивой кто вытянул, «пока ты здесь». Впрочем, тут же и забылось. Не до того сейчас. Дело понятное: никто так, за здорово живешь, с места насиженного срываться не станет. Тем паче, сколько лет здесь жили, и родители, и деды-прадеды. А с другой стороны взглянуть: коли уж судьбой ему написано земле родной защитой служить, не может он здесь остаться. Никак не может. Но и долг свой перед отцом-матерью тоже помнит. Им до старости — не сто верст. Не бывать такому, чтоб они кому на шею сели, чтоб их за глаза куском хлеба попрекали, при живом-то сыне-богатыре. Вот и выходит, что лучшего всего поступить так, как он придумал. Главное — слова нужные подобрать.

А их и подбирать не пришлось. Потому как когда вечером в избу вернулся, — раньше никак не пришлось, — все уже без него решено было.

— Ты вот что, сынок, — сказала ему Ефросинья. — Ты там устраивайся, в дружине-то, в Киеве, а далее — поглядим. Обустроишься, обживешься, может, и мы к тебе. Ну, а если не так случится, как думается, станется — ты к нам.

Не стал Илья ни спорить, ни разубеждать. Время покажет его правоту.

Единственное, в чем он не прав оказался, так это срок не рассчитал. Мнилось ему, неделей управится, ан все две ушло. Сельчане, будто нарочно, к его приезду дел поднакопили, где его силушка востребована оказалась. Наверное, еще больше б нашлось, если б не отговорился заботами срочными да обещанием вскорости обратно быть.

…Снова на коне Илья, в полном вооружении. Летит-поспешает в стольный Киев-град. Никогда прежде там не бывал, только по разговорам себе и представляет. Красивым. Раскинувшимся на несколько верст, окруженным стеной белого камня, с высокими башнями, с золотыми воротами. Это ж какому богатству несметному должно быть у князя киевского, ежели там ворота городские — и те из чистого золота? А еще терема у жителей, самые маковки — те тоже золотом крыты. Так сверкают на солнце — глазам мочи нет. И река возле города, куда как шире той, что возле деревеньки родной. Славутичем зовется. Ладей там, кораблей разных — видимо-невидимо. Со всего свету белого гости съезжаются с товаром красным.

И так это Илье представляется, что блеснет где солнышком озерко, а ему купола золотые мерещатся. Хотя и знает, ежели доберется, то не иначе как ближе к вечеру. Ближе Киев-град гор Сорочинских, однако ж и до него путь неблизкий. Как-то его там примут? Солнышко уж за полдень перевалило. Скоро, скоро Киев-

град…

Стал вдруг Илья примечать, что посреди синевы да моря, то зеленого, то желтого, стали какие-то черные пятна попадаться. Не сразу в глаза бросилось, а как-то невзначай. Что бы это могло быть?

Не утерпел, хоть и мнит себя богатырем, а супротив любопытства не устоял. И то сказать, много ли на свете белом таких людей сыщется, чтобы одолеть смогли свойство такое человеческое? Взять, скажем, лису. Опытные охотники говорят, что зверь этот зачастую и пропадает из-за своего этого самого любопытства. Потому как про опасность забывает, сам на ловца идет. В сказках про его хитрость рассказывают, а на деле совсем наоборот получается. Только этим самым охотничкам про самих себя бы вспомнить, сколько раз сами впросак попадали, по причине любопытства, а не на лису кивать.

Придержал Илья коня богатырского, как завидел чернь впереди, благо, не посреди леса виднеется, и даже дорога к ней ведет. А как запах учуял, крякнул с досады. Гарью несет. Село тут где-то спряталось, не разглядел. Пал народ учинил, лес под пашни выжигает, всего и делов-то. И как только сразу не сообразил?.. Ну, раз уж вышла заминка, так тому и быть. Напиться у колодца, коня напоить, передохнуть несколько, порасспрашивать, далеко ли ему еще, не сбился ли с пути. Оно понятно, конь у него необыкновенный, сам дорогу выбирает, а вдруг?.. Всяко бывает. А жгли не толково. Вон, сколько дерев обгоревших стоит. Так и пожар лесной устроить недолго. Совсем, что ли, без головы? Ишь, земли понавалили… Только земля, она полезна, когда огонь понизу идет, а вот ежели поверху… И лесу погорелого понавалили, побросали… Погодь, кажись, не лес это вовсе…

Не лес. Не стволы обгорелые понавалены-поразбросаны. Бревна. Что когда-то избами стояли.

Спешился Илья. Огляделся, прислушался. Научил его Святогор лес слушать, чтоб в засаду вражескую не угодить. Нет впереди засады. Пошел тихо.

Вот оно селение, как на ладони. Все, что осталось. В полную силу погулял здесь огонь, ничего не пощадил. Даже печи, и те в крошево черное обратились. Должно быть, не справились люди с напастью, дождь справился, когда пламя и без того стихало, вволю натешившись. Вон какие потеки на земле, ровно руки, длинные да тощие, такие же пальцы растопырили. Как у кикимор, что из изб горящих выбраться не успели. Чернеют посреди серой земли. Эк ее опалило… У них в деревне тоже случались пожары, но чтобы вот так, все избы дотла, о таком не вспоминали.

А как же люди? Что с ними? Ни живых не видать, ни мертвых. Никто не копошится на пожарище. И вообще никого живого не видать. Ветер пепел да золу гоняет с места на место, а больше никакого движения не видать. Ворон нет, следов зверей диких — тоже. Хотя пожарище свежее, не более недели. А еще тишина особенная, не смотря что звуков всяких полным-полно. Уж не приключилось ли в этих краях болезни какой, от которой только так и спастись можно? Увели скот, увезли хозяйство, да и подожгли? Редко такое случается, однако ж бывает.

Насторожился Илья. Вроде как шевеленье впереди обозначилось, на самом краю пожарища. Поднес руку к глазам, всмотрелся, и впрямь — будто собака в угольях ковыряется. Добро. Собака, она иногда столько же, сколько и человек поведать способна, ежели в глаза ей всмотреться. Многое чего увидеть можно, коли уметь. Не убежит, испугавшись, так и узнаем, что приключилось.

Идет Илья, спокойно, размеренно, чтобы не спугнуть ненароком. А та вроде как не слышит, роется себе. Только когда звякнул ненароком кольчугой о стремя, услышала, прянула в сторону, поднялась на задние лапы и оказалась не собакой, а человеком.

Сколько лет — не определить, до того сажей вымазан. Рубаха, порты, серое все, пепельное. Волосы с одной стороны головы свисают, ровно пакля, с другой — торчмя торчат. И взгляд пронзительный такой, вызывающий.

— Здоров бывай, человече, — остановился Илья.

Тот немного помедлил с ответом, затем буркнул неприветливо.

— Здоровей видали…

Опешил Илья. Не ожидал такого приветствия ответного. Обидным показалось. Нахмурился. Посуровел.

— Ишь, надулся, ровно мышь на гречу… Испугались тебя, как же… Богатырь… Герой… Один такой, али много вас? Остальные где — по лесам прячутся?

— Ты чего несешь-то? Умом рехнулся? — грозно спросил Илья. — Какие-такие остальные? Кто по лесам прячется? С чего бы это?

— С чего бы это… — поддразнил селянин. С какой-то болью в голосе. — Вопросов насыпал, что баба гороху. Где ж ты был, ежели ничего не знаешь?

— Где был, там уже нету, — по-прежнему сурово отвечал Илья. — Далеко был.

— Вестимо, далеко. От степняков подалее…

Вот оно что. Как это он раньше не подумал? Припомнилось,

что пятна эти самые черные, непонятные, цепью вытянулись. По-иному вокруг себя глянул. И сразу — заволокло глаза дымкой туманной. Откуда-то из глубины существа его раздался голос Боянов; на всю жизнь оставшуюся, видать, песню его запомнил. Все разглядел, все увидел, как и что случилось, как деревенька крохотная в пожарище обратилась.

— Ты, богатырь, того… Не из черниговской дружины, что ли, будешь? — услышал он сквозь видение. Очнулся. Не сразу в себя пришел. Дышать тяжко, глаза набухли. Не жалость, — злость — солью готова из глаз выплеснуться.

— Черниговской?..

— Ну да, — селянин смотрел на него уже не сердито, а скорее с любопытством. — Ты сам-то откудова будешь?

— Сказано же тебе было, издалека.

— Так ты что ж, и про город не слыхал, который Черниговом прозывается?

— Может, и слыхал… Не упомню.

— А коли не упомнишь, что за нелегкая тебя сюда занесла?

— Про то сам знаю. Скажи лучше, степняки здесь, стало быть, погуляли?..

— Они самые.

— А люди где?

— Кто где. Кто успел — в лес ушел, а кто нет… Видал, как с той стороны ехал, земля навалена? Там они…

— И много их было, степняков-то?

— Так кто ж их считал?.. Налетели тучей, пограбили, попалили, и дальше подались.

— Куда?

— На кудыкину гору. Тебе-то зачем знать?

— А чтоб случаем не встренуться, — хмуро ответил Илья. Ну и народ в этих краях!.. Ты к нему с добрым словом, а он на тебя с дрекольем. Ладно, без него управимся. Взгромоздился в седло, приладился.

— Ты чего это, и впрямь, что ли, вдогонку метишь? — недоверчиво глянул селянин.

Ничего не ответил Илья. Тронул коня, подался шагом. Нечего время понапрасну терять.

— Слышь, погодь…

Остановился Илья. Но не обернулся. Селянин подошел, глянул снизу вверх.

— Ты что, и вправду?.. Много их, очень много. Город осадили, а иные по округе поживы ищут. Какую деревню нашли, тех всех… Кому повезло, те в земле лежат, а кому не судьба — тех в полон увели. Ну и еще, кто в лес успел… Ты погоди, осуждать-

то… — сказал он, склонив голову и уставившись в землю. — Помереть, оно особо ума не нужно. А надо ж кому-то и землю поднимать, как хищники окаянные в Степь свою проклятую возвернуться… И жизнь продолжать. И помнить. Ты не взыщи, ежели не по-твоему что сказано. Ждали мы, придет дружина из города на помощь, погонит супостата, да так, чтоб навек зарекся… Не дождались… Так-то вот…

Селянин замолчал. Молчит и Илья. А что тут скажешь? Нешто попрекнешь, что жив остался, что под саблю степную, али под стрелу, не сунулся? Опять тронул коня, но селянин не остался на месте, рядом идет.

— У тебя здесь кто жил? — тихо спросил он.

Кто здесь у Ильи мог жить? Но и отвечать невежеством не хотелось. Как-то само с языка сорвалось.

— Так, мальчонка один…

— А где?

— В Березовом…

— Вон оно как… — протянул селянин и остановился. — Даже не знаю, чего и пожелать…

— А ничего не надо. Чему суждено, того не миновать.

— Оно, конечно, верно… Вот, на, возьми, — вдруг встрепенулся селянин, полез за пазуху, достал грязный кусок полотна, развернул и протянул Илье маленький обгорелый кусочек хлеба. — Бери, бери, я себе, может, еще отыщу.

— Спасибо, — Илья бережно принял хлеб и аккуратно убрал в суму. — Ну, прощай. Не знаю, свидимся ли…

— А тут и знать нечего, — селянин повернулся спиной и неторопливо, не оглядываясь, побрел на пепелище.

— Ну, это еще бабка надвое сказала, — негромко буркнул Илья и пришпорил коня.

* * *

Не стал во всю прыть пускаться, дорога-то незнаемая. Сколько тут до этого самого Чернигова? Хорошо бы, конечно, порасспросить кого, ну да на худой конец и сами разберемся. Тут ведь что главное? Подобраться незаметно, высмотреть, что к чему, а уж далее и решать, с какого боку за дело взяться. Ну и в засаду не угодить. Только какая тут может быть засада? С чего бы тут взяться?

Подумать не успел, шваркнуло что-то по спине, по щиту. Остановил коня, поднял на дыбы, развернулся резко.

Шагах в пятидесяти — всадники. Степняки. Впервые так

близко видит. Одежды серые, как будто кафтаны. По груди блестки разбросаны, должно быть, пластины из кости или металла какого. На головах — шеломы, над шеломами — кисточки. Из перьев, что ли? Сабли кривые на боку, лук в сагайдаке, небольшой круглый щит за спиной, копье длинное, аркан с седла свешивается. Кони невысокие, но крепкие. Рыжей масти. Сбруя простая. И чего это люди сказывали, будто разряжены степняки, словно на пир княжеский собрались?

Откуда взялись? Ничего не слышал. Поговаривали, что они копыта лошадям ветошью какой обматывают, чтоб шуму поменьше было. Нет ничего. Оно понятно, размотается невзначай, зацепится за что, запнется конь, тут всаднику, коли в бою приключится такое, смерть неминуемая. С десяток их, тех, которых видно. А которых не видно — есть ли? Один лук поперек седла положил, должно быть, он и пустил стрелу. Так целил, чтоб не ранить, не убить. Оно, конечно, к чести степняка. Со спины нападать не стал. Только ведь это на меня не стал. А на людишек беззащитных, на женщин, на стариков с ребятишками?.. И это не я к вам, вы на землю мою не званными пожаловали. Вам и ответ держать. Жаль, не научился у Рады языку ихнему. А впрочем, зачем сейчас язык?..

Все, как у Святогора научился. Кукушка б два раза прокуковать не успела, а уж застыл на дороге перед степняками богатырь, к бою изготовившийся. Щит на левой руке, верхний край чуть выше окончания наносника, обнаженный меч — в правой. Чуть поерзал в седле, прочно сидит, удобно; движения коня коленями чувствует.

Странно Илье как-то. В первый раз ему в настоящую схватку вступить. Хоть и бился до этого боевым оружием, а внутри понимал — до смертоубийства не дойдет. Сейчас же — не Святогор перед ним, не Рада — враг. Может, и не все из них прежде в сечах участвовали, но уж то, что промеж ними опытные воины имеются, тут спору нету. Эх, кабы один был, а то вон сколько высыпало. Впрочем, выбор невелик: или спину показать, или бой принять. Чего медлят? Боятся, что не один он? Добро, сами начнем. Ждать да догонять, как известно, хуже всего.

Стоило, однако, Илье чуть тронуть коня, как степняки завопили на разные голоса, похватали: кто сабли, кто арканы, и рассыпались ему навстречу. Не стали стрелами засыпать; мнят, должно быть, на веревке за конями в стан свой притащить. Слышал Илья, что у них это за доблесть великую почитается. Поглядим, какая вам нонче доблесть выйдет…

Отскочила сабля от щита, полетел на дорогу всадник, сбитый могучей грудью коня Ильи, еще один на сторону свесился, как

богатырь снизу вверх меч вздернул. Шалишь, сила вражья!.. Это вам не с мирными хлеборобами тешиться!..

Со стороны глянуть — ровно стая собак на волка посреди дороги набросилась. Ржание, топот, визг, лязг… На дыбы встают кони, взлетает и опускается железо, до плоти жадное. Разом откатывается стая, кружится вокруг, улучив момент, разом набрасывается. Не дают роздыху, времени оглянуться. Кабы не уроки, Радой преподанные, как степняки бой ведут, лежать бы богатырю на сырой земле, клыками-саблями порастерзанным… Но нет, держится Илья. Огрызается страшно. Бойся под взмах меча его угодить. Еще трое могли б об этом порассказать, да теперь уже ничего никому не скажут. Ушли в дорогу дальнюю, в Степь небесную.

Казалось бы, остальным наука, ан нет, вконец остервенели. Пластают саблями, только успевай уворачиваться, меч со щитом подставлять. Еще и конь помогает. Кто его и когда приемам выучил? Двоих уже поверг; одного прежде, а второго вот только что. Махнул передними ногами, на дыбы поднявшись, отлетел тот, ровно перышко. А Илья еще одного достал.

Отскочила стая вдругорядь, и вдруг… наутек бросилась. Врешь, не уйдешь!.. Нет пощады ворогам лютым. Только они и удирая зубы щерят. Летят навстречу Илье стрелы; на скаку, обернувшись назад, мечут. Ничего, и это знакомо. Сколько раз Рада показывала. Мог бы и сам стрелой снять, да как-то не по-богатырски это, в спину. Ну да все равно не уйти вам от возмездия справедливого, как не старайтесь. Чуют, видимо, коней вправо-влево бросают, ровно зайцы. Илью тоже, словно азарт охотничий охватил. Только и видит, что степняков удирающих, а о чем еще Рада предупреждала, и не вспомнит.

Тогда вспомнил, как из леса на место открытое вымахнули. Охолонул Илья маленько, так уж поздно. Угодил-таки в западню. Прямо на лагерь степняков выскочил, что вокруг города расположились. Так обложили, мышь не проскочит. Насколько видать, сплошь шевеление. И город сам виднеется, и вроде как река позади него, и холм по левую руку, чем-то на шелом смахивающий. Не на самой вершине, а пониже, там, где площадка ровная, шатер, должно быть предводителя ихнего. Еще несколько шатров в людском муравейнике различимы. Сколько его тут, войска степного, не счесть. И шум стоит. Как можно было его не услышать? Разве что сдуру.

А те, которые удирали, развернулись, скалятся. К ним еще на подмогу подтягиваются. И справа, и слева, будто из-под земли повынырнули. Оглядываться не стал; даже если и нет там никого, спины не покажет. О спасении нечего и думать; тут уж ничего не

поможет — утыкают стрелами, ровно ежа, не увернешься. И опять, как на дороге лесной, медлят чего-то. Даже вроде как нападать не собираются. Поглядывают в его сторону и о чем-то лопочут.

Потом ускакал один, во всю мочь. Те, что рядом с ним были, Илье руками машут. Не поймешь, чего сказать хотят. Так, по виду, успокаивают. Погоди, мол, не ерепенься. Ждут чего-то. Или кого-то. Ладно, подождем. Некуда торопиться.

Спустя время, возвращается. Мешок поперек седла перед собой везет. Подъехал к остальным, скинул, и оказалось, не мешок вовсе, а человек. Сгрудились вокруг него степняки, залопотали, в сторону Ильи руками машут. Потом расступились, концом копья толкнули, иди, мол. Глядит Илья, а человек-то вроде не из степняков. Наш человек. Тощий только больно. Рубаха едва не спадает, и порты непонятно на чем держатся. Даже веревку, в поясе перехватить, не дали.

Подошел, остановился. Рукой под носом провел, шмыгнул как-то по-детски.

— Михеем меня кличут, — говорит. — Послали меня к тебе бусурманы на беседу, чтоб, значит, предложение сделать.

— Переговорщиком, — невольно улыбнулся Илья, уж больно нелепо тот выглядел. Весен сорок разменял, а видом, ровно мальчишка. Даром что бородкой козлиной обзавелся.

— А ты не смейся. Хоть горшком назови, лишь бы не в печь. Так, значится. Предлагают тебе шатер белый, шелковый, роздых, еду-питье, какие пожелаешь, с одним условием…

Нахмурился Илья. Знаем мы ваши условия, да не на того напали.

— …чтоб ты завтра, чем свет, с богатырем ихним силой померялся.

— Это как же? — опешил Илья. — На кулачках, что ли?

— Да нет, не на кулачках. У них, вишь, — Михей опять шмыгнул носом, — свой собственный богатырь имеется. Только он в битву особо не встревает, потому — не интересно ему, а ищет себе поединщика. Себе и другим на потеху. Потому как никто против него устоять не может. Силища у него, даже с кем и сравнить, не знаю… Они все со зверем заморским каким-то сравнивают, по-ихнему *аслан*. Размером он с гору, с двумя хвостами, один спереди, другой сзади. Так вот передним хвостом он деревья вековые запросто из земли вырывает, а ежели веревкой обвязать, так не знамо сколько лошадей перетянет. А уши, поболее, чем крылья у орла.

— Ты это про кого говоришь, про богатыря? — не понял Илья.

Михей, хоть и стоял ниже, а глянул сверху вниз.

— Про *аслана*. Про зверя, с которым они его сравнивают, и который этих зверей один запросто десяток одолеть может.

— А мне что с того?

— Как, что? Это ж не мне, тебе с ним биться…

— С кем? С *асланом*?

— С каким *асланом*? С богатырем!..

— У которого уши, как у орла крылья?

Михей разинул рот. Помотал головой.

— Есть у них Буга-богатырь, — начал он снова. — Ему супротивника, что иному муху прихлопнуть. Коли ты согласен с ним завтра чем свет в бой смертный вступить, то нынче вечером все тебе будет, по твоему желанию. Ежели не согласен… ну, сам понимаешь, не маленький.

— А коли я его прихлопну?

— Ты-то?.. — недоверчиво протянул Михей, оглядывая Илью с ног до головы.

— Вот что степнякам передай. Коли я верх возьму, чтоб они осаду сняли, полон отпустили, все, что награбили, оставили, и зарок дали, на землю нашу разбоем ходить.

— Эвона, куда хватил, — с сомнением пробормотал Михей. — Скажу, конечно, чего ж не сказать, только вряд ли…

— Скажи-скажи. Ты ж мне сам вещал, мол, богатырь ихний по десятку *асланов* зараз бьет. Неужто с одним встречным-поперечным не справится?..

Как в воду глядел Илья. Услышали степняки, что Михей им передал, поначалу, видно было, в недоумение пришли, между собой переглядываются, переговариваются, в сторону Ильи посматривают. А потом расхохотались без удержу. Сказали что-то Михею, и большая часть по своим делам подалась. Остальные присматривать остались.

— Ну, чего? — спросил Илья, когда толмач приблизился.

— Чего, чего… — пробормотал тот. — Идем, в шатер отведу. Согласные они. Посмеялись даже, маловато, говорят, запросил. Степь великую, и ту отдали бы.

— Придет время, и степь наша будет, коли не угомонятся.

— Ты бы о себе лучше подумал, как завтра за свое согласие ответ держать будешь. Аль удрать надеешься?

— Не приучен я, удирать-то.

— Приучен — не приучен, не мне знать. А только коли попробуешь, раньше смерти помрешь. Ты не думай, что ежели они охрану не приставили, так и вовсе не приглядывают. Моргнуть не успеешь. Стрелы, окаянные, уж больно ловко мечут.

Пока до шатра добрались, разузнал Илья, что Михей в полон совсем молодым попал, что к работе неспособен оказался,

здоровьем слаб, а вот язык на лету схватывал. Потому и живой остался. Родом из-под Любеча. Не бежал почему? А куда и бежать-то? Да и убежишь — куда податься, к кому приткнуться? Здесь же напоен-накормлен, при деле вроде как. Обращение?.. Терпимое… Чернигов дней с десять осаждают. Не палят почему? Так им ведь палить не с руки. За добычей пришли, а ежели запалить, так зря и набегали. В рати умелые. Выходили горожане из-за стен — бились вровень. Подмоги ждать не приходится, обложили — мышь не прошмыгнет. А без подмоги не продержаться. Людей?.. Да, многих побили. Сколько — не ведает, а много…

Шатер себе Илья как-то по-другому представлял. Мнилось ему, как слово это слышал, нечто такое, из блестящего белого шелка, золотом расписанное, солнце али месяц вверху, полы распахнуты, возле — стража. А оказалось — грубого холста, о четырех углах, никакой тебе стражи, — оно и понятно, посреди вражьего стана, куда ты денешься? Веревки растянуты, к вбитым кольям привязанные, внутри — столб торчком, в полторы ладони толщиной, углубление в земле, с угольями, кусок ковра повылинявшего, и все.

— Располагайся, — кивнул Михей. — Сейчас повечерять принесу.

И вышел.

— Чурбан какой захвати, — крикнул ему вслед Илья. Вышел, забрал с коня оружие, занес вовнутрь. Снова вышел, расседлал, тоже вовнутрь. Седло под голову пойдет, оружие должно все время подле находиться, чтоб не изурочили. А чурбан вместо стола приспособить. Не степняк, ноги скрестив сидючи, вечерять.

Тут уж Михей вернулся. Принес кувшин с водой, хлеб, жареного зайца, репу. Чурбана не нашел поблизости — все в кострах пожгли.

— Коли еще чего надо, говори, попробую сыскать. А коли нет, мешать не буду, пойду, за конем твоим догляжу.

— А сумеешь?

— Не впервой. Жить у степняков, да не научиться… Ты вот что, окромя завтрашнего, ни о чем не думай. Ничего тебе плохого ждать не приходится. Потому, очень уж им смотреть нравится, как их богатырь из своих супротивников пыль выколачивает да веревки вьет. Всю ночь как зеницу ока стеречь будут, чтоб никто ничего.

Потоптался; видно было, что и сказать хочется, и слов нужных не находит. Наконец, — ежели что понадобится, зыкни, я тут рядышком буду, — махнул рукой и вышел.

А Илья, повечеряв, растянулся как можно удобнее на коврике, повозился немного, да и уснул, как в яму глубокую провалился.

Чего тут особо раздумывать? Тут отдых хороший надобен. Вся сила, вся смекалка завтра понадобятся. Высветит поединок, как ясное солнышко, богатырь он, али так, поговорить-погулять в чисто поле выехал. А «чему быть — того не миновать», это не про него, пока руки оружие держат.

Спал спокойно, без снов. Никто его не потревожил, как и обещался Михей. И дольше спал бы, коли б не шум вне шатра: степняки торопились к месту, где поединку быть назначено. Поутренничал, — Михей, пока он спал, кусище мяса жареного приволок, — остыло уже, ну да ничего, сойдет и такое — луку, кувшин со свежей водой. Придирчиво проверил оружие, попробовал, ладно ли сидит доспех. Подхватил упряжь, вышел, сразу оказавшись будто в муравейнике. Ни на кого не обращая внимания, — под руку не лезут, и на том спасибо, — оседлал коня, кивнул неподалеку застывшему столбом Михею, — ну, чего, мол, веди.

Повел. Илья прежде времени не стал в седло подыматься, сейчас лучше пройтись, поразмяться. Спокойно ему как-то, не то, что толмачу. Тому, сразу видать, не по себе. То ссутулится, то выпрямится, то по сторонам зыркает, то в землю уставится, то ветку сухую осторожненько переступит, то камень наподдаст… Илья же больше по сторонам поглядывает, что и как у степняков устроено, мало ли пригодится. Когда еще вот так в становище к ним попасть придется. Даже и не думает, почему-то, что одолеет его в бою смертном богатырь ихний. Ни силой, ни хитростью. Зато думает, хоть немного, а все осажденному городу передышка вышла — держат слово, не видать, чтоб возле стен копошились. Интересно, где они место выбрали для поединка?

А степняки и не думали особо выбирать. Где окружили его давеча, там и собрались. Площадку собой обозначали. Кто на земле сидит, кто стоит, кто на коне. И не сказать, чтобы много их собралось. Оно не диво — сколько таких поединков одинаково да быстро кончалось; как Михей проговорился — наедет ихний богатырь, прихлопнет супротивника, ровно муху, и все дела. Чего тут смотреть-то? Охота была, ноги бить. Где он, вражина? Не видать…

— Ну что, Михей, проводил, на том спасибо. Пока в сторонке постой, только далеко не уходи. Как одолею *аслана*, понадобишься.

— Зубы он скалит, — дрогнувшим голосом буркнул тот. — Ты хоть глянул бы для начала, с кем биться предстоит…

— Да как же я на него гляну, коли нет его?..

— Как же нет? Вон он…

Оглянулся Илья. Действительно, появился на другом конце

площадки его супротивник. Гора горой, и конь под ним такой же. Не отличить, где оканчивается одно и начинается другое. Дородный степняк, а до Святогора далеко. Недоволен чем-то: ишь, покрикивает…

— Чего это он?

— Ругается. Говорит: думал, мол, богатыря, мне под стать, увидеть, а этот… Не знаю, как и перевести.

— А ты никак не переводи. Сам погляжу, что за птица. Ступай покамест…

Взмахнул Илья в седло, изготовился неторопливо. Щит на руке как влитой держится. Копье жалом змеиным смотрит. Ну, не подведи, кузнецова работа. Счастье сумел сковать, будем надеяться, что и оружие не хуже.

Супротивник тоже изготовился. Шарахнулись в стороны ближние степняки, как свое копье поднял, оно у него, ровно оглобля тележная. И конь злой, нетерпеливый, копытом бьет. Посмотрим, квашня, каков ты в деле.

Разом ударили копья, разом и разлетелись в щепу. Треск раздался, будто у великана какого порты надвое лопнули. Вихрем промчались один мимо другого всадники, каждый в конец площадки, осадили коней, развернулись и замерли. Крик полыхнул над степняками; будь в небе облака, до облаков бы достал. Те, кому поединок не интересен был, чуть головами повели, плечами пожали, да и вернулись к своим делам; всего и потехи-то.

Неужто кто против нашего устоять сможет? А те, кто площадку окружил, так и замерли: глаза в гривну, рот — что нора барсучья.

Кинул Илья взгляд суровый на Бугу-богатыря, потащил меч из ножен. Тот, хоть и опешил немного, а воин опытный. Сабля в ручище — в ладонь клинком, не меньше. Сошлись посреди площадки, потчуют один другого железом острым, однако ж никому не по нраву такое угощение. Меч или щит саблю встречают, сабля или щит — меч останавливают. Казалось бы: велика квашня, ан зацепить-то ее ой как непросто! И сам степняк не лыком шит, и конь у него к схваткам привычный. То как заяц мечется, то грудью вперед без удержу прет. Однако ж и степняк ничего с Ильей поделать не может. Страшно свистит сабля, иного б с первого маху на полы рассекла, а тут, как в народе молвится, коса на камень нашла. Лязгнет, да и отскочит. Откуда только этому баатуру приемы боя известны, что дедами-прадедами в Степи оттачивались? Змеей вьется, чуть недоглядишь, ужалить может. Ни силы, ни ловкости не занимать. Да и не видать, чтоб уставать начал.

Бьются богатыри. Ни один верх взять не может. Уже и пар валит, что от них, что от коней их. Землю повздыбили, пылью мелкой вверх поднимается, окутывает поединщиков, оседает на лицах и доспехах. Уже стрелами быстрыми разнеслась весть по стану степняков, в которую поверить невозможно. Стоек оказался баатур неведомый, и никак с ним Буга не справится. Потянулись, чтоб своими глазами глянуть. Все теснее в толпе, потихоньку да помаленьку и размер площадки, где богатыри бьются, меньше становится.

Уже и солнышко посильнее припекать начало, уже и руки не так почасту вздымаются, даже железо не в прежнюю силу звенит, — и оно устало. Разъехались в очередной раз по разные концы, застыли. Махнул Буга ручищей, Михея зовет. Подошел тот, выслушал слова степняка, к Илье направился.

— Предлагает тебе, — говорит, подошедши, а у самого голос подрагивает от волнительной радости, и глаза горят, — на сегодня поединок закончить. Завтра продолжить. Негоже, мол, коли не искусством, а измором победа добыта будет. На правах хозяина предлагает, а ты у него вроде как гость будешь. Пока исход в чью-нибудь пользу не решится. А еще обещает, что коли тебе смерть приключится, отдать твое тело черниговцам, дать им день вольный на погребение и могилы твоей никому тревожить не позволит. Ловко ты его, — неожиданно хмыкнул. — Вот чего не ожидал, того не ожидал…

— Добро, — согласился Илья. — Только и ты ему напомни, чтоб не шли на попятную, коли моя возьмет.

Передал Михей. Гаркнул что-то Буга голосом зычным, разомкнулись степняки, дорогу давая. Повел Михей Илью обратно к его шатру.

— Ты теперь его, не знаю уж, как и назвать. Только он тебя убить может. Ежели кто вред тебе замыслит, не говоря уж о том, чтоб покуситься, он того надвое разорвет. Так что отдыхай спокойно, сил набирайся…

Где там, отдыхай спокойно. Нужно и меч заточить, и щит поправить, и доспех, куда сабля пришлась. Поглядел — и глазам своим не поверил. Зазубрины на клинке будто сами затягиваются, вот как рана на коже. Что же это за кузнец такой, опять подумалось, и что за железо, из которого меч сделан? А может и правду говорят, что нет вокруг ничего неживого, что все своею жизнью живет, не всем понятною, не всем заметною?..

Копье, правда, пришлось новое делать. Илья свое навершие подобрал, прежде чем в шатер возвратиться. А древки степняки принесли, несколько, на выбор. Без подвоха, без изъяна. Глядели, кто с интересом, кто со злобой затаенною, как выбирает, по руке

меряет. Но — никто ничего. Должно быть, и впрямь богатырь ихний на расправу крут. Ему честная победа нужна. Ему, может, в кои веки раз подходящий супротивник повстречался.

На другой день повторилось все. Началось чем свет, и закончилось ничем. Никто не взял верх. Ни искусством, ни силою, ни счастьем. Сидит Илья вечером у себя в шатре, — копье заново изладил, оно, как и давеча, щепой разлетелось, повечерял, но отчего-то не спится ему. Шум за полотном иной нынче. Вчера был вроде как удивленный, а нынче — резкий такой, будто делят что-то, да никак не поделят.

Чуть шевельнулась пола, мышь-полевка в гости пожаловала. Ну, хоть какой гость, жаль, угостить нечем. Только и осталась та корка, что погорелец на дороге отдал. Глядит на нее, хоть какое развлечение. А она шмыгает, во все стороны разом, и совсем не боится. Вспомнилось, поговаривали старики, мышь увидеть — хорошая примета. К добрым вестям. Обмишурились, значит. Откуда тут добрым вестям взяться? Нешто князь киевский с дружиной богатырской на выручку спешит? Так что сплоховала ты в этот раз, мышка-норушка… Помотал Илья головой, неужто морок приключился? Потому как нет никакой мыши, сидит, совсем по-собачьи, волчина огромадная, — глаза желтые, сама серо-бурая, лапы, — вот ежели случаются промеж волков богатыри, — именно такие и есть.

Знать, не сдержали слова данного, подослали волкодлака. Волк — зверь осторожный, в середину становища не сунется. Вздохнул Илья, ну, значит, так тому и быть. Коль удастся справиться, надо отсюда выбираться. К городским воротам пробиваться.

А волк вроде как встряхнулся. Пробежала дрожь от морды до кончика хвоста, и показался перед Ильей человек в доспехе, как у него самого. Ну, или почти таком. Русоволосый. Ежели по лицу судить, годами Илье равен, а ежели по глазам — постарше Святогора будет. Сел, скрестив ноги, совсем как степняк, прищурился, да и говорит:

— По здорову будь, Илья Иванович. Извини, что незваным заявился, — тут выбирать не приходится.

— И тебе по здорову, — отозвался Илья. — Не знаю только, как звать-величать.

— Неужто не догадался? — Незнакомец с сомнением покачал головой. — А ведь слышал… Кто Волхом кличет, кто Вольгой, кому как нравится.

— Вон оно что… — протянул Илья и с любопытством уставился на гостя, словно желая рассмотреть получше.

— Чего уставился, не на смотринах, чай. Знаешь, о чем

разговоры по становищу идут?

— Ну?..

— Злобятся. Не затем пришли, чтоб забаву богатырю своему устроить, — за добычей. А тут ты им — как кость поперек горла встал. Недоброе замышляют.

— То-то я и гляжу, шумят нонче как-то по-иному…

— Шумят — ладно, брехливая собака редко кусает. Извести тебя мыслят. Но только так, чтоб не в открытую. Чтоб с росстани сразу и вправо, и влево пойти.

— Это как это? — не понял Илья.

— А так. Подкинут, как заснешь, аспида ядовитого, а скажут — сам заполз.

— Так ведь слово дадено?

— Слово — оно до поры, до времени. Видать, приспела пора-то.

— То не слово, то — лжа.

— Тебе — лжа, а им — хитрость военная. Али сам не видал, как они спиной к противнику оборачиваются, чтоб в засаду заманить?

Посуровел Илья, нахмурился — туча тучей. Невольно к мечу потянулся.

— Нешто думаешь все войско ихнее в одиночку одолеть? — улыбнулся Волх. — Такое и старым богатырям не всегда под силу было.

— Сколько смогу, одолею, а с остальными — может, из города на подмогу кто выйдет.

— Не славно, в городе-то. Врасплох их застали. Многих побили.

— Ну, значит сам…

Снова улыбнулся Волх. Хитро так.

— Не затем я здесь, чтоб вот так, за здорово живешь, защитника земли нашей да ворогам на потеху и поругание. Замешкался я на пути, никак раньше не пришлось. На два дня ты степняков под стенами придержал, люди тебе за то в пояс поклонятся. Так что, Илья Иванович, ложись-ка ты спать, ни о чем не печалясь, дальше — моя забота. Верь слову, завтра к полудню не останется здесь ни одного степняка. Только — чур! — уговор: нет меня здесь, и не было.

Илья было рот раскрыл, — спросить хотел, — а Волх шмыгнул мышью под полог, и нет его. Нет, как не было. Или все-таки было?..

7. ПРЯМОЕЗЖАЯ ДОРОЖКА ЗАКОЛОДИЛА, ЗАКОЛОДИЛА ДОРОЖКА, ЗАМУРАВИЛА…

Легко сказать, спать ложись! Самому-то хорошо, сгинул мышью, и вся недолга. А ну как и впрямь аспида подкинут? Это ж не открытый бой, грудь в грудь, тут коварство людское. Супротив него кто выстоит? Но с другой стороны, коли Волх сказал, сомневаться вроде как смысла нету. И начал Илья припоминать, что ему про богатыря этого рассказывали. Вот только припоминать особо-то и нечего.

Будто мать его от змея зачала, от того-то земля содрогнулась, как на свет народился, от того-то и язык зверей-птиц понимает, и перекидываться может. Умом и хитростью в отца пошел, лицом — в мать. То-то в лице его что-то женское проглядывает, что ни борода, ни усы скрыть не могут. Силушкой не обижен, хотя и не чета Святогору. Рос, говорили, не по дням, а по часам, — это, понятное дело, сказки. Учился, будто бы, у волхвов, по лесам непролазным да горам непроходимым, и всех их мудростью превзошел. Ну, тут, как раз, ничего мудреного нету.

Как же он со степняками совладать собирается? Что там еще про него сказывали?

Отроком дружину собрал, в чисто поле выехал, славу да богатство искать. С богатством дело ясное, ему зверья пушного наловить, что иному таракана лаптем прихлопнуть. А что до славы… Собрался как-то царь заморский Киев-град повоевать. Князь и пригорюнился, потому как силы у царя того было — видимо-невидимо. Тут Волх и объявился. О чем они там с князем договорились, про то не говаривали, а только ушла дружинушка хоробрая ратью в это самое царство заморское. И ведь не просто ушла, а повоевала! Волх этот самый то ли мышью, то ли еще кем перекинулся, пробрался в войско царское, и погрыз там все, до чего добрался. И тетиву у луков, и упряжь, и одежду, даже порты… Пока дружинушка подоспела, врагам и воевать нечем. Да и не в чем.

Представил себе Илья зрелище: бежит это по чисту полю войско неприятельское, мечами машут, саблями, — и все как один без порток… Прыснул.

Так, что там дальше-то было. А дальше затворилось поневоле это самое войско неприятельское, беспорточное, за стенами высокими, воротами железными, в порядок себя приводить. От

этих стен-ворот только барану радость, лоб на крепость попробовать, а человеку таких ни за что не одолеть. Закручинилась дружинушка хоробрая: как быть, что делать. Разве головы буйные сложить под этими стенами. Один только Волх не унывает. «Этакому-то горю, да не помочь?» говорит. Обернулся мурашом, и дружину свою в мурашей обернул. Вместе с конями. Где вольготно, где впритирочку, пробрались сквозь стену, снова добрыми молодцами обернулись. Так и взяли на щит царство заморское. Там и остались. Нашли себе красных девушек, живут, горя не знают.

Оно, конечно, еще давеча не поверил бы ни единому слову, а нонче, не то, что давеча, своими глазами видел. Призадумаешься. Неужто опять подался луки с портами грызть?..

Шорох вроде как раздался. Аспид ползет? Осмотрелся, — нет, помстилось. Как там Велеслава учила? «На мори-окияне, на острове Буяне, стоит терем до небес, палаты камены, а в том тереме змея… как ее там… лежит… живет…» Знать — не знал, да еще забыл. Придется, видно, не спавши ночь коротать.

Вот и сидит, коротает, то о том раздумается, то о сем. Как вдруг опять померещилось что-то. Осмотрелся — никого. Потом понял. Шумит, вот как будто дождь подбирается. Идешь этак вот посреди леса путем-дорогою, зашумит-зашелестит в отдалении, не успеешь прислушаться толком, глазом моргнуть — налетит морось, и уже мокрый весь, с головы до пят. Только дождь, он такой, везде одинаковый, что ли. А тут шум неровный, с одной стороны глуше, с другой звонче. Поднялся, приподнял полог, выглянул.

Суета в становище началась. Чем-то сильно встревожились степняки. Забегали, как муравьи, во все стороны разом. Собираются, хоть небо еще и светлеть не начало. И не похоже, чтобы к городу приступать. Коли б суетились не в меру, подумал бы, испугались чего. Но не похоже, чтоб испугались. Споро — да, но не суетливо.

Хорошо, Михей рядом оказался. Схватил его Илья за шиворот, и к себе в шатер. Тот и пикнуть не успел.

— Чего это они? — спрашивает.

— Ты, Илья, хоть и богатырь, а кроме сего голову иметь должон, — буркнул тот недовольно. — Мало не придавил, как дернул со всей дури…

— Так не придавил же… А потому — сказывай, что тут такое творится…

— Не тут… В Степи у них замятня великая началась. Какой-то из *кангаров*, по-нашему — ханов, порешил всех прочих к рукам прибрать. Гонец посреди ночи заявился, весточку доставил. Им

теперь не до чего, им теперь как бы поскорее обратно.

— Гонец, говоришь… — раздумчиво протянул Илья.

— Ну да. Есть у них такие, особым образом обученные. Куда хошь доберется. А ловок — с вора шапку утащит, тот и не заметит. У каждого — знак особый опознавательный имеется. И вера им — беспрекословная.

— Значит, обратно в Степь… А ты куда?

— А куда я? Нешто выбирать приходится? Говорил же тебе, нет у меня тут никого. И позаботиться обо мне некому. А у них — одет, обут и не голоден.

— Насчет голоден, не знаю, а вот одет-обут… — прищурился Илья.

— Дурень ты, — с неожиданной горечью произнес Михей. — Хоть и богатырь, а дурень. По себе судишь. С мое хлебни, ковшом через край, а уж потом про одет-обут рассуждай.

— Ладно, не серчай. Я, может, тоже… через край. Про меня ничего не говорят?..

— Не до тебя им сейчас. Или, думаешь, они тебя с собой повезут, чтоб каждый день позорище устраивать?

— А слово, мне даденное? Что с полоном соделают, тоже бросят?

Вздохнул Михей.

— Они полон за собой не водят. Они его сразу в Степь, под охраною. Нет здесь никого.

Снаружи шатра послышался резкий окрик. Михей вздрогнул.

— Пора мне. — Он опустил голову, пожевал губами. — Кличут. Прощевай.

Вышел наружу, Илья за ним. Только и увидел, как подошел Михей к степняку, — тот его за шкирку, вздернул поперек седла, развернулся и подался себе.

Вот, к примеру, снег на покатой крыше. Лежит себе ровненько, играет под солнышком белым с золотом. А скатай снежок поболее, кинь умело — дрогнет, и поначалу ручейками, а там уж и речушками, обгоняя сам себя, потечет вниз, к краю крыши, а там уж и ухнет где хлопьями, а где комьями. Так и вокруг Ильи: где отдельные всадники, где группы, где вереницы, потянулись к дороге, на которой он недавно свой первый бой принял, сливаясь там в широкую ленту, пропадавшую в лесу, ровно вода в водовороте.

Сколько ж их тут? А сколько еще в Степи осталось? Коли всей силой навалятся, никакая дружина не удержит. У того и конь получше, и оружие, супротив другого, — да разве есть в том разница, что за размер у саранчи, на поле твое налетевшей — с палец али с ладонь? — числом больно уж велики и прожорливы

не в меру. Тут в одиночку ни один князь не справится, хотя бы и киевский, тут всем миром нужно. Как в деревне, при пожаре. Полыхнул дом — одной семье никак не сдюжить, а ежели всей деревней взяться… Оно, конечно, и всей деревней можно не сдюжить, но все ж таки надежды поболее.

Утекают степняки. Редко кто в его сторону взгляд бросит. Буга-богатырь стороной миновал. Этот приостановился. Тяжело посмотрел, и вздохнул тяжело. Ну да ничего, глядишь, доведется еще встретиться, коли жадность опять в землю нашу приведет. Тогда спор и решится. На миг представилось Илье поле широкое-преширокое. Синь небесная, над травами мягкими. И две рати, одна против другой. По одну сторону — Степь дикая, до грабежа жадная, по другую — собрались все князья, сколько ни на есть, объединили дружины, единой грудью встали на защиту земли родной. Из конца в конец протянулись рати, конца-краю не видать. Скольких оплакивать будут, коли в сечи смертельной сойдутся. И вроде как голос ниоткуда, да такой громкий, чистый и ясный, что каждый его слышит, каждый понимает. И говорит этот голос, чтобы сразились посреди поля, перед ратями, два наисильнейших богатыря, и кто победит, тому и условия ставить. Коли степной богатырь верх одержит, платить дань Степи во веки вечные, а коли наш, чтоб и духу степняков возле границ не бывать. Раздалась Степь, вырвался изнутри нее Буга-богатырь, вот как сейчас мимо проехал. А из нашей рати — он, Илья, суровый, возмужалый. Мелькнуло видение — и пропало. Снова Илья посреди становища, посреди потока людского, обмелевшего.

Правду сказал Волх — еще до полудня никого под стенами не осталось. Только один его шатер пнем торчит, степной подарок. А на городских стенах волнение. Не могут люди поверить в избавление свое. Где ж это слыхано, чтоб дикие вот так запросто ушли, не солоно хлебавши? Они ж завсегда, коли ухватить не в силах, стрелами огненными засыпали. И что это там посреди поля оставили? Может, это ихний волхв какой-то, чары насылать будет, а они тем временем в место безопасное схоронятся?

Нашлись храбрецы, наведаться, посмотреть; не век же за стенами прятаться. Выехали те с опаскою из ворот, запирать за ними не стали — на всякий случай. Держаться доглядатаи кучкой, коней не торопят. Одно дело со степняками грудь в грудь, они хоть и воины, а все ж таки люди; здесь же пока неведомо что схоронилось. Храбрость без должной оглядки, она до хорошего не доведет. Смотрят, а неведомо что само им навстречу шествует. Человек как человек, и вроде даже на них похожий, не из диких. И оружие нашенское, и доспех. Идет себе без опаски, коня ведет в поводу. Остановились, подождали, пока приблизится.

— Ты, мил человек, погодь пока, — крикнул один. — Ты нам ответь поначалу, да по правде. Как тебя звать-величать, откуда родом, по какой надобности?

— Звать меня Ильей, по батюшке — Ивановичем, родом из земли Муромской. В Киев мне надобно, да вот заплутал ненароком…

— А у степняков как оказался?.. — опять спросил кто-то, а другой пробормотал: — Ишь ты, откуда занесло. Земля Муромская, чай, не ближний свет. По выговору — и впрямь из калачников. Погоди, со степняками-то. Бывал я в тех краях, поспрашаю малость…

Ну, и начал Илью про город спрашивать, про деревеньку их, про местность окрестную. Отвечает Илья, как может. Выходит вот только не совсем здорово. Откуда ж ему знать, где кузнечный ряд, где палаты купеческие, где еще что. Вот и приходится отвечать: «говаривали, что там-то», «слышал, что там-то». Пустое все; однако ж, как говориться, соврать — негоже, да и себе дороже.

— Да что ты нам все: «говаривали», «слышал», ровно нигде и не бывал? Ты вообще-то, окромя деревни своей, выезжал куда, али нет?

— Случалось, — спокойно отвечал Илья.

— Случалось… — поддразнил спрашивавший. — Лапотник. Сидел, небось, всю жизнь на печи, да ел калачи. А еще доспех воинский нацепил, оружие… Владеешь чем, или для острастки, чтоб не приставали? Ряха-то, вишь, какая.

— А ты спробуй, — по-прежнему спокойно предложил Илья.

— Придет время, спробуем. Скажи теперь, как к степнякам попал, да что у них делал.

— Так говорил же прежде: заплутал. А что делал? Блинами потчевался, ряху наедал. Веришь, нет?

— Чего ж не верить, правду — ее за версту видать… Может, ведаешь, чего это они оглобли повернули? То не высунешься — враз стрелу схватишь, на стены лезли, ровно муравьи, то вдруг стихли на пару дней, а затем и вообще восвояси подались? Что у них там на горке приключилось?

— На горке-то? На этой-то самой горке меня Буга-богатырь блинами и потчевал. Слыхал про такого? Я ему теперича ближе брата родного. С любого шкуру спустит, коли меня хоть пальцем тронуть посмеет.

— Чем же это ты ему так угодил?

— А тем, что не больно любопытный.

— Ишь ты, ежака… Слыхивали мы про Бугу. Ты хоть и дороден, а куда тебе супротив него. Вздуть бы тебя хорошенько, за лжу.

— Так я чего… Могу и булаву свою одолжить, на дело доброе. Держи.

И Илья легонько так подкинул булаву допросчику. Тот ловко ухватил ее одной рукой за рукоять, и, не успев выпустить, грохнулся на землю, вывалившись из седла. Будто неведомая сила выдернула. Стоявшие рядом кони, заржав, испуганно шарахнулись, створки городских ворот подались в стороны: то ли чтоб посланных обратно принять, то ли чтоб подмогу выпустить.

А Илья стоит себе спокойненько, голову склонивши, в небо чистое поглядывает, будто и не причем. Едва посланные с конями совладали, напустились на него. Бранят, на чем свет стоит. А упавший поднялся тем временем, ничего не понимает. Крутит булаву за рукоять, мало дыру в земле не выкрутил, поднять же — никак. Бросил наконец.

— Да ну его, — сказал беззлобно. — Этакая-то тяжесть небось одному Святогору под силу. Забирай. — И товарищам своим. — Из наших, должно быть. Экую дурь учинил. Степняку в жизнь не додуматься. Стало быть, не врал, про Бугу-то? — Это он опять Илье.

— Про Бугу не врал, — Илья подошел, поднял булаву, — про блины врал. Случаем я на степняков вышел. Попал на пепелище, что от селения осталось, мне там один погорелец рассказал малость, как все было. Разгорелось ретивое, решил поквитаться, и в засаду угодил. Обманули они меня. Ну, а как здесь оказался, потешиться решили, отдать *аслану* своему на растерзание. Пришлось согласиться, сами видели, сколько их… Только уговором поставил, чтоб пока не одолеет меня Буга ихний, город в покое оставили… Ну, и еще кое-чего…

— Вон оно как… — раздумчиво протянул горожанин. — Так ты, значица…

Илья пожал плечами.

— Ну да, как-то так…

— Выходит, в долгу мы перед тобой…

— С чего бы это? — опешил Илья.

— С того, про что ты умолчал. Выходит, это из-за тебя степняки осаду сняли… Выходит, это ты город наш от разорения спас… — в упор глядя на Илью, очень медленно произнес горожанин и вдруг, сорвав с себя шелом, поясно поклонился.

— Да ты что, что ты! — подскочил к нему Илья, ухватил за плечи, приподнял и прижал к груди. — Не тебе мне, а мне вам в пояс кланяться надобно. Не за себя вы стояли-держались тут, за всю землю нашу, матушку. Не пустили дальше ворога лютого, разорителя хищного…

Видя такое дело, и остальные спешились. Зовут Илью в город,

спасителем величают, как ни отнекивается. Мало не насильно повели. А на стенах дивуются, не поймут, чего и подумать: то ли приветили незнакомого приветом особым, то ли повязали.

Дошли до ворот, те распахнулись во всю ширь; слова еще не было молвлено, а уж понеслась мысью по домам-теремам весть радостная, разрастаясь толками да небылицами, что прознал про беду ихнюю князь стольнокиевский, выслал им на помощь богатыря сильномогучего, самому Святогору под стать. Те, кто на стенах, мол, сами видали, как подъехал он ко силушке великоей, что город взаперти держала, как он стал-то эту силушку великую конем топтать да копьем колоть, а и побил он эту силушку великую, смертным боем всю, до единого, всего за два дня и две ночи. И хотя не так все было на самом деле, а только попробуй кто поперек слово сказать — хорошо, ежели просто на смех поднимут, так ведь могут и трепку задать. Нашел время, когда с правдой своей сунуться, да и неправда это, коли все вокруг в один голос иное поют. Еще и про то вспомнили, как прежде богатыря оборону держали. Тут каждый, даже из тех, кто носа высунуть не посмел, припоминал, как выходил за стены, как летели влево вправо враги поверженные, от одного вида его устрашающего, не токмо что от «ка-ак размахнулся, да ка-ак дал…» Ну, богатырь, оно, конечно, тоже помог, не без этого… Но — потом…

Разойдутся-разлетятся вскоре по всей земле великой, от края до края, песни народные про победу великую, смешаются в них правда и вымысел, но разве в этом главное? Главное — оно ведь в том, что сдюжили, что одолели ворога, пример подали внукам-правнукам, а остальное — так себе, случаем приплелось.

И такая радость в городе, через стены выплескивается. Зовут Илью к себе старшим над дружиною. Кому ж, как не ему, во главе ратников стоять, которые хоть завтра походом, — гнать степняков за горы высокие, моря глубокие…

— Ай же ты, удалый, добрый молодец! Ты бери-ка у нас злато-серебро, и бери-ка у нас скатный жемчуг, и живи у нас, во городе Чернигове, и слыви у нас воеводою. Будем мы тебя поить-кормить: вином-то поить тебя допьяна, хлебом-солью кормить тебя досыта, а денег давать тебе до-люби…

В общем, душа нараспашку. Коли любовь — так до исподнего. Как ни отнекивался, не слушают. С таким-то богатырем, да с таким-то народом, мы не токмо что степь погоним, мы самым главным городом станем, куда там Киеву!.. Не знал, как и выкрутиться, пока случаем на корку черствую не наткнулся, погорельцем данную. Он ее из сумы достал, тряпицей обернул и поближе к сердцу пристроил. И как-то она все знать о себе не

давала, а тут рукой повел, мешает что-то.

Улучил минуту, отвел в сторонку Сороку, — так горожанина звали, что его под стенами допрашивал; он с той поры чуть не первым лицом в городе стал, — да и рассказал ему о встрече той.

— Понимаешь теперь, почему не надо мне ни злата-серебра, ни скатного жемчуга, почему не жить во городе Чернигове, и не слыть у вас воеводою? Не просто так в Киев спешу. Задумка у меня есть, чтоб собрались в дружине киевской все богатыри со всех концов земли нашей, чтоб встали они заедино не только за Киев с Черниговом. И то пойми, негоже нам промеж себя собачиться, который город набольший. Коль не станем в ладу жить, погибель нам всем скорая. Не от одного ворога, так от другого, — была бы шея, а хомут найдется. Держи вот, — Илья разломил корку надвое, одну половину протянул Сороке, вторую сунул в рот. — Врать не буду, не знаю, как меня в Киеве примут, а только как вспомню, сколькими пожарищами степняки путь свой до Чернигова отметили, все внутри переворачивается. Не усидеть мне у вас… — Вздохнул. Потом спросил: — Дорогу покажешь?

Сорока медленно жевал корку. Мотнул головой, словно отгоняя что-то, кивнул.

— Ты, Илья, не серчай, но коли народ тебя просит, так и быть бы по сему, такова моя думка. Но тебя, видно, и на цепях не удержать. И на том спасибо, что выручил. Коли сбудется твоя задумка, исполать тебе, а коли нет… Обидишь ты народ отказом своим, сильно обидишь, в другой раз не позовут… А дорога… Не одна тут дорога, целых две. Одна — прямоезжая, верст двести, говорят; другая, окольная, и не сосчитать, сколько. Тебе какую?

— Которую покороче. Чтоб скорее.

— Ну, насчет покороче и поскорее, про то бабка надвое сказала. Прямоезжая дорожка заколодила, заколодила дорожка, замуравила. Серый зверь тут не прорыскивает, черный ворон не пролетывает, так-то вот.

— С чего это?

— А с того, что есть там по пути речка Смородина. Да что там речка, — речища, поболее версты. Была там когда-то переправа обустроена, была, да сплыла.

— Так чего ж сызнова не обустроили?

— К чему? Все равно дорогой этой давно уже никто не пользуется.

— Ты прямо говори, не крути. Чего там такое невиданное.

— Виданное — невиданное… Вроде как поселилось там чудо чудное, диво дивное. Обличьем, кто говорит — человек, кто — иное, на птицу похожее. По прозванию — Соловей. И такой это он огромадный, что устроил себе гнездо аж на семи дубах…

— Это ж какое гузно отъесть надобно, — хохотнул Илья.

Сорока осекся; было видно, что ему это никогда и в голову не приходило. Захихикал мелко, хлопнул себя ладонями по коленям, погрозил почему-то Илье задранным вверх перстом, и продолжал.

— Так вот, Соловей этот самый, собака, он и свищет-то по-соловьему, и шипит-то по-змеиному, а как воскричит-то он, злодей, по-звериному, так желты пески со кряжиков посыпаются, темны леса к сырой земле клонятся, а что есть людей, все мертвы лежат! Во как!

— С чего ж это он то самое наел, что иначе как на семи дубах не помещается? — снова хохотнул Илья. — Коли по дороге той никто не ездит, не хаживает? Брешут люди, а ты веришь. Сказал бы просто — поселились там в чаще лесной люди лихие, и никто с ними справиться не может. Другое дело.

— А я что слышал, то и поведал, — обиделся вдруг Сорока. — Сказывали б про лихих людей, и я б сказал. Ты коли такой умный, сам разбирайся, что да как. Силушки, вон, не занимать стать. Показать дорогу — покажу, а смеяться вздумал — сам ищи.

— Ну, ну, — примирительно сказал Илья. — Не петушись. Говори, что еще про дорогу ведомо…

— То брешешь, то расскажи, — досадливо буркнул Сорока. — Чего рассказывать-то? Сам увидишь, коли на свою голову выбрал. Когда отбыть собираешься?

— Пособлю немного город в порядок привесть, где силушка надобна, да и в путь…

Думалось, несколько дней и прогостит-то всего, а дел оказалось, дён на десять. И на большее б задержался, да надобно поторапливаться. Обо всем и не скажешь, что переделано, а только по первости с теми простились, кому щедрые стрелы да железо степное достались…

* * *

…Вышли до света, только-только развиднелось. С кем мог, Илья попрощался накануне. Как за ворота вышел, поклонился спящему городу, и побрел за Сорокой, вполне оправдывавшем данное ему имя, потому как стрекотал без перерыву. Идти было недалеко, не более версты, а у Ильи, к тому времени как добрались, такой звон в ушах стоял, ровно кто колотушкой по голове настучал. Пока шли, Илья сто раз выговорил себе, что идти надо было одному, тем паче что приметы такие — не заплутаешь. На деле же все обернулось иначе.

По рассказу Сороки выходило, что прямоезжая дорога

начинается сразу промеж двух дубов великих, что переплелись ветвями и образовали будто ворота. Под ними в незапамятные времена разбойник, со странным прозвищем Баклуша, устроил погреба медные, в которых прятал награбленные сокровища. Он же и пометы на дубах оставил, кто и как те клады заговоренные добыть способен. Только никому пока что их не токмо что добыть, но даже и найти не удалось. Не смущаясь этим, Сорока, должно быть, с треть версты вещал, что именно и где расставлено по погребам, в каких сундуках и сколько хранится злата-серебра, да камений драгоценных, да оружия, да расписного шелкового платья… Без папоротника, без разрыв травы нечего и думать взять. Там, на дубах на этих самых, поначалу птицы хищные гнезда обустраивали, ястребы. Должно быть, за поклажей присматривали. Орали, налетали, как кто возле с лопатой и киркой появлялся. А потом делись куда-то, а дубы облюбовали вороны, птицы, как известно, совершенно без понятия. Эти не токмо орут, но еще всей стаей непотребство совершают. Тут уж не отговоришься, что, мол, ходил пни корчевать; за версту видно — куда и за чем ходил…

Как ни старался Илья его про дорогу порасспрашивать, мало что еще вспомнит, Сороку постоянно сбивало на клад. Уже когда подходили, он вдруг спохватился, и начал странно поглядывать в сторону Ильи, явно что-то прикидывая в уме, однако вид богатыря был таков, что проводник только тяжко вздохнул.

Дубы оказались под стать рассказу. Один отстоял от другого на добрых двадцать саженей, так что переплестись ветвями со своим соседом никак не мог. Да и насчет величины… Откуда ей взяться, коли вокруг них все изрыто-ископано? Позаросло-позасыпалось, однако ж видно… Как только не засохли. Это ж какое дерево выдержит, коли ему корни каждый день баламутить? Ну и отметины какие-то… Кора как кора, ничего больше. Если уж тут такое наплели, чего ж от дороги заколодившей-замуравившей ждать надобно?

Сорока долго задерживаться не стал. Пробормотал: «Ну, бывай здоров…», повернулся, да и побрел себе потихонечку обратно. А Илья призадумался. Можно, конечно, верхом; двести или сколько там верст до Киева — не так чтоб совсем уж далече. Только вот дорогу эту самую, позаброшенную, и на ней стоя, не разглядеть, куда там сверху. Сверху вся она деревами прикрыта, в кустарниках попряталась. По-хорошему, ее расчистить надобно б. За скотиной али там человеком не поухаживай, недели не пройдет, все носы в сторону воротить будут. Так ведь и за дорогой досмотр требуется. Пока ходят-ездят по ней, вроде обустроена, а подзаброс на чуток, тут тебе и бурелом, и трава

ползучая, камни ни весть откуда. Сказывают, будто такое случается — посреди ровного места нет-нет, да вдруг камень покажется. Все камни, как камни, чем тяжеле, тем глубже в землю зарываются, а эти, хоть и обычные с виду, наоборот, из земли наружу выбираются. Брешут, должно быть, а вдруг?..

Ишь, как позаросла вся, колеи едва-едва видимы. Не понять, какой ширины была. Трава, как на подбор, жесткая да колючая, а по краям ее — лопухи с серпухой пристроились. Кое-где уж и деревца молодые пробиваются. Вот и первая валежина. Сосну здоровенную молнией, должно быть, опалило, а бурей вывернуло. Здорова стволом — до пояса, не пройти. Уперся плечом, крякнул, поднатужился, выдавил в сторону. Пока двигал, тут тебе и змеи, и живность всякая мелкая из-под валежины наутек выплеснулась. И столько ее оказалось, что ежели б каждая человеческим языком сказать могла, — ну, мол, за какой надобностью потревожил, — непременно б оглох.

С полверсты не прошел, другая такая же. Лежит — дожидается. Пришлось и ее в сторонку. С третьей же промашка вышла. Уперлась во что-то, и никак. Туда-сюда пошатал, не идет. Разозлился, поднажал со всею силушкою — убрал с дороги. Зато елка, в которую валежина упиралась, как есть из земли вывернулась и поперек дороги грохнулась. Хорошо, никого рядом не оказалось, а то с языка такое сорвалось, как только еще с десяток не попадало. Чего прямиком поперся? Али просил кто? Сто лет никто не хаживал, и пусть бы себе дальше не тревожил. В городе всем сказал — торопится больно, а тут застрял, не вылезти. Тут верст пять за день — уже хорошо. А нет — так иначе как к старости до Киева и не добраться…

Сколько так пробирался Илья, попутно дорогу расчищая, и не припомнить. Оно кабы только в дороге дело. А снедь какую раздобыть, а воду? Это лишь кажется, что в лесу с голоду не помрешь. Конечно, грибы-ягоды-коренья завсегда найдутся, ежели совсем худо, и лужа какая отыщется, ан с такого-то стола недолго и ноги протянуть. Особливо коли птицу со зверьем, какие луком да стрелой добыть можно, шумом пугать. А шум от работы Ильи такой идет, что коли не в Киеве, так в Чернигове точно стены шатаются…

В общем, и хлопотно, и голодно, и чтоб уж совсем под завязку — забрался Илья в болото. Поначалу, пока не осознал, удивился и даже порадовался: дорога виднее стала, травы-кустов поменее, все деревья в основном, кряжистые такие, ветвистые, теньком приятным укрывают. Ну, конечно, корни — где в руку, а где и в две, — землю взбаламутили, торчат змеюками, — дело поправимое. А там лужи пошли встречаться, все ширше да

ширше, зелень какая-то с ветвей свисает, ровно косы девичьи. Гнильцой легкой потянуло, водой стоялой. Сказывал Сорока насчет Черной грязи, только не думал — не гадал, какая она. Оказалась, не черная вовсе, а местами синяя, местами бурая, темно-зеленая с коричневым.

Потом и вовсе веселей пошло, как на гать полусгнившую выбрался. Прежде широкая и надежная — ишь, какими стволами выложена, — нынче не поймешь, куда ступить. Вот лежит лесина — затвердела, как камень, а рядом с нею — как повыел кто-то всю. Ступи на такую, мало провалишься, так ведь еще и застрять можно, не в подъем. Ори — не ори, не докричишься. Обходного же пути никакого не видно. Либо вперед, либо — повертай оглобли. Направо глянешь — зелень сталая, торчат из нее местами бугры, а на них деревья странные, будто кто взял за верхушку, да несколько раз обернул. Или, вон, одно. Его пополам переломило; торчит пень зубастый, к нему ствол приклонился, еще зубастее. Пень корнями из кочки выбился, с ветвей же ствола приклоненного листва слетела давно и торчат они, голые, из воды, ровно другие корни. С одной стороны — корни, с другой — корни, а верхушки нету. Чем не диво? Топляк повсюду, цветы духом ароматным голову кружат, шныряет кто-то постоянно, квакает, скрипит, ухает, бормочет.

Это — по правую руку картина такая. Повернул Илья голову влево — а и там так же. Саженей эдак на сорок видно, далее же, ровно дымкой сероватой заволокло.

На сколько ж она тянется, грязь эта самая? Да и кому вообще в голову взбрело, дорогу прямоезжую прямо по болоту мостить? Нет, чтоб пару верст в сторону взять, или сколько там, зато по твердой земле. Где там… Не привыкать, авось сдюжим… Сдюжили… Хорошо, копье есть, им, как слегой, гать перед собой пробовать можно.

Булькнуло что-то неподалеку. Глянул Илья в ту сторону, так и есть. Примостился на топляке, сидит, смотрит. Пузо здоровое, ножки короткие, руки худые да длинные, такой длины, что лапти снять — нагибаться не надо. Глаза — как у совы, в половину лица. Волосищи торчат, что твой ёж, борода на пузо свешивается. А в остальном — человек человеком, несуразный только. Сидит себе, и смотрит. Не говорит ничего, не делает. Просто сидит, глазами лупает. Пройдет Илья сколько, — подымется, прошлепает по трясине, усядется впереди и опять лупает. Досадно, сил нет. Все больше Илья спотыкаться и поскальзываться стал; а кто не стал бы, коли б на него вот так таращились? Про *хозяина* сказывали, как себя с ним в общении держать, а про *этого* никогда не слышал. Понятно, вежество

соблюдать надо, здесь он дома, ты же — в гости пожаловал, не будучи зван. Только как же соблюдать, ежели вот так: сидит, и лупает, и молчит, и ничего не делает? Правду сказать, оно и лучше, что ничего, спокойнее как-то. Спокойнее-то спокойнее, но досадно, коли ты ногам своим не хозяин, а на тебя эдак-то смотрят.

— Тяжко?.. — неожиданно проскрипел болотник.

Илья мало в трясину не шмякнулся.

— А то…

— Тут еще ничего, там, дальше, тяжеле будет. Там больше бревен погнило.

Дать бы тебе булавой… Порадел.

— Давненько ко мне никто не заглядывал. Что так?

— Встречал, должно быть, худо.

— Худо — не худо, а кого приветил, тот уж не пожалуется.

— И многих приветил?

— Сколько ни есть, все мои. Только вот, смотрю, перестали чтой-то туда-сюда шастать. Аль случилось чего? Аль меня перепугались?

— Может, и так, а может, и эдак. Чудо, говорят, невиданное за рекой Смородинной поселилось, не дает проходу ни конному, ни пешему. То ли человек, то ли птица. Соловьем кличут. Не слыхал про такого?

Болотник ответил не сразу.

— Слыхал, как не слыхать. Так ты, стало быть, решил с ним силушкой помериться? Ну, раз головы не жалко, выбирай, — он повел рукой окрест себя. — И ездить далеко не надобно… Приму, как дорогого гостя.

— С чего бы это мне самому в трясину лезть? Обойдусь как-нибудь и без твоих приветов.

— Как ты там говорил: может, и так, а может, и эдак. Не тот ли это самый Соловей, что и свищет, и шипит, и ревет?..

— Откуда мне знать? Должно быть, тот.

— Коли тот, — знай: он не просто свистит, на свист его любая птица откликается; он не просто шипит, на шипение то все змеи выползают; не просто ревет, всякий зверь на рев тот спешит. Никому против него не устоять.

— Да неужто?

— Ты поначалу пойди вон, гнездо шершней потревожь. И воюй с ними потом, хошь — мечом, хошь — дубиною. Много ли навоюешь? Или, вон, гадюку болотную…

Илья глянул на деревянный настил под ногами.

— Не робей, у меня зверье тихое. Ты его не потревожишь, и они тебя не тронут.

— Да я вроде как не из робких.

— Это хорошо, что не из робких. Еще б умом где поразжиться да вежеством, прежде чем Соловья воевать, была б цена молодцу… А так… Ступай себе, как знаешь. Тем паче, что пути обратного тебе все равно нету.

Оглянулся Илья — и впрямь дорогу обратную ровно дымкой заволокло. Впереди — видать, а позади — туман сплошной.

Вздохнул Илья. И рад бы себя смирить, только муторно внутри. Вот как с лягушкой разговаривать.

— Что ж мне теперь, в ножки тебе поклониться, чтоб уму-разуму научил? — буркнул с досадой.

— Не, этого не надобно. Начнешь кланяться, глядишь, еще лбом своим остатние бревна побьешь. Задаром научу. Или почти задаром. Ежели через реку переправишься, увидишь ракиту. Срежешь прут прямой, в три локтя длиною. Там же гнездо птичье. В нем — перо. Волосья из бороды выдернешь. Ну, а больше тебе ничего и не надобно. Коли б ум был, догадался б, о чем речь веду, но уж коли нету, может, смекалка поможет.

Сполз с топляка, и пошлепал себе в глубь болота.

Илья же дальше подался. Вестимо, вперед, обратной дороги нет. Тычет копьем в бревна, а сам думку думает. С чего бы это болотник его не просто отпустил, но и совет дал? Какая-такая ему в нем нужда? Чего они там с Соловьем не поделили? Оно, конечно, тот дорогу заступил, народ ездить перестал, — болотнику скучно стало. Никто мимо не ездит, и вообще в сторону эту не наведывается. С другой стороны — вроде как спокойнее. Не любят люди болотника; случись чего, могут и пал по болоту пустить. Повыгорит трясина, повысохнет, куда ему деваться? Кто его у себя приветит? Только одно его и спасает — человек, он хоть и вспыльчив, а отходчив; много чего на самом страшном болоте для пользы человеческой имеется, нельзя его вот так, за здорово живешь, палом палить. Припугнуть болотника, коли совсем невмоготу расшалился — одно дело, а чтоб болото вчистую истребить, как бы пожалеть потом не пришлось. Тут и охота, и грибы-ягоды, и травы для зелий. Сгинет болото — и ничего этого не останется. Что же до болотника… Никому он не люб, кто ж спорит? Но и то в виду иметь следует — кому какое место отведено, тот там и живет. Каково место — таков и хозяин. А ежели руку на сердце положить, так и не больно-то зловреден. Ты, коли по надобности какой на болото прибрел, поосмотрительней будь, поосторожнее, дрын какой подбери да дорогу перед собой прощупывай. На авось понадеешься, — не пеняй. Не лягушка, чай, чтоб по трясине без оглядки скакать. Вспомнить, сколько народу с болота не вернулось — сразу и не

вспомнишь. Сколько ходят — столько и возвращаются. Больше пугают…

Что он там насчет ракиты говорил? Прут прямой, в три локтя длиною… Это где ж такой отыскать? Вон, у нас, возле реки да речки, ракит полным-полно, только ветки у них все больше гнутые да изломанные. А чего делать прутом, коль найдется? Пороть Соловья, что ли, прутом этим самым? Так он не согласный будет… К тому ж, что его месту, которым он семь дубов зараз накрывает, хворостина в три локтя длиною?.. Перо еще какое-то выдумал. Нешто у Соловья своих перьев мало? А волосья из бороды своей натеребишь… Из твоей бы, вот тогда б дело было… Что и рассуждать, надсмеялся, и все…

Насчет же того, что дальше тяжеле будет, не соврал. Больше бревен погнило, дряни всякой скользкой поналипло. Снова подумалось — чем только думали, когда дорогу вели? Хотя, конечно, по тем временам, может, она и ничего была. И лес повеселей, и грязи эти черные поменее. Сколько он за день отмахал, пока кончились? Верст с десяток будет, а то и все пятнадцать. Можно сказать, ни разу не присевши. Еще с версту прошел, как болото закончилось, тут и заночевал.

Снова лес начался, обычный, не страшный, хотя и темный. Даже странновато как-то — лиственный, — и темный. У них возле деревни солнышко по березняку золотом рассыпается, аж глазам иногда больно становится, а тут… Обычный, но невеселый, печальный какой-то. Вот по этому-то лесу, долго ли, коротко ли… Это в сказках коротко бывает. А в жизни, как правило, долго. Сколько верст Илья за спиной оставил, сколько впереди лежит, не ведает. К тому же, скрадывает лес расстояние. Сколько шагов вон до того дерева? Редко, когда угадаешь. Да и похоже все: сделал десяток шагов — справа дерево, слева пень. Еще десяток: слева пень, справа дерево. Хорошо, хоть не совсем заросла дорога, проглядывает сквозь траву да поросль… Скорей бы уж река показалась, что ли…

Словно услышал кто. Еще пару дней, и вышел Илья из леса, на взгорке стоит. Ну, взгорок-то он взгорок, только невысокий; с него по зиме ежели на салазках, так особо и не разгонишься. А внизу, не далее как в полуверсте, за лугом пойменным река течет. Крякнул Илья, что значит — от страха глаза велики. Или не от страха, — только это все равно, потому как речища, шириной поболее версты, о которой Сорока сказывал, вовсе таковой и не оказалась. Коли отсюда судить, так ее из лука стрелой перекинуть можно. Тот берег — совсем пологий и заросший, к самой воде кусты и деревья подступают. Проем виден, где дорога с той стороны в лес уходит. И с этого берега, и с того, бревна из воды

торчат, знать, в самом деле была когда-то переправа. Погоди-ка… Будто ладья на том берегу в кустах приуткнулась…

Ладно, сейчас к воде, напиться, самому поплавать и коня искупать. Последний раз в ручье полоскался; в нем самое глубокое место — в две ладони, а ширины — два локтя. Только выбор тут невелик: хочешь — полощешься, а не хочешь — дух от тебя вскорости такой пойдет, любого зверя без всякого оружия свалит, цветы-листья-травы пожухнут. Не к лицу это, чай, не степняк какой. Хотя и те, вроде бы, вопреки молве общепринятой, как реку завидят, тоже в воду влезть норовят…

Идет Илья, спускается. Птички поют, над травой что-то порхает, солнышко светит, облачка легкие. Вот сейчас скинет с себя доспех воинский, да коня расседлает, да через реку, туда-обратно, туда-обратно. Ладью посмотрит, ладна ли. Коли не сгнила, сюда перегонит. Несподручно как-то на коне через реку скакать.

Шаг все прибавляет и прибавляет, скоро уж и бегом побежит. А подошел к воде, глянул, и лезть расхотелось. Никогда прежде реки такой не видывал. Если и течет, так медленно-медленно, даже не видно, как. Вода прозрачная, каждый камешек, каждую травку на дне видно, но какая-то… слова-то нужного не подберешь… тяжелая, что ли? Наклонился, зачерпнул, подержал в ладони, выплеснул. Такую и пить не захочешь. Вверх, вниз, сколько видно, плавная да гладкая, ни тебе водоворота, ни тебе стрежени, ни кругов от рыбы, что возле поверхности обычно плавает, мошек ловит. И цвет воды — как будто в черноту переходит.

Хоть и не хочется, а придется, видно, на коне скакать. Глянул, а тот стоит, голову понурив. Слепому видно — не перескочит. Что ж за река такая особенная? Как на тот берег перебраться? Перебирались ведь, была когда-то переправа.

И тут возле ладьи, что в кустах притаилась, вроде как движение обозначилось. Будто кто ветками шевелит. Гаркнул Илья, во всю мочь, рукой махнул и ждет, что дальше будет. Видит, никак кто-то в ладью взбирается. Стронулась тихо с места, к нему направляется. Ни тебе паруса, ни весел по бокам. Ежели б не человек позади, возле руля, то и непонятно, кем движется. Хотя все равно непонятно. Редко у них мимо деревни ладьи плавали, однако ж случалось видеть. Так вот, на тех ладьях обязательно либо парус был, либо весла по бокам воду шлепали, потому как рулевой, он обеими руками за жердь держится, что из руля торчит, и грести никак не может. А этот — и рулит, и плывет. Должно быть, слово знает. И уж коли так, ухо востро держать надобно. Мало ли чего у него на уме? Обморочит, да и

столкнет в воду посреди реки. Без доспеха воинского, еще можно выплыть, а в нем — и думать нечего. Как топор…

Все ближе ладья; вот уж и рулевой виден. Молод, весен семнадцать — двадцать. В рубахе светлой, по груди чем-то расшитой, а что снизу — бортом высоким закрыто. Теперь понятно стало, как он ладьей управляется: в руках весло длинное; он им и правит, и гребет. Ну, вроде как шестом работают, когда на дощанике по мелководью плывут. Только шестом обычно с обеих сторон, а тут — с одной. И дощаник, конечно, размером куда как меньше. К бревнам правит, что возле берега торчат. Там глубина, должно быть пристать позволяет. Молод, а ловок, не впервой ему, видать, с берега на берег ладью гнать. Залюбовался Илья невольно, как плавно движется, ровно утица. А как развернулась ладья бортом, так рот раскрыл. Коса толщиной в руку позади рулевого болтается. Девка!..

Еще сколько-то, застыла ладья возле бревен, словно привязанная. Оставила весло, — оно у здоровенное, не каждый муж справится, прошлась там, внутри. Отвалилась у лодки часть борта, наклонилась, доски волочет, да на берег скидывает, чтоб подняться удобнее было. Ну, как наклонялась, Илья, правду сказать, вовсе не на доски смотрел… А девка как почувствовала. Повела эдак плавно тем местом, на которое Илья пялился, да и говорит:

— Жарко что-то стало, должно быть, солнышко припекло…

Вот ведь, окаянная!.. Глаза у нее на затылке, что ли?

— А ты, молодец, долго там пнем торчать собираешься? Ехать звал, али еще зачем? Коли тебе с этого берега на другой надобно, так подымайся, а нет — так прощеньица просим, мне здесь делать нечего.

Можно подумать, дел у тебя полно, вон, гляди, вся переправа народом забита, погоняют… Поднялся Илья на ладью, хотел было помочь доски обратно втащить, — не дозволила, сама справилась.

— Присаживайся, — говорит, — в ногах правды нет.

И к веслу своему отошла.

Смешная, право. Чего ж тут присаживаться, коли до берега другого рукой, можно сказать, подать.

И не заметил, как ладья с места двинулась. Он все старается по сторонам смотреть, а девка — все больше на него. И веслом своим плавно так, спокойно поворачивает.

— Не тяжело тебе? — спросил Илья. — Чай, весу-то в нем прилично будет…

— Привычные мы.

— А я вот слышал, будто нет тут на переправе никого. И дорогу сюда — сам видел, заколодила-замуравила.

— Не для всех…

— Это как же тебя прикажешь понимать?

— Как хочешь, так и понимай. Присел бы, я дурного не посоветую.

— Чего там… Вон он, берег-то, сейчас уж и будем… Не боязно, одной-то?

— Боязно? — Девка как-то странно посмотрела на Илью.

— Ну да… Обидеть ведь могут…

— То говоришь — на переправе никого, а то вдруг — обидеть… Не обидчивая я. Ежели надо, смогу и постоять за себя.

Ну, сможешь — и сможешь. Твое дело.

— А ты вот о Соловье чего-нибудь слыхала? Говорят, поселился где-то здесь, неподалеку.

— Неужто нет? Их не токмо что неподалеку, везде полным-полно.

— Да я не про птиц, я про разбойника, что дорогу засел.

Снова странный взгляд.

— *Разбойника*, говоришь… Нет, про *такого* не слыхала…

— Ну, а про иное что? По дороге, должно быть, прежде чаще ходили-ездили, чем нынче?

— Мне считать некогда. Мое дело: посадил — перевез. Хоть вдоль, хоть поперек.

— Это что ж, бывает, — вдоль перевозишь?

— Чаще, чем поперек.

Не похоже, чтоб смеялась. Однако и толку в ее словах нету. Где ж это видано, чтоб вдоль реки кого с берега на берег перевозили? Чудная какая-то… Хотя, коли, скажем, из их деревеньки куда-нибудь за море плыть, оно и выйдет вроде как вдоль.

Скосил глаза через плечо, на коня глянуть, а потом уж и обернуться пришлось, и удивиться. Сам, своими глазами видел, сколько в реке простору от берега до берега. А тут: с которого отплыли, тот едва видать, а к которому плывут, вроде и не приблизился. Морок…

Чувствует Илья, тело будто не своим становится, будто каменеет. Ноги подгибаются, не держат. Всего один шаг до лавки, только и того никак не сделать. Собрал все силы, двинулся, да тут же и ослабел, плюхнулся на лавку всем собой, как только не сломал. Девке же ничто — все так же веслом своим поваживает из стороны в сторону, куда-то вдаль глядит. У него же и веки каменеют; нет никаких сил глаза открытыми удержать. Не успел закрыть, ровно провалился.

И замелькали, замельтешили годы прожитые, мгновение за мгновением, день за днем, год за годом. Словно и он это, а

словно и со стороны смотрит, не поймешь. Всю жизнь свою ровно заново прожил, все вспомнил, все прочувствовал. От самого первого воспоминания — ласковой улыбки на материнском лице, до последнего — как шаг к лавке сделал. Как глаза закрыл. Но на этот раз не провалился, а взмыл куда-то ввысь. И раскинулась под ним земля, без конца, без края, где зеленая, где в желтизну, вся синими извилинами изрезанная. И видит он на этих извилинах, будто муравьи малые в разных местах суетятся. Темнеют на синем, в одну сторону устремляясь, к разливу огромному, без конца, без края, к которому все извилины сходятся, вот как ветви у дерева к стволу. И где-то там в разливе видно пятно зеленое с белым, и муравьи все к этому муравейнику спешат. Сила же снизу, от земли, исходит, не сила — силища. Такая, что дух захватывает, что руки в стороны, что криком великим воскликнуть хочется… Только было раскинул, только было крикнуть собрался, — ровно дымкой туманной земля подернулась. Мгновение, и нет дымки, и снова зеленое и синим, но уже не такое, как прежде. Вроде, все как было, но зелень как-то притускнела, и синь поблекла, и нет на ней ни муравьев, ни пятна зеленого с белым, и силища… Нет ее, прежней. Другое что-то исходит, а что — не понять.

И тут мотнуло Илью, чуть с лавки не сверзился. Открыл глаза, мотнул головой — нет наваждения, как и не было. Вот она, былая река, неширокая, оба берега, какие были. Девка-перевозчица. Оставила весло, к борту прошла, отодвинула засовы, отвалила, доски скинула.

— Ступай.

Вот так, запросто, и ничего более. Одно только слово.

— Так ты что же, плату за перевоз не взимаешь?

Махнула рукой, ничего не ответила, отвернулась, сама сошла. Только и видел, как мелькнула несколько раз посреди деревьев, да и скрылась из глаз.

Ну, не бежать же за ней… Сошел Илья, коня свел. Вот она дорога, такая же, как и с той стороны. Не то, чтобы совсем видима, однако и не потеряешь. Пошел было далее, и вдруг вспомнил про слова болотника. Веры ему, конечно, нету, ан, может, и не соврал. Что он там говорил? Ракита с гнездом? Так здесь что в одну сторону, что в другую, одни ракиты. Склонились над темной водой. Не белка, чай, по деревьям скакать-то. Не ровен час, сверзишься в реку. Да и девка наверняка где-то неподалеку. При ней — срамотно как-то. Услышит, как ветки трещат, наверняка заявится. Выглянет из-за дерева, увидит его на дереве, тут уж точно свалишься. Как быть?

А никак. Принялся Илья деревья осматривать. На девку рукой

махнул. Одно посмотрел, другое. Ни тебе ветки подходящей, ни гнезда с пером. Совсем уж уходить собрался, — ну его, болотника, без его советов как-нибудь обойдемся, как вдруг припомнил — видел на одном дереве… Вон на том, кажись…

Точно. С земли не достать, не допрыгнуть, пришлось-таки лезть. Посреди сучьев будто шар примостился — ветки так друг промеж дружку переплелись, что больше ежа напоминают. У них в деревне такие как раз гнездами называют. А еще сказывали, будто внутри них иногда яйцо неведомой птицы разглядеть можно. Взять нельзя — только поглядеть. И никто будто бы, никогда ту птицу не видывал, ни как гнездо вьет, ни как яйца откладывает, ни как птенец вылупляется. Однако ж ежели заприметить, да успеть кусок скорлупы ухватить, будет тебе непременно в жизни сплошная удача. Но коли подхватить не успеешь, скукожится скорлупа, станет на лист увядший похожа, ни по чем не отличить…

Ни яйца, ни скорлупы Илья не нашел. А вот перо и впрямь торчит: свежее, будто только что оброненное. Как гусиное, только цвета необычного, иссиня-черного. То есть смотришь на него — черное, а чуть поверни — синее-пресинее. Чудное, в общем, перо, никогда прежде такого не видывал. Тут же и прут обнаружился. Рядом с гнездом торчит, длинный, ровный, толщиной в палец. Дерганул его Илья — не подается, гибкий больно, пришлось ножом отхватить.

Слез с дерева, добычу в руках вертит. Ну, и что теперь с ней делать? Кроме как высечь этим самым прутом, ничто на ум не приходит. А перо… Илья расхохотался, представив себе, что можно сделать с этим самым пером, коли к Соловью его употребить. Снова задумался. Болотник ведь еще про волосы из бороды говорил. И тут вдруг как обухом по голове: так ведь это ж он про стрелу. Конечно, про стрелу. Непонятно только, надо ее острить наконечником, или нет? Про наконечник речи не было… Примостился возле пня, ножом аккуратно располосовал перо, оглянулся, — нет ли девки поблизости, — потом, поморщившись, намотав, сколько мог меньше волосьев на палец, дернул, — сколько там времени прошло, а уж стрела-то и готова. Не стал ни острить, ни с другой стрелы наконечник снимать, как есть, в колчан сунул. Берегись, Соловей, человек-птица дивная, кто бы ты ни был…

8. ЗАСВИЩИ-ТКО ТЫ ВО ПОЛСТВИСТУ СОЛОВЬЕГО…

…Пока суд да дело, начал Илья припоминать все, что ему допрежде о разбойниках слышать приходилось. Ну, и свое знакомство с ними — тоже. И так, и этак, а не сходится нитка с иголкой. Все прочие — они понятные. Дороги выбирают, где гости побогаче ездят, или там реки. Хоть и говорится о них, засел, мол, дорогу злодей такой-то, но это только так говорится, по атаману ихнему. На самом же деле редкий тать в одиночку на дело лихое решится. Он, если честно, про таких не слыхал. Завсегда этот самый тать атаманом оказывался, а вокруг него сколько-нить люду приблудного. Так нешто Соловей этот самый дурнее дурного, что в одиночку засел? Это одно.

А вот другое. Ну, положим, пограбил, страху такого навел, что никто с некоторой поры по дороге этой самой не то, что с товаром, с иной надобностью идти не решается. Какая ему с того корысть? Другой на его месте, пользуясь славой своей разбойничьей, ино подался, где пожива сама, можно сказать, в руки торопится. Ну, а к славе да удаче еще тати потянутся, мало ли их по лесам бродит. Этот же на месте пустом сидит, гузном об дубы трется. С чего бы это?

Или, вот, зверье, да птицы, да гады ему повинуются. Чтоб *хозяин* такое дозволил? Не бывать в лесу двух хозяев. Коли в хозяйстве не один хозяин, значит, скоро ему прахом пойти. Что *слово* знает, тут спору нету, но вот зверье…

Понаплел народ. Со страху ли, с неведения, а понаплел. Так оно всегда бывает, коли сам не видел, а с чужого голоса песни поешь. Встал, мол, поутру, как месяц взошел, дубиной подпоясался, кушаком подперся, пошел гору на лыко драть… Что-что, а сочинять народ горазд, хлебом не корми.

Вот и выходит, впереди его либо ничего, либо застава разбойничья ожидает. Обычная, без всяких тебе чудес. А на дубах они дозорных прячут, чтобы, как кто появится, свистом остальных предупреждать. Или же птицей какой кричать, или зверем. Дубы же, — сколько их там, интересно, может ведь оказаться, один всего, — сучья-ветки с листвой так пораскинули, что издалека человека посреди них и не заметишь. Первый, кто к ним попался, второму рассказал. Тот, приукрасив, третьему. Ну, а далее, как снежный ком, потому как у страха глаза велики. Оглянуться не успели, появилось на дороге заместо стана разбойничьего чудо чудное, диво дивное, с которым никакого сладу нету. А коли

так, — прощевай дорожка короткая, прямоезжая; нам и сто верст — не крюк.

Девка же, не из пугливых. Только вот кто она такая? Ни на кого не похожа; ни тебе из болотниц, ни из полевиц, ни из мавок. По виду — человек человеком, ежели б в деревне жила, али в городе. Да еще морок этот. К чему показался? Ну, землю видал; что она лесами да реками богата, и так ведомо… Муравьи? Тут долго и думать нечего: много по нашим рекам гостей с товарами ходит, что местных, что заморских. Чего морочить-то?

Вот с Долговязом морок приключился, это по делу. Он, вишь ли, как-то с *суседушкой* поцапался. Обидел его чем-то, или не уважил, как требуется, не в том суть. Нет, чтоб сразу помириться, прощения попросить… Обидел, да и позабыл. А тот, видать, не забыл. Зимой случилось. Собрался Долговяз на рыбалку, налима добывать. Дождался, как вечер наступил, острогу трезубую взял, топор, и подался себе на речку: там, как лед вставал, завсегда над налимьим местом майну делали. Снегу навалило, мороз, луна вышла — самая рыбалка. Только майну льдом затянуло, как-то забыли ее подчистить. Скинул полушубок, острогу рядом положил, поплевал на руки — и давай топором лед скалывать. Так разошелся, что топор утопил. Вместе с рукавицами. Ничего, домой сбегал, второй принес. А сам в такой азарт вошел, что, спустя время, и второй утопил. Причем ладно бы топор ухнул, дело наживное, он и сам в майну влетел. Ночь, в такую пору никто за водой не выйдет, орать начнешь — еще, чего доброго, волки набегут… А течение сильное, а одежда намокла, камнем ко дну тянет… Ну да ничего, кое-как выбрался. Подхватил полушубок с острогой, и бегом домой.

Добежал до окраины, идет ему кто-то навстречу. Братило оказался. Зачем, куда шел, разве ж это главное? Главное то, что он баньку растопил, а тут Долговяз по улице сосульками звенит, в городе, должно быть, слышно. Вот и потащил Братило дружка своего к себе, отогревать. Тот и не сопротивлялся. Да и куда там сопротивляться? Повезло — так повезло. Не в одном, так в другом.

Совлек с него Братило все мокрое да померзлое, бросил сохнуть на печку, поволок в баню. Баня — она спешки не любит, ей время требуется. Пока хворь, да холод, да дурь веничками из себя повыхлестают, пока скинут годков эдак по сто, глядишь, и высохнет.

Лежит себе Долговяз на верхнем полке, блаженствует. Пару раз наружу выбегал, шкуру в снегу остудить. На третий уже и дух вон. Так его Братило веничком дубовым отходил — любо-дорого. Лежит, чувствует, как пар, начиная с пяток, к голове потихоньку

ползет, кожу сымает. Видит, дружок его в предбанник вышел, а дверь не закрыл. «Ты чего там?» спрашивает. «Да вот, кваском холодным остудиться», тот ему отвечает. «Ты уж, не сочти за труд, и мне ковшик поднеси». «Чего ж не поднести?» Глянул Долговяз, а к нему рука с ковшиком из предбанника тянется. От полка до двери шагов пять — а она тянется, вот уж и рядом совсем. Свету белого не взвидел; откуда только силы взялись. Взлетел с полка, аки птица и задал стрекача, как только двери не свернул. Выскочил на улицу, в чем мать родила, и к себе.

Не успел сколько пробежать, ткнулся в кого-то, с ног сбил. Оказалось, Братило. Теперь уже вроде настоящий. Сорвал с себя шубу, укутал дружка, в избу повел. Усадил за стол, меду крепкого поднес. Тот выпил, рассказывать принялся, что да как с ним такое приключилось. Рассказывает, а у самого зуб на зуб не попадает — не от холода, от страху. Принес ему Братило кое-какую одежонку, чтоб до дома дойти; тот оделся кое-как, вид, конечно, что пугало огородное: потому как что одному вдоль дадено от рождения, другому — поперек, ну, на один на колобка смахивает, а другой — на жердь тынную. Одно плохо — на ноги нацепить ничего дружок не принес. Долговяз и кричит ему в сени, — тот вышел за чем-то, — чтоб, мол, чуни какие посмотрел, ненадолго. «Так, может, тебе мои подойдут?» из сеней спрашивают, и видит Долговяз, тянется к нему оттуда через порог нога. До дверей шагов десять, а она все тянется. Завопил, — и деру.

Пока, рассказывал, к себе до горницы добежал, мордой и об ворота, и об все двери, что по пути были, приложился. Прибежал, плюхнулся на лавку, — и вместе с ней об пол!.. Пришел в себя, оглядывается кругом, — сидит он возле печи, у себя в избе, лавка рядом валяется, и морда болит…

Вот скажи просто — во сне с печи сверзился, иному и не поверят; а об Долговязе до сих пор вспоминают, как про морок речь заходит… *Суседушко* за обиду обморочил, иначе никак.

Дорога поначалу хоть и заросшая, а все ж таки была себе вполне проходимою. Верст с пять пошагал Илья, пока начал бурелом попадаться. И как назло, что ни упало, то поперек пути лежит. Дальше в чащу, — не видать валежника, тут же, будто кто нарочно постарался. Вон, сосну выворотило, давненько, ежели по виду судить, а яма под корнями такая, медведь запросто влезет. Не упала, наклонилась над дорогой, верхушкой за другие дерева зацепившись, а сунешься под нее, заденешь, скользнет со вздохом, да и придавит, не выберешься. С одной такой Илья совладал; за корни вывороченные взялся, поднатужился, выдернул из земли насовсем, убрал в сторону. Так ведь не одна такая, что ж теперь, всю остатнюю жизнь их здесь ворочать? Сюда,

по-хорошему, народ надобно, с инструментом; и путь расчистят, и деревом разживутся. В одиночку же, даже думать нечего. Потому Илья решил впредь такой валежник стороной обходить. Решить-то решил, только у леса своя думка. Одну лесину обошел, через другую перебрался, а там совсем туго стало. Чем дальше, тем больше лесу выворочено. Страшно и представить себе, что за буря здесь когда-то пронеслась, ежели до сих пор такие следы остались. Как степняки по селу, так ветер по чаще. Ничего не замечая, никого не щадя. В таком буреломе дорогу потерять — что забор пнуть.

Пробирается Илья, запинается за все, за что можно запнуться, — ладно бы еще один, ан коня-то ведь не бросишь, — злится, словами разными потчует, впереди же вроде просвет обозначился; то ли поляна, то ли лесу конец скоро. Про разбойников и думать забыл, одно на уме: скорей бы валежник кончился, передохнуть сколько-нибудь, а то он чем ближе к просвету, тем гуще становится.

Выбрался, наконец, Илья из валежника-бурелома. И оказался на поляне, такой огромной, что никак не меньше их деревушки размером будет. Дорога здесь хорошо видна, не собьешься, а ведет она прямиком к дереву здоровущему. Никогда Илья таких прежде не видывал, до того здоровущее. Человека четыре, а то и все пять за руки взяться должны, чтобы обхватить. Торчит из земли этакая бочка, высотой примерно в два роста, дальше же во все стороны сучьями разбегается, в половину этой самой бочки размером. И вверх торчат, и к земле спускаются, и промеж себя переплелись, ровно змеи по осени. Этакий великан многорукий, зеленью обсыпанный. Не сразу и разберешь, что дуб. Один он тут такой, а кажется — все семь, или сколько их там у Сороки было? На таком дубе сто разбойников спрячется — не заметишь. Ну, не сто, конечно, но человек двадцать — это уж точно. С него желудей набрать — год свинью кормить можно. Соловьиный дуб, к ворожейке ходить не надобно. Про такой один рассказать — никто не поверит, а вот ежели про семь рядышком… Хоть и против правды, а на правду более похоже.

Дорогу же так проложили, никак краем не обойти. С другой стороны, кто ж про разбойников мыслил? Под таким деревом никакая гроза не страшна, ни буря. В лесу все поломано-переломано, а этот — как скала каменная, даром что посреди ровного места.

Хоть и не видать следа человеческого, опаску терять не след. Сел Илья на коня, — допрежде он его в поводу вел, — повел плечами: удобно ли щит к руке скользнет, ежели что; пока же пусть за плечами побудет, спину побережет. Рукой правой

пошевелил — как-то она там булава, коли понадобится, в ладонь ляжет. Доволен остался. Тронул коня, потихоньку, шагом, к дубу направился. Старается сразу весь его в глазах держать, чтоб не оплошать.

Все ближе и ближе дуб. А потом — раз! — и обнаружился, на суке могучем сидючи, муж здоровенный. То — не было, не было, а тут, ниоткуда возьмись, обнаружился. Ничем таким не приметный, по виду сказать, даже увалень. Шишок эдакий. Или вот Емеля из сказки, что ему в детстве сказывали, который благодаря щуке в зятья царские угодил. Илья его именно таким его и видел, как тот, что на суку обосновался. Ноги свесил, лаптями машет, а руками что-то теребит. На вид — безобидный. Даже домашний какой-то.

Ну, коли один обнаружился, тут уж, Илья Иванович, ухо востро держи. Не дай себя видом простецким обмануть, — дорого станет.

Приближается Илья, вот уже и совсем близко, а тот ровно не замечает. Он, оказывается, мастерит что-то: вертит в руках, и ножом то тут струганет, то там ковырнет. Отведет руку, глянет, и снова возится. Нет ему до Ильи никакого дела. Не вовремя, мол, прибывши.

— Слышь, мил человек, ты тут такого вот Соловья-разбойника не встречал? — Илья спрашивает. Не век же пнем посреди дороги торчать.

А тот в ответ:

— Соловья тебе?

Сунул в рот то, что в руках елозил, и оказалась это — свистулька. Щеки надул, будто две репы, только красные, — да как заверещит! Илья аж в седле подпрыгнул — вот оно, разбойник своих условным знаком подзывает. Щит со спины, булава в руку — ну, сейчас поглядим, кто кого! Налетайте, ребятушки, сколько вас ни есть! Где вы тут схоронились?

А нигде. Никто ниоткуда не выпростался, не летят стрелы из засады, не бегут из леса с дубьем. Да и показалось, будто верещит; прислушался — ан и впрямь будто трель соловьиная.

— Или такого?

Вынул детина свистульку изо рта, вложил в ладонь, — она у него ровно ковш, — второй такой же сверху прихлопнул, потряс, раскрыл — сидит в руке птичка-невелика серенькая, головкой из стороны в сторону вертит. Снялась, полетела — неужто и впрямь соловей? А свистулька где?..

Ловко; такого на кривой козе не объедешь.

— А ты чего это взъерепенился? — детина спрашивает. — За булаву хватаешься?

— Потому хватаюсь, — Илья отвечает, — сдается мне, что ты тот самый Соловей-разбойник и есть.

— Мало ли, что кому сдается… Зачем он тебе?

— Поквитаться…

— Чего ж это вы такое с ним не поделили?

— А вот дорогу эту самую и не поделили.

— Дорогу, говоришь, — протянул детина и взгляд у него, доселе любопытствующий, каким-то колючим стал, холодным.

— Слыхал я от людей, будто Соловей этот самый дорогу засел, никому проезду не дает, живота лишает.

— Тебе-то что?

— Мне-то? Мне-то думается, развелось на земле нечисти всякой, пора бы ей укорот дать.

— Вот и я так думаю, — детина отвечает. — А потому, поворачивай оглобли, и ступай, откуда пришел.

— За тобой пришел, с тобой и уйду. Народ обидел, перед народом и ответ держать будешь. Как он тебе присудит, так тому и быть.

— А ну как не пойду? Что ж ты тогда, с оружием — на безоружного?

— Слыхал я, что ты и без оружия кое на что способен…

— Это тебе верно сказали…

Детина ловко спрыгнул, выпрямился и расправил плечи. Ничего себе, увалень! Такому и впрямь ватага без надобности. Хоть и говорят: один в поле не воин, только это не про таких.

— Не пройти тебе, покуда я здесь стою. Поворачивай оглобли.

Тронул Илья коня, примериваясь. Правду сказал разбойник, с оружием на безоружного… Но и слезть — да на кулачки — негоже выйти может. Кто ж знает, нет ли у него тут где волчьих ям с кольями. Больно уж неопасливый. Надо бы его на открытое место вытеснить, там и поглядим, кто кого. Там — на равных сойдемся.

Детина же глянул хмуро, сунул два пальца промеж усов и бороды, да как свистнет!

Илью будто кто дубиной здоровенной огрел. Саженей на пять разом отбросило, мало что не кубарем. Конь на задние ноги припал, у самого в глазах помутилось, воздуху в груди не осталось, в голове зазвенело — того и гляди лопнет.

— Сказано тебе — прочь ступай. Нет тебе пути здесь. Возвращайся, откуда пришел.

Странный разбойник какой-то… Только Илье и подумать об этом ни к чему. Взыграло сердце молодецкое, гневом разгорелось. Соскочил с коня, отбросил в сторону и щит, и булаву, шелом

сорвал, — к Соловью бросился. Снова тот пальцы в усы сунул.

Слышит Илья, будто трель птичью, поначалу различимую, а чем дальше, тем пуще в свист переходящую, вот как ветер за окошком, к примеру, али промеж деревьев. И летит этот свист навстречу клинками острыми, и рвет, и режет на части, и ни вздохнуть, ни выдохнуть, и слезы из глаз ручьем, и кровью все вокруг наливается, не различить уже, где что… Грудью давит Илья, едва не висит над землей, а и шага сделать не получается. Чуть дал слабину, и покатился по траве, будто ветер клок сена с копёшки сорвал…

Подхватился, вскочил, вдругорядь бросился, и еще, и еще — а все без толку. Как ни напрягается, как ни силится, не может сладить со злодеем. Да что там сладить, подобраться к нему, и то мочи нет.

Совсем к лесу Илью отбросило. Поднялся, шатаясь, на ноги — не осталось силушки совсем, глянул — и видит: возле дуба богатырь на коне, голова чуть не в облака упирается, под стать Святогору. Одно отличие: тот как скала был, а этот, ровно призрачный. Видать сквозь него и поляну, и лес, но бесцветное все, будто дымкой сизой подернуто. Грозен, при оружии и в доспехе. С таким совладать и думать нечего…

Сколько длилось видение чудное, должно быть, пока в голове кузнецы по наковальне стучать перестали. Дуб, детина под дубом — как прежде стало, только вот силушка не возвернулась.

Тут-то и вспомнил Илья про совет болотников. Не по сердцу он, а делать нечего. К тому же, нет ведь на стреле наконечника острого, ежели и долетит до супротивника, ежели и угодит в него, отскочит просто в сторону. А коли тут чародейство какое скрыто, так оно против чародейства же не зазорно. Ишь, как дует. Оттого и бурелом такой в лесу учинился.

Видит Соловей, поднял лук Илья. Снова свистнул, скорее для острастки, чем по делу. Однако ж не успел. Взвилась оперенная посланница, — нипочем ей ветер встречный, — мелькнула навстречу разбойнику, да и угодила ему прямо в грудь широкую.

Прав был Илья. Такими стрелами разве что мальчишкам друг в дружку метаться. Отскочил прут ракитовый, ровно в камень угодил, али там в дерево крепкое. Упал на землю. Не успел Илья крякнуть досадливо, — зря слушал лягву болотную, — глядит, глазам не верит. Зашатался детина, хотел руки поднести к тому месту, куда стрелка ударила, не донес, осел медленно, растянулся, накрыв ее своим телом.

Вот тебе и прут ракитовый, с пером птицы неведомой и волосьями из бороды. Справилась стрелка легкая там, где богатырь не справился. Или это он там притворился? — вдруг

засомневался Илья. Хотя, с чего бы? Он свистом своим мог его аж до самого Чернигова по земле сухим листом гнать. Тут же лежит, и вроде как даже не шевелится. Неужто совсем живота лишился? Оно, конечно, заслуживает, за злодейства свои, только вот в честном бою одолеть, это одно, а так, стрелой… Не по-богатырски как-то… А он что — по-богатырски, что ли? Мороком вон пугал. Богатырем себя выставил. Ты, уж коли богатырь, так давай в честном поединке сойдемся, нечего свистом чародейским обихаживать!..

Накинул Илья на всякий случай щит на руку, зажал рукоять булавы в другой, и осторожненько так, с оглядочкой, к Соловью направился. Нет, не похоже, чтоб притворялся. Но и не убит насмерть. Спина колышется. Будто как сознание из него стрелка выбила. Добро. Самому суд вершить негоже. Свезу тебя в Киев, народу покажу, князю. Ты им, небось, не менее, чем черниговцам, бед понатворил. Мелькнуло было в голове: что ж он тебя-то пощадил, прочь гнал, избегал поединка? Мелькнуло, да и пропало.

Ухватил разбойника за рубаху, на ноги поднял. Удержался тот, не упал снова. Пошатывается, глаза будто не наружу, а внутрь смотрят, ростом даже вроде как пониже стал, статью пожиже. Федот, в общем, да не тот. Но Илье некогда его рассматривать, поторапливаться надобно, чтобы в Киев еще засветло поспеть. Снял с седла веревку, — учила его Рада петлю метать, как это кочевникам свойственно, учила-учила, не выучила, — обмотал Соловью руки-ноги, поперек седла приспособил. Ничего, доберется. Глянул на стрелку — поднимать, нет? Не стал. Поправил на себе все — путь, должно быть, неблизкий, взгромоздился в седло.

— Ну, давай, соколик ты мой ясный. Вези напрямки в Киев-град. Да смотри, дорогу попрямей выбирай…

Прянул конь. Нипочем ему двоих нести, даром что от посвиста чародейного пятился. Так и добрались, без единой запиночки. Впрочем, нет, одна все ж таки приключилась. Не заметил Илья птицу глупую, лебедя черного, навстречу ему из облака вымахнувшего, налетел на него всей мощью своею, сбросил в сторону. А тот не из робких оказался, не стерпел обиды. Конь у Ильи — всем коням конь, немного таких сыщется на свете белом, чтоб с ним потягались, только лебедь этот, уж как — неизвестно, только догнал Илью и снова грудь в грудь сошелся. И так это ударил, будто из седла выбить хотел. Да где ж птице с богатырем совладать? Только крыло повредил, вниз повалился, кругами. Вот ведь дурень! Пожалел Илья птицу глупую, а мешкать из-за нее не стал. И то сказать, чего бы он с ней делать-то стал?

Не к столу же княжескому везти…

* * *

…Велик и славен город Чернигов, а с Киевом ему вровень не стать. Хоть и приукрасила молва людская, смешала правду и кривду, обильно сверху выдумкой посыпав, однако ж не такое яство получилось, чтоб взять, и в окошко выбросить. Что стеной каменной белой, на солнце сверкающей, сплошь окружен, про то соврали, но вот о том, какова она… Издали город кажется, будто из земли растет. Ежели репу пополам разрезать, да половину на стол кверху выпуклостью положить, как-то так будет, коли по выпуклости этой самой щепок частоколом понатыкать. То есть когда ближе подъедешь, сразу видно становится, что стены как будто прямо из земли растут. И еще видно, дерево, из которых они сложены, за годы долгие прочнее камня стало. Друг к дружке до самого верху так прилегло, будто единое целое. Не стена — скала каменная.

Ров с водой такой ширины, что ежели скинуть с себя все, разбежаться как следует, да сигануть со всей мочи, как раз до середины, может быть, и долетишь. Дорог к городу ведет мало, всего две Илья и заприметил. Каждая — к башне с воротами. Всего же башен — не сосчитать, только остальные без ворот, и над стенами поменее вымахнули.

А еще река широкая с одной стороны его протекает. Конь Ильи ее выше по течению перемахнул, а не то пришлось бы перевозчиков дожидаться. По этой самой реке, должно быть, в царства заморские плавают, торг ведут.

Другая же река — тележная. Повозки на дороге, по которой Илья едет, и в город спешат, и из города. Туда — груженые, обратно — большей частью пустые. Всадники, пешие, меж ними затеряться недолго. Если б не глазел по сторонам, да на город, приметил бы, как на него народишко посматривает, который пешим ходом топает. Картина-то привычная: эка невидаль, дружинник княжеский кого-то на суд тащит, только многие невольно на себя этакую-то поездочку примеривают. Тяжела жизнь земледельческая, не зарекайся от сумы да от суда княжеского…

Возле ворот замешкался Илья. Три человека, коли один другому на плечи встанет, запросто войдут, верхний и головой не зацепит. Такие ворота, они не для удобства сделаны, для внушительности. Висят на полосах железных, шириною в три ладони каждая, а вокруг полос этих самых резьба по дереву

дивная. Чего тут только нет, а чего есть — тому имени не знает. Ну, корабли там всякие, оно каждому известно, а вот звери-птицы чудные… У этого вон тело на волка похоже, однако ж не волк, а голова — как у орла, а у этой наоборот — тело как у птицы, а голова вроде бы как у волка, но не как у волка. И цветы еще: стебель как у подсолнуха, а сверху лепестки торчат во все стороны, заморское должно быть… И звери-птицы, наверное, тоже заморские, потому как у нас такие не водятся.

Сколько бы так стоял Илья, рот разинувши, неизвестно, поскольку шедшие в город обходили его стороной, не желая связываться с княжеским дружинником. По той же причине позади него остановилась пара телег, а сидевшие на них терпеливо ожидали, когда этот самый застывший столбом по неизвестной причине гридень соизволит, наконец, освободить дорогу. Добро, вмешались стражники, объявившиеся по ту сторону распахнутых ворот.

— Ну, чего встрял? Освобождай проход!..

Ну и, как водится, пару слов напутственных.

В другой раз Илья, понятное дело, спешился бы, да накостылял как следует по шее, но сейчас не стал. Тронул коня, дальше подался.

Думал, кончились чудеса, оказалось — нет.

С другой стороны глянул на стены, а они, оказывается, вон как хитро сделаны. Это снаружи холм земляной, внутри же — сруб на сруб поставлен, так, что самый нижний он землею как раз и скрывается. Тут тебе и стражники живут, и помещения всякие-разные для хранения чего надобно, и конюшни, и хлевы. Ишь, как хитро придумано.

Или взять вот их деревеньку. Она на холме под уклон, так что коли ливень, иной раз по улице не пройти — прямо посередине ровно река хлещет, промыла себе русло за долгие годы. Так, глядишь, когда-нибудь вместо улицы овраг образуется. И, — откуда только берется, давно б уже смыться ей должно было, — местами грязища непролазная. А тут, Илья поначалу и не понял даже. Промеж заборов бревна уложены. Плотно так, не шатаются, не проседают, почти как гать давешняя, только ухоженные. Он даже спешился, ведет коня в поводу, а сам ногой бревна пробует. И то еще удивительно, что народ спешит себе кто куда, кроме него под ноги никто и не смотрит.

А дома за заборами — все больше терема в два-три сруба вышиною. Не златоверхие, конечно, но от этого ничуть не менее красивые. Тут каждый хозяин кто во что горазд, в смысле маковок. Их, маковок этих, что грибов в лесу, и все разные. Илье как-то и невдомек было, какую красоту срубить можно. Видал в

Чернигове, но там — опятам подобны, одна к одной. Здесь же одна на мухомор похожа, другая — на луковицу, третья — что клин, а из четвертой жердь торчит, на жерди — птица. Ставни — все резьбой украшены, столбы крылечные — тоже. У иных над воротами, что во двор теремный ведут, дуга расписная имеется, вот как у саней, только широкая; радугой переметнулась с одного столба приворотного на другой. Закрыты вот только, ворота-то. И калитка, что рядом с ними, тоже. У них в деревеньке такого не принято, чтоб ворота до темноты на запоре держать. Постройки же хозяйственные в каждом дворе, где терем, — те с избу размером.

Идет себе Илья, по сторонам глядит. Никого ни о чем не спрашивает. Чего спрашивать, коли любому ясно: раз дорога деревом выложена, так куда ж ей и идти-то, как не к дворцу княжескому?

И точно, выбрался Илья на площадь, головой вертит, в толк взять не может. Потому как не один здесь дворец, а целых три; все пригожие, и все — каменные. Возле каждого дружинники прохаживаются, народишко суетится, столбы врыты, с кольцами. К кольцам этим кони привязаны. Тот дворец, что прямо напротив, он такой рыжий цветом из себя, в три избы высотою, а длиной — в десяток. Крыльцо каменное, двери, сверху полукруглые. Вправо же и влево от крыльца пристройки, одна в одну, и в них тоже как бы для дверей проемы сделаны, только самих дверей нету. Почему — непонятно. На вид красиво — ан, не практично. Должно быть, мастер какой заморский взялся дворец класть, а как первые избы понизу выложил, тут и спохватились: это зачем же столько дверей-то? Ну, и заложили камнем, а выемки эти самые остались. Что мастер заморский был, тут спору нету: таких теремов нигде нету, никто про них не сказывал, к тому же, и не похож дворец на терем-то. Может, и вообще его поперли взашей, как увидели, чего он понатворил. Только нижние и выложил, а верхние — они на наши избы похожи, и крышами, и видом привычные.

Справа-слева еще два дворца, тоже каменные, но размером поменее. На них, должно быть, камня не хватило, потому, пристройки по краям в две избы высотой, а между крайними и центральной избой — в одну. И крылечки пониже. Так что тут и думать нечего: эти дворцы для каких-нибудь мужей важных, для дружины там, а княжеский — он вот, прямо.

Посмотрел Илья вправо-влево, видит — подходят к столбам люди — кто подвязывает коня, кто отвязывает. По левую руку — там все больше на дружинников похожие, а по правую — там, должно быть, гонцы всякие разные. Значит, ему влево надобно.

Только было к кольцу приспособился, как его — хвать за плечо. Повернулся, как есть гридень перед ним, и по ухватке, и по обличию.

— Ты кто ж это таков будешь? — спрашивает. — Из каких краев? Что-то я тебя допрежде в дружине не видывал. Из новых?

— Да я вроде как пока не в дружине, — Илья отвечает. — К князю мне надобно. Не подскажешь, где его отыскать можно?

А тот глаза выпучил, надулся, как мышь на крупу, аж усы с бородой дыбом встали, да как заорет:

— Так чего ж ты, бусурман, к столбу прешься? Не про таких, как ты, поставлен, а только для служилых. Или богатырей заезжих, о которых весть впереди них за сто верст летит. К князю ему, видите ли, надобно. Со свиным рылом в калашный ряд лезет. Вали отсюда, покуда я тебя не вразумил как надобно. Поутру придешь, да постоишь у дверей; как писаря выйдут, скажешься. Подать заплатишь. Они тебе порядок разобъяснят. Понял, щучий сын?

Зря это он лаяться начал, и уж совсем зря Илью щучьим сыном назвал. Потемнело у Ильи лицо, руки в кулаки сжались, однако удержался, ничего в ответ не сказал. Просто спиной повернулся, коня к кольцу привязать.

Гридень же, видя такое дело, совсем голову потерял. Ухватил Илью за плечо, развернуть хотел, ан не тут-то было: повел Илья плечиком, рука-то и соскочила. Ну, тот взбеленился; до такого *позора* дошел, чтоб *со спины*, со всего маху, — да в ухо.

Ничего себе — порядочки киевские! Даром, что не готов был Илья к такому приему, развернулся к обидчику и, — тот уже опять размахнулся, — так в лоб вкатил, что гридень, мало того, повалился, он, перед тем как на землю упасть, еще шагов пять пролетел, только уж потом грохнулся. Народ на площади замер. Не привык должно быть, чтобы так с дружинниками княжескими обращались. А Илья только было к столбу повернулся, надо ж все-таки коня к месту определить, глядит, уж и другие гридни со всех сторон поспешают. Ну, как же, наших бьют. Правда, открыто бегут, и без оружия. Никто исподтишка не крадется. Зато криком себя подбодряют.

Покачал Илья головой: ну вроде дети малые. Нешто у них так принято — семеро на одного? Неправильно это. Ладно, выбирать не приходится. Надо только от коней подалее отойти, как бы с ними чего не случилось. Им в этой потехе делать нечего.

Только было хотел миром попытаться решить, разобраться, что, к чему, и почему, руку протянул, рот раскрыл, уже и говорить начал, мол, чего взъярились-то по пустому, а тот, который резвей прочих оказался, как подскочит, да как шарахнет

Илью в грудь. С ног сбить хотел, видать. Как же! Махнул Илья с полуплеча, и второй к первому подался, разве чуть меньше летел. Тут уж и остальные подскочили, сколько их там ни на есть.

Пошла потеха. Кто знает, как собаки на медведя наскакивают, тому проще представить, что возле столба деется. Наседают гридни на Илью, лупят почем зря, да по чем попало, машут руками, что твои мельницы, а он тяжко этак ворочается, отмахивается. То один из толпы вылетит, то другой. Сидят, глазами лупают, головами вертят, в себя приходят. Кто поумнее, тот в сторонку отойти пытается, а кто умом пообносился — тот вскочит и опять в драку лезет.

В сторонку же отойти, тоже непросто стало. Потому как тишком да ладком, незаметно по всей площади потасовка учинилась. Сбежался народ посмотреть, чего случилось, а где народ, там давка, где давка, там обиды, ну а где обиды, там уж, известное дело, и до рукопашной не далеко. Кто-то коней отвязал, носятся посреди суматохи, еще больший непорядок создают.

Шум, гам — до небес. Из окошек дворца княжеского слуги высунулись, кричат чего-то, подзуживают, кидают чем-то. Подзадоривают. Только внизу подзадоривать никого не нужно. Разом позабылось, с чего замятня началась, не в поводе дело — в соучастии. Тут уже давно непонятно, кто за кого нос расквасить метит. Тут главное — не оплошать, как бы самому не расквасили.

Распахнулись двери, на крыльцо молодцы дюжие высыпали. Чинно, неспешно. Встали кто как, до самого низу, руки в боки, по сторонам поглядывают, да на главного ихнего, что на самом верху крыльца встал. Не иначе, как сам князь. Молодой, крепкий, статный, с кудрявыми волосами, аккуратной бородкой, взирает с усмешкой на потасовку, а участникам ее и невдомек. Поглядел-поглядел, легонько эдак головой качнул. Переглянулись промеж собою молодцы, что возле и вниз по ступеням стояли, пожали плечами, принялись порядок наводить. Неспешно, размеренно. Вот как косари идут. Вжикнула коса, легла трава полукругом. Снова вжикнула — снова легла. Так и тут. Идут это себе молодцы, ровно на гулянку, а вокруг них народишко снопами валится. Без разбору. Шагов на двадцать, может, от крыльца и отошли, как уж свалка и прекратилась. Стоят, места разные потирают, кому в какое больше влетело, недоумевают: и чего, в самом деле, разодрались?

Среди прочих Илья, со столбом в руках. И не заметил, как выдернул, чтоб сподручнее было. Вид же у него такой непонятливый, — то ли по поводу столба, то ли кутерьмы, в которой неведомо как участником оказался, — что князь и

молодцы его за бока ухватились. Гогочут. Повернул Илья головой вправо-влево, да и сам вдруг расхохотался. За ним — вся площадь побитая. Ну что за народ такой? Только-только мало смертоубийство не учинили, а тут — заливаются: вот, мол, проказу какую учинили.

Отсмеялся князь, махнул рукой, Илью подзывает. Тот было так со столбом и пошел, да вовремя спохватился. Впихнул обратно, как сумел, подошел. Встал напротив, не знает, что и сказать. Князь тоже молчит, к молодцу присматривается.

— А скажи-ка ты мне, дородный добрый молодец, — сказал вдруг, — ты откулешной будешь? Как молодца по имени зовут, по батюшке величают?

— Зовут меня Ильей, — отвечает, — по батюшке — Иванович. Деревенька наша небольшая, возле речки будет. Город неподалеку, Муромой прозывается. А ты, часом, уж не князь ли?

— Да вроде того… И давно ты, Илья свет Иванович, повыехал из этой своей Муромы? Далеко ли путь держишь? Каким ветром тебя к нам в Киев позабросило?

— Давно ли — не скажу. Призамешкался в дороге, а то б раньше поспел. К тебе, в Киев спешил, чтоб, значит, в дружину проситься, богатырскую, ан задержаться пришлось.

— Хоть ты и выглядишь молодцом, — князь говорит, — а в дружину мою не каждый вхож. В ней — из лучших лучшие, со всей земли. Про каждого молва ходит, о каждом былинщики песни складывают. Не честь рядом с князем — честь великая с ними быть, за одним столом сидеть, из одного котла потчеваться. Об тебе же не слыхивал. Но коли есть за тобой подвиги, говори сейчас, перед всеми.

— Да какие там подвиги, — развел руками Илья. — Ничего такого, чтоб былинщики песни обо мне складывали, признаться, нету. И взяться неоткуда. Я ведь, как из Чернигова выехал, так сразу сюда…

— Из Чернигова, говоришь? — Князь прищурился. — Дошла до меня весть, будто поганые город осадили, аль соврали? Не знаю вот, вести богатырей своих на подмогу, нет ли?

— Было дело, осадили. Только сейчас уже никакой осады нету, прогнали степняков.

— Откуда знаешь?

— Так ведь сам, своими глазами видел.

— Может, еще и поучаствовал?

— Может, и так.

— От Киева до Чернигова дороги — с пятьсот верст будет. Ты что же, на крыльях летел?

— Пятьсот верст — дорогой окольною. А я напрямки…

Нахмурился князь.

— Деревенщина ты, деревенщина. Что ж ты в глаза мне подлыгаешься? Говорено мне было, нагнано под Чернигов силушки черной, видимо-невидимо. Нет у меня сейчас дружины в достатке, поразъехалась, потому и не иду на подмогу ратью, Киев бы оборонить, ежели что. Ну да ничего, придет время, поквитаемся. А ты мне — прогнали, сам видал, напрямки ехал… Знаешь ли ты, что давно уже нет дороги прямой — заложена? Возле самой речки Смородины поселилось чудо неведомое, то ли человек, то ли птица, и нет с той поры ни проходу, ни проезду? Потому как нет на него управы; а кто решался супротив пойти, тот уж назад не возвернулся? Что же мне с тобой сделать приказать, за лжу твою бесстыжую? Взашей гнать, али в перьях вывалять?

— А ты погоди, князь, гнать да вываливать. Не знаю, как прочие, а те твои гридни, с которыми мне только что встретиться довелось, не больно-то справны…

Тут уж нахмурился не только князь.

— …Не с пустыми руками я к тебе. Подарочек привез.

Свистнул Илья особым образом, подзывая коня своего; тот, где его оставили, там и держался.

Глянул князь на подарочек, глаза мало что молнии не мечут.

— Вижу я, и перьев для тебя мало будет. Ты что же это, никак дружка своего какого пьяного привез?

Ничего не ответил Илья. Снял Соловья, махнул ножом, — спали с того путы крепкие.

— Не дружка пьяного, а то самое чудо неведомое, которое то ли человек, то ли птица. И не к тебе — к народу на суд привез. Народу горе причинил, перед ним и ответ пусть держит.

Глянул князь на Соловья, на Илью, снова на Соловья. Молодец-то, должно быть, с головой не в ладах. С таким свяжешься, сраму не оберешься. Надобно их обоих поскорее со двора наладить, какой с них спрос?

Вздохнул, с крылечка спускаясь, жалко, все-таки, молодца. Такого бы и впрямь в дружину… Подошел к Соловью, встал напротив. Чтобы этакой-то ледащий богатырей губил? Эх, надо бы в шею, да теперь уж нельзя — народ на площадь сбежался. Любят у нас дураков, не дают в обиду.

— Слыхал я, — говорит, — будто ты свистом птиц созываешь, криком — зверей, а шипением гадов. Ну-ка, потешь нас, свистни, к примеру. Коли соберешь птиц, при всех говорю, пожалую тебя ендовой с самым наилучшим медом, какой только в погребах моих хранится.

Глянул Соловей исподлобья, разлепил уста.

— Не у тебя нонче, князь, обедаю, не тебя и слушаю. Накормил меня давеча Илья Иванович досыта, ему и спрашивать.

Ничего не сказал на это князь. Развернулся, да и пошел себе на крылечко. С одним дурнем связаться — себе дороже, а тут целых двое. Так бы и ушел, не попрощавшись, потому как и другие, вокруг стоявшие, головами покачивают, с князем согласные.

— Погоди, княже, — позади себя голос Ильи слышит. — Негоже как-то. Сам же хотел потешиться. Я человек не гордый. Коли просят спросить, так и спрошу. Давай, Соловушко, свистни для князя, да смотри, свисти вполсвиста, а иначе как бы худа не приключилось. — И руку положил на седло, поближе к месту, где булава висела.

Не заставил Соловей себя упрашивать, сунул пальцы в рот. Такую трель выдал, какой Илья прежде не слышал. По двору будто вихрь закружился; кого в воздух подняло, кого по земле волочет. Дружину княжескую что листья по сторонам разметало, самого князя опрокинуло, к дверям подвинуло, вжало в крыльцо, только ноги вверх торчат. Богатыри его хваленые друг за дружку уцепились, из последних сил держатся. С теремов, что со двора виднелись, маковки ровно кто косой смахнул.

У Ильи же снова голову на части рвет, внутри ковали за молоты взялись. Перед глазами сплошным покраснело, ничего не видать. И как-то разом стихло все. Так, ровно ветер шумит, но ветер — не буря. Яснеть понемногу начало. Народ кто как по двору рассеялся; иные лежат, постанывают, другие — на карачках ползают, третьи, кто посильнее, стоят, шатаются. Богатыри-дружинники головами мотают, князь сиднем сидит, волосы взъерошены.

— Ну что, князь, всласть я тебя потешил? — Соловей промежду тем спрашивает. — Настал твой черед. Вели принести ендову меда крепкого из погребов своих, а то у меня в горло чтой-то пересохло. Хоть в полтора ведра пусть несут, все одно одолею.

Спокойно говорит, а вроде как и насмехается.

— Потешил ты меня, это верно, Одихмантьев сын, птица рахманная, — князь на ноги поднялся, однако ж нетвердо стоит, гнутся колени, сгибаются. — Только не у меня проси. Сам же сказал, у кого обедал, того и слушаешь… Ты вот что, Илья… Свези-ка ты его во чисто поле, за стены киевские, да и поднеси ему ендову меда крепкого, такого крепкого, чтоб вовек не встал. Ну, а опосля, как воротишься, ступай ко мне в палату пиршественную, за столы накрытые. Там и потолкуем, какую тебе службу назначить.

Повернулся, детские распахнули перед ним двери, он туда и

прошел. За ним прочие гурьбой подались, переговариваясь, а то и посмеиваясь.

Не по сердцу Илье поручение княжеское, но делать нечего. Сам привез — самому и разбираться. Не думал, не гадал, что так сложится, ан сложилось. Вздохнул тяжко, взобрался на коня, подобрал поводья.

— Идем…

До ворот недалече, а чем ближе, тем муторней. Соловей идет себе спокойно рядом с лошадью, будто не об нем речь шла. Крики, разговоры, как завидят их люди, прекращаются. Кто прячется, кто исподлобья смотрит, кто с любопытством. Иные, что завалы во дворах разбирают, бросают бревна двигать, на улицу выходят. И тишина такая… такая… Вот как на дне самого глубокого омута, наверное…

Ворота миновали. Глянул Илья вправо-влево, на берег коня направил, к Славутичу, будто надеется услышать что от реки могучей. Неспокойно ему как-то, не чувствует правоты своей. Слово, батюшке данное, некстати припомнилось. Чего, спрашивается, в Киев поволок? Прибил бы в бою, на месте, и вся недолга. Мнилось, соберется народ, выставит он разбойника на позорище, устроят татю суд справедливый, а вышло иначе. Не похоже, чтоб народ тут суд чинил, ишь как ловко богатыри княжеские суматоху утишили. У них не забалуешь. И тут же припомнилось, как подати у них в деревеньке собирали. Совсем гадко стало.

Берег не то чтоб пологий, но и не в обрыв. Спустился Соловей до середины, уселся, на воду смотрит. Спешился Илья, пару шагов сделал, и тоже присел.

— Что, — спрашивает, — не свистеть тебе более по-соловьему, не кричать по-звериному… Вполсвиста тебя князь просил…

Беззлобно так спросил.

— Кабы не твоя стрела, что дух вышибла, было бы в полный свист. А так — вполсвиста и было, — ответил Соловей, не оборачиваясь.

Сидят, молчат.

— Что же мне с тобой делать? — Илья спрашивает. И самому непонятно, у кого: то ли у себя, то ли у Соловья, то ли у реки…

— Отпусти, Илья, — слышит. — Отпусти батюшку…

Вздрогнул. Видит — стоит у воды девка, одной рукой косу теребит, а вторая вроде как неживой повисла.

— Отпусти…

Неужто сама *река* за разбойника заступается? Нет, не река. Лицо-то уж больно знакомое. И рука… Так вот оно что! Вот ты кто

оказалась, птица глупая, лебедь черная, перевозчица!..

Будто жаром Илью изнутри опалило. Сколько же зла вы своим ведовством людям понаделали? Вскочил на ноги.

— Отпустить, говоришь? Ну, нет. Полно слезить отцов-матерей, полно вдовить жен молодых, полно сиротить малых детушек!.. Просил у князя ендову в полтора ведра? Так испей до донышка!..

— Отпусти, Илья…

9. АЙ ВО ТОМ ВО ГОРОДИ ВО РЯЗАНЮШКИ…

Знакомый какой-то голос, но не девичий. Не перевозчица сказала, он с нее глаз не спускал. Сзади откуда-то. А ну как снова морочит? Соловей сидит, не шелохнется, на воду смотрит… Вот повернется сейчас, да как засвистит. С чего это ты решил, что он вот так запросто ендову примет, князем пожалованную?

— Не замай, Илья, отпусти. Добром ведь просят. Нешто ждешь, пока в ножки поклонятся?

Ухватил рукоять меча, совсем было уже выхватить собрался. Не можется. Не снаружи что препятствует, изнутри. Набрался духу, обернулся. Рот разинул.

Стоят возле его коня богатырского те, кого меньше всего увидеть ожидал. Длинные рубахи чуть выше колена, перехваченные обычной веревкой вместо пояса. Порты до лаптей, онучи. Рубахи и порты серого полотна, недавно тканого; лапти — недавно плетены. Волосы перехвачены незатейливого узора ремешком. Сумы на боку. У парня в руках ореховая палка чуть выше него ростом. У старца за спиной гусли.

— Да неужто Звенислов?..

— А ты думал, небось, — Неждан, в дырах кафтан, на босу ногу топоры, за поясом лапти, по улице бредет, инда звон идет, не мошной звенит, не ключами, а чем звенит, — догадайтесь сами?

Прыснул Васятка, крякнул неодобрительно Боян, отвернулась в сторону девка, мотнул головой Соловей. Плюнул с досады Илья. Хлопнул рукой по рукояти меча. Принесло ведь, окаянного!.. Этот любое дело зубоскальством своим одолеет. Как его только земля носит?..

— Ну что, Илья, так и будем стоять? Отпускай уже. Пусть летят себе. А мы тут пока сядем рядком, да поговорим ладком.

— Ишь ты, прыткий какой. Чтоб разбойника с волхвовицею отпустить? Чтоб они и дальше зло людям чинили?

— А ты сам-то видал, зло это, али с чужого голоса песни поешь?

Призадумался Илья. Вспоминать начал, кто да что рассказывал. Про думки свои, пока по дороге через грязи черные пробирался. И как-то выходит у него, что правда, она на сторону Звенислова склоняется. Все слышанное, сродни крикам базарным: шуму много, а толку чуть. Одни слова пустые — дорогу засел, грабит всех подряд, народишку поубивал. Про засел, это,

положим, верно сказано, а вот про остальное… Взял ведь верх над ним, мог живота лишить — ан не лишил. Или девка-перевозчица, дочь его; глянул на нее — стоит, сердешная, косу теребит, ждет, как Илья ими распорядится. Морок навела, запросто могла б с ладьи в воду столкнуть, только б круги пошли, — ан не столкнула. С другой стороны — сам видел, как маковки с теремов послетали. Да разве простой ратай хоромы себе такие отгрохать может?.. Чего далеко ходить — отец его, всю жизнь при земле, а не больно-то разбогател. Вроде просто все — вот тебе две веревочки, велика ли хитрость, узелочек завязать? Не завязывается. И люди хожалые за них просят; кто ж поверит, что они тут за просто так оказались? Им отказать — поперек себя пойти. В долгу он перед ними.

Колеблется Илья, не знает, как правильно. Потом отмахнулся; раз голова не ведает, послушаем сердца. Сел снова на траву, спиной к странникам.

— Ну, раз так… Чего уж там… Пускайте…

— И рады бы, Илья, да не наши они гости. Твои. Тебе и пускать.

Вот привязались!..

— Будь по-вашему. Ступайте, коли просят за вас, — это он Соловью с девкой. — Только впредь уж не безобразничайте. Не дам спуску, кто бы за вас не вступился.

Поднялся Соловей, медленно, равно нехотя. Не обернулся, не поблагодарил; да что там поблагодарил — слова не сказал. Подошла к нему девка, обняла, прижалась. Постояли так немного, потом взяла она разбойника за руку, рядом с ним встала, к Илье спиной. Мгновение — и не стало их. Лебедь черная и еще какая-то птица, на орла похожая, на их месте стали. Расправили крылья, — у лебеди, видно, одно крыло помято, долетит ли, куда собирается? — снялись плавно так, полетели, друг рядом с дружкой, куда-то за реку.

Долго смотрел им вслед Илья, пока и точек черных в небе синем видно не стало. Только тут и обнаружил, что на ногах стоит, ладонь возле лба держит. Когда поднялся, и не заметил. Снова присел. Рядом с ним Звенислов пристроился. Боян же с Васяткой спускаться не стали, наверху расположились. Достали по куску хлеба, грызут.

— Не серчай, Илья, что тебе не предлагают, — это Тимоха. — Тебе еще за столом пиршественным сидеть, всего вволю отведаешь. А нас в палаты княжеские не пускают.

— Это почему же? — поинтересовался Илья.

— Потому, что слово наше, оно для княжеских ушей не пригодно. Князь — он похвалу любит, чтоб славословили, чтоб

никто поперек чего не говорил. Ну да сам вскоре сведаешь…

— Что ж вы меня тогда к князю служить правили?

— Не князю, народу служить. Земле родной. Смекаешь разницу?

— Да уж не дурней некоторых… Ты мне вот что лучше скажи: почему ты за Соловья вступился, Одихмантьева сына, птицу рахманную?

— Чего? — Тимоха непритворно вылупил глаза от удивления. — Какой-такой Одихмантьев сын? Будимирович он. Понял? Отца его Будимиром звали. *Буди Мир*…

Теперь и у Ильи глаза на лоб вылезли. Глядят друг на друга с Тимохой, что два рака. Что там Звенислову видимо, неизвестно, а у Ильи дуб перед глазами, и богатырь рядом с дубом, под облака. Говорит что-то Тимоха, не слышит Илья, когда же очнулся от видения грозного…

— …семь сыновей у Соловья было, семь дочерей. Только одна и оставалась.

— А остальные где?

— Где, где… Ты, Илья, хоть и справный на вид, ан иногда хуже простеца. Неужто сам не догадываешься?

— Догадываешься, не догадываешься — не в прятки играем. Ты мне вот что скажи. Она, когда меня через реку везла…

Рассказал, что да как было. Поднял Звенислов камешек, повертел в пальцах, подбросил в ладони — метнул в воду. Далеко бросил. Всплеснул камешек, поплыл по течению круг, расходясь в стороны. Вот уж и совсем пропал.

— Была Смородина, да вся вышла. По-другому звать будется. Черниговкой, али еще как… Тебе б Боян лучше моего поведал, ан и я попробую. Смородина, она — не простая река. Она для каждого своя. Ты ведь сам сверху видел, сколько у нее проток да притоков. Для кого-то и Славутич — Смородина. Потому как иным путь по ней — только в одну сторону. На остров, который ты уже дважды видал. Один раз в горах Сорочинских, другой — вот когда на ладье плыл. Потому и сказала тебе перевозчица…

— Погодь, погодь, — Илья даже привстал. — Выходит, те, кто дорогой этой самой прямоезжей шел, они… того…

— Ну да, — кивнул Звенислов. — Что же до дороги этой самой… Видел же, по каким местам ее проложили. Гиблые места, глухие, безлюдные. Зато короткая. А другая, хоть и длинная, зато по местам населенным идет, где и торговать сподручнее, и мену вести, и судьбу искать. Вот и забросили эту самую короткую. Не при чем тут, можно сказать, Соловей.

— А ежели забросили, то как же сыновья с дочерьми?..

— Так, что не по нутру *силе нездешней, неведомой*, чтоб люди

счастливо жили. Стремится она разным обличьем на землю нашу проникнуть, свои порядки устроить. Мытьем не удается — катаньем пробует. Заступали ей путь богатыри старые, прежние. Вот и последнего не стало. Сыновья-дочери их заступали, не стало и их. Ваш черед настает, землю нашу беречь…

Охнул Илья про себя. На ладони свои глянул. Это что же выходит, что он сам, вот этими своими руками…

— Ты, да не ты, — Тимоха ровно в голову ему влез. — Всему на свете свой черед приходит. А уж как приходит — сие дело темное есть. И то сказать, не важно, кому какой срок отпущен, важно — что ты за отведенный срок сделать успеешь и для кого.

— Так что ж мне эта жаба болотная… Попалить его, окаянного…

— Он, Илья, *другой*. Он своей жизнью живет, от нас отличною, и ты его по нашим законам не суди. Он того не знает, что *сила нездешняя, неведомая*, коли возьмет власть, так и ему не жить.

— Что же это за сила такая?

— Про то, Илья, не скажу. Много у нее обличий, любит рядиться в то, что поначалу вовсе даже нестрашным кажется. Пройдет время, хватишься, ан уже поздно. Но то знаю, — не надобно звать ее на поединок, силушкой перед ней выхваляться.

— Как же тогда с ней бороться прикажешь?

— Живи по совести, вот и весь наказ.

— Только-то?

— Думаешь, это так просто? Коли б все по совести жили, не бывать бы ей никогда на земле нашей. Ни ей, ни посланцам ее.

— Распознать-то ее как?

— Сердце подскажет.

* * *

Нерадостен шел с реки Илья. Пожалуй, даже еще более нерадостен, чем на реку шел. Правильно его князь деревенщиной назвал. Не по его уму разговоры такие. Ему надобно, чтоб все понятно было, чтоб в чистом поле, грудь в грудь. Вот как Буга богатырь; он супротивник открытый, без лжи и коварства. Такого и пощадить можно, ежели слово даст, не ходить в гости поперек хозяев.

Только поначалу разобраться б не мешало. Звенислов своими разговорами такого туману напустил, что хоть сто лет аукайся, никто не отыщет. По его же собственным словам выходит, — где перевозчик имеется, там и заступник *силе* этой самой *нездешней, неведомой* быть должон. Потому как для нее перевоз — первое

место, где она на землю нашу пробраться норовит. А случись так, что кончился перевоз, так и место пропало. Что ж получается? Чтобы *силе* этой на земле нашей не бывать, всех богатырей извести должно? Правда, Звенислов, он как раз об обратном толковал, ан все равно не понятно. Еще же чуднее — как так может случиться, чтоб две реки в одном русле текли? Причем одна в одну сторону, другая — в другую? А нет перевоза — так и реки одной нет, Смородинной… Но другая-то есть по прежнему? И рыба в ней, и прочие обитатели…

И так, и сяк крутит Илья, не может разобраться. Оно, должно быть, и к лучшему, потому как о Соловье да дочери его вспомнить, — глодать внутри начинает и на плечи давит. «Быть тебе, Илья, первым богатырем в земле нашей, главным ее заступником; гляди же, не оплошай». Зря Тимоха об этом сказал. Не может такого быть, чтобы во всей земле нашей не нашлось достойнейших первым стать. Взять хотя бы князя…

Вздохнул Илья, глянул по сторонам. Вот тебе и на: сам не заметил, как обратно к дворцу княжескому возвернулся. Только теперь уж не гостем незваным, потому как подскочили к нему слуги, двое коня взялись в конюшню отвести, один впереди побежал. Дохлый какой-то, на пескаря похож. Кафтан на нем расшитый, ан как на пугале огородном болтается. Суетится, кланяется, шапкой едва не пыль со ступеней сметает. Взялся за кольцо дверное, стукнул — распахнулись двери, внутрь приглашают.

Идет Илья, дивуется, больно уж необычно все вокруг. У избы, к примеру, потолок ровный, а тут — как та же сама половина репы, кверху хвостиком, только без хвостика. Не то, чтоб высокий, однако ж и не низкий. Цветами расписан невиданными, краски так и сверкают. Это потому что светильни горят, на подставках в половину роста, и — не чадят. Ступени широкие наверх ведут, откуда шум-крики слышатся. Пир горой идет, гульбище. Слуг во дворце — тьма-тьмущая. Снуют, ровно муравьи. Одним наверх яства несут, другие вниз с пустыми мисами спешат. Проходы справа-слева от ступеней — там гридни стоят на страже, покои охраняют. Конечно, Илья бы подольше ротозействовал, доведется ли еще когда во дворце побывать, да этот, пескарь который, не дал. Мало что за руку не хватает, всем своим видом понять дает, ждут, мол. Ну, пойдем, коли ждут.

Поднялись по лестнице, и стала видна горница огромная, столами уставленная. Насупротив дверей распахнутых, у стены, возвышение, на нем стол отдельный, там князь со княгинею. Перед ними столько яств понаставлено, им всей деревней столько за неделю не одолеть. Справа-слева столы длинные, вдоль них —

скамьи, на скамьях — молодцы. Не то, что дома — там скамьи: два полена крест-накрест, на них половина бревна. Тут же все резное, тканями расшитыми покрытое. Ошую от Ильи, одесную от князя, гридни его верные, лицом друг к другу через стол. Вдоль другой стены — гости торговые, люди именитые. Потолок над ними — это вот как если плат бабий расписной взять за четыре конца разом, да вниз дернуть. Светильни промеж окон, а окна — все решетками забраны.

Ну, что за столами творится, оно везде одинаково. Разве яств да питья поболее. Шум стоит такой, ничего не слыхать, потому как один другого переорать думает. А этот другой, он тоже не лыком шит; плеснет в глотку из кубка, и ну орать пуще прежнего. Рук столько по столам шастает, не понятно, как разбираются, где чьи.

Тут князь приметил Илью, столбом застывшего в дверях.

— Вот и он, гость наш званый, — молодой голос перекрыл сразу умолкший шум. Кто-то повернулся в сторону Ильи, кто-то продолжил трапезу, не обращая на него никакого внимания. — Ну как, исполнил поручение, вдосталь Соловья напоил?

Что ни сказать, все впустую будет. Разве объяснишь? Потому Илья просто кивнул.

— Весть донеслась от Чернигова. И вправду богатырь какой-то там объявился, бой в одиночку с басурманами выдержал, погнал их от стен города обратно в Степь. Уж не об тебе ли?

На этот раз Илья плечами пожал: мол, понимай, как хочешь.

— Что ты не больно разговорчив… Ну да ладно. Вот тебе три места на выбор: первое — рядом со мной садись, второе — с богатырями моими, третье — где сам пожелаешь.

— Мало мне одного места, — буркнул Илья. — Не можно ли сразу два взять?

— Как это?

— А так. Не прилично мне, деревенщине, рядом с князем садиться. Потому, согласно слову твоему, и хочу взять себе сразу два: сам пожелавши, с богатырями твоими сесть.

— Будь по-твоему, — расхохотался князь. — А ну-ка, живо несите Илье свет Ивановичу ведерную чару меда хмельного!.. Садись, богатырь, где выбрал. Сразу на два места садись, с богатырями моими. Не все здесь нонче, иные в разъездах. Тех же, что за столом, изволь любить-жаловать: двое братьев-залешан, двое братьев Хапиловых, братья Збродовичи, семеро удальцов, Алеша, богатырь ростовский… Ничего тебе про них говорить не буду, сами промеж себя поговорите.

Поклонился Илья князю с княгинею, к скамье направился. Тут-то и оказалось, что места он себе два выбрал, ан и одного

нету. Так, с полместа осталось, на краешке. Богатыри же и ухом не ведут, что товарищ к ним новый прибыл, что и встретить его полагается как товарища. Нет, бражничают, и ухом не ведут. Добро же! Каков привет, таков ответ.

Примостился Илья на краешек аккуратненько так, чтоб никого не потревожить, потерся об скамью той самой частью, которой девки виляют, парней завидя, а потом этой же самой частью ка-ак двинет!.. Скольких-то с другого конца лавки ровно ветром на пол сдуло. Остальных же так сдавило, не продохнуть. Один вскочил, толкнул рядом сидевших, вскинул руку.

Не на того напал. Такому приему Илья и сам кого хочешь научить может. На лету подхватил ножище булатное, будто перышко, за рукоять. Не стал обратно кидать, в стол вогнал, чуть не до половины. Хорошо встречают у князя, нечего сказать.

Те, которые на полу оказались, тоже поначалу драку затеять хотели, да угомонили их товарищи. Пересели на скамью напротив, зыркают на Илью злыми глазами. А тому до них и дела нету. Придвинул к себе кабанчика жареного, отведывает. В одной руке — кабанчик, в другой — хлеба ухватил. И то сказать, сколько времени во рту маковой росинки не было. Слуга принес чару ведерную, с медом хмельным, выдержанным. Серебряная, в форме обычного ведерка, с каким бабы по воду ходят. Поменее в себя вмещает, нежели ведро, однако и то сказать, не каждый смог бы опрокинуть такую единым духом.

Илья смог. Вот кто бы еще объяснил — зачем? Конечно, у них в деревеньке тоже меды варили. Всякие — и шибко хмельные, и не особо, и с травами пряными. Только такого, как у князя, прежде не пивалось. Ни по крепости, ни количеством. Ажно дух перехватило, как чарой об стол грохнул. У него слезы из глаз, воздух ртом хватает, а соседи его по столу заливаются — чего ж не заливаться, коли они к этому делу привычные. У него по жилам огонь течет, руки-ноги не шевелятся, а они кивают в его сторону, пересмеиваются. Потом вроде как вздохнул полной грудью, да такую силу в себе почувствовал, что вот выведи сейчас в чисто поле, укажи на кольцо, в землю врытое, ухватил бы за это кольцо, поднял над собой землю-матушку… Хлеб с кабанчиком кончились, птицу подхватил, рыбину в две руки к себе подвинул, мису с грибами, еще чару, на этот раз обычную… Запеть захотелось, руки раскинуть и в пляс пуститься, что ж тут у князя, гудочников не найдется? Глянул на тех, кто вокруг сидит: вон они, богатыри киевские! С такими не то что в Степь, всех царевичей-королевичей, что с мечом сунутся, за самое тридесятое царство загнать можно. Это ничего, что не ласково приняли. Главное, чтоб мысли у всех одни были, о земле родимой… Да и

нельзя сказать, — неласково, ишь, подливают-подкладывают…

Что-то с глазами не того… Куда все подевалось? Вот ведь, только что стол был, богатыри, палаты княжеские расписные, пир горой… А тут вдруг перед глазами — стена какая-то серая… Глянул вниз — и там такая же. Руки-ноги не слушаются, ровно кто цепями тяжкими оковал. В голове — будто Соловей свистнул. Морок, не иначе. Вон и стена поплыла…

Закрыл Илья глаза, снова открыл. Спина во что-то жесткое упирается. Неужто его в темницу сволокли? Помотал головой — нет, не в порубе он. И не окован. Лежит на ложе жестком, в какой-то горнице, окошки вон, в них солнышко робко заглядывает, дверь прикрытая. Под головой — руку сунул, поднялась-таки, не подвела, — вроде как седло. Стол посреди горницы, со скатеркой небогатой, лавки — простые, не как те, у князя. Где ж это я очутился? И как? Что со мной приключилось?

Тут дверь скрипнула, распахнулась. Молодец показался, ан не вошел, замер в проеме, на Илью смотрит. Где-то я его видел? Волосы соломенные, ремешком переливчатым схваченные, бородка с усами небольшая, ровно стриженная, сам статный, ладный, в кафтане узорчатом, кушаком перехваченным. Сапоги сафьянные, чуть не в полноги. Возрастом, если и не ровня Илье, то не намного. А вот смотрит не прямо, в сторону косит.

Хотел было Илья спросить, по какой-такой надобности заявился, рот раскрыл, ан вместо слов каркнул. В горле пересохло, слова, будто дверь несмазанную отпереть попытались, да не совладали.

— Тяжко? — как-то глухо, но вместе мягко, сочувствующе, произнес молодец.

Илья только головой мотнул: да, мол.

Молодец полуобернулся, протянул руку, выхватил откуда-то за шиворот слугу княжеского.

— А ну, живо сюда квасу с ледника, полведра, пирогов с зайчатиной, с пылу, с жару, что там еще у вас готово? В общем, все, что есть в печи, то на стол мечи. Давай, пошевеливайся.

Илья, тем временем, сел. Нетвердо, неуверенно, однако ж сел. Пока оклемался чуток, уж и слуга возвернулся. Не один — с ним еще несколько. Тащат, кто что может, на стол мечут, как приказано было. В один миг покидали и с глаз долой, будто и не было.

Только тут Илья заметил, что возле ложа его ведро стоит, с водой. Недолго думая, ухватил, да на голову все как есть и опрокинул — откуда только силы взялись. Мокрый весь, волосья на голове спутались и слиплись, на бороде в стороны торчат — так обычно про *хозяина* в сказках сказывают, детишек пугают. Но

полегче стало. Вроде и Соловей в голове попритих-поунялся. Переместился на лавку, к пирогам поближе, ухватил один — и в рот. Только тут и спохватился.

— А ты чего дверь подпираешь? — спросил с набитым ртом. — Коли сыт, так все одно, негоже. Присаживайся, что ли. Звать-то как?

— Алешей зовут, по батюшке — Григорьевичем… Только ты, Илья, погодил бы за стол звать. — Помялся-помялся, да и махнул, как с дуба. — Виноват я перед тобой. Повиниться пришел.

Чуть не подавился Илья. Ничего не понимает. Он молодца в первый раз, можно сказать, видит, а тот уж и виниться собрался. Когда чего успел?

— Ты, вишь, когда надысь на скамье пристраивался, поприжал… А у меня нрав, самому подчас тошно становится… Иные говорят — горячий, а иные… — Он махнул рукой. — В общем, взыграло ретивое, вскочил я, да и… Мой это нож был… Ночь не спал… Никогда со мною не было, чтоб так… Это ж сорому сколько… Потому и не могу сесть…

Вон оно что!.. Глядит на него Илья, и прежде всего себе дивится. Нет в сердце злобы, хоть и живота лишить мог. Парень, по всему видно, не из последних, а на воробья похож. Тот, когда в пыли купается, перья взъерошит, смешным таким становится. Вот и этот смешной, разве что не взъерошенный. Ну, внутри, может, и взъерошенный, а снаружи — нет. И еще — на отрока нашкодившего похож. А говорит, видно, из себя. Каждое слово словно клещами тащит. Вспыльчив, да отходчив? В Степь с таким лучше не соваться. Поле ратное, оно холодной головы требует.

— Чего уж там, — буркнул Илья. — Не лишил же… Садись, потолкуем.

Хоть и был приглашен, а к лавке бочком-бочком подобрался, присел как-то несмело. Руки перед собой взгромоздил. Не у места себя чувствует. Эх, дать бы тебе по загривку хорошенько, для памятливости. Только ежели б это каждому помогало, не жизнь бы настала, а сплошной праздник. Знай себе ходи, да направо-налево — по загривку…

— Ладно, — снова буркнул, давая понять, что вроде как не очень сердится. — Ты мне вот что, Алеша, сын Григорьевич, скажи: чем это меня опоили таким? Давеча вроде человеком был, а нонче — курица мокрая.

Тот глаза вытаращил от удивления.

— Ты что же, в первый раз меда хмельного отведал?..

— Не то, чтобы в первый… Такого — в первый… Значит, охмелел просто?

— Ну да.

— А не натворил ли чего… лишнего?

— В общем, нет… Не успел, должно быть, потому как глазом моргнуть не успели, ты уж и осел, и захрапел. Ну, мы тебя в охапку, и сюда, в дружинницкую. Разве что, вот, когда лебедя жареного к столу княжескому несли, ты блюдо выхватил, окошко высадил, да лебедь туда и выкинул: отпускаю, мол, лети себе… Слугу, который тебе помешать пытался, блюдом тем слегка приложил, он сегодня так лицом опух — в дверь не лезет… Пока несли тебя, лаялся крепко… Да нет, ничего такого лишнего что-то и не припоминается…

— Это хорошо… Давно ты на службе княжеской?

— Не то, чтобы очень, так…

— Ну, и как тебе?

— Скучновато. Все больше пиры да застолья. Мхом зарасти можно. Оно, конечно, коли невмоготу станет, отправляйся себе на заставу, Степь стеречь. Только это до последнего времени так было. Нонче князь, как услышал вести про Чернигов, ратью идти собирается. Богатырей со всех концов сокликает. Потому и ехать тебе велено…

— Как, ехать? Куда? — Илья мало что пирог не выронил. Он, пока слушал, роздыху себе в отношении пирогов не давал.

— В Рязань. За Добрынею.

— Постой-постой. В Рязань… Не слыхал. Это где ж это? И отчего тебя не посылают?

Алеша вздохнул.

— Мы, вишь, с Добрыней не очень-то ладим. Встречались уже. Коли мне ехать — обязательно мы с ним сцепимся, и проку никакого не будет. А тебя он, может, и послушает. Про тебя уж и слава по земле пошла…

Спокойно так сказал, не завистливо, как бы между прочим.

— Отчего ж это вдруг — сцепитесь?

— Так ведь он с Рязани, а я — с Ростова. Куда там Рязани против Ростова? Так себе, слобода невеликая…

— Да ну? А твой Ростов что?.. Я и про него, признаться…

— Мой-то? Всем славен, всяк знает. Потому как у нас особый город, он, вишь, на два конца поделен. На одном мы живем, ну, кривичи, вятичи, радимичи, а в другом — меря. Это народ такой, от нас особенный. Они в силу камня верят…

— Чего? — не понял Илья.

— Ну, камень есть там у нас на озере. Громадный. Из земли боком торчит. Серый, но коли дождь пройдет, вроде как синим становится. Вот он у них, то ли их богатырем окаменевшим почитается, то ли еще чем — мне как-то и не за надобностью. А в остальном, — две руки, две ноги, на макушке шапка.

— И что, вправду велик он, Ростов твой?

— Чернигов видел? Поболее его будет. А ежели с Киевом сравнить — так поменее. Он вдоль реки стоит, вдоль Пижермы. Название какое-то непонятное. И еще озеро есть, огромное. Неро прозывается. Про него говорят — спас как-то раз дружинник дочь княжескую от ведуньи. Звали дочку Нера. От нее-то и пошло название.

— И что ж там такое промеж ней и дружинником приключилось, коли ею озеро назвали?

— Говорил же, за ненадобностью мне… Кабы промеж меня и ей чего было, а так — ну, зовут — и зовут… Улицы у нас тоже бревнами вымощены, земля уж больно водой напитана. Пустошей много. Терема — как в Киеве.

— И далеко дотуда?

— Как до Рязани, только подалее, верст с пятьсот будет…

— А от Киева до Рязани?

— Вся тысяча…

И кто Илью за язык тянул?

— Все ближе, чем от Киева, этот Ростов твой. Весточку твоим передать, ежели что, с оказией?

— В ножки тебе за то поклонюсь, — серьезно ответил Алеша, и снова чем-то напомнил Илье отрока. — Я им и гостинцев соберу…

* * *

Как Алешка описывал, так оно и на самом деле было. И речка, и озеро, и город по берегу речному, приземистый из себя, крепкий, ровно гриб-боровик. Такие недруг должен стороной обходить, а коли укусить попытается, то как бы зубов не пообломать.

Сюда Илья поначалу и отправился, гостинцы с весточкой передать. Его коню такие расстояния перемахивать не привыкать стать. Как раз в базарный день угодил, потому — нигде по дороге крюка не давал и ни во что не ввязывался. И не пожалел, что слово Алеше дадено. Много чего интересного услышал. Алешка-то, оказывается, из первых в городе. Про него такое тут сказывали, не разберешь, где правда, где придумка. Но даже если вполовину правды, то и тогда выходило, не зря он у князя в дружине богатырской. Алеша и со змеями, и со зверьми чудными, и с богатырями степными да заморскими, что обиду чинили, — со всеми порасправился. Сколько ратей однова погнал, не сосчитать. Даже песни про него складывать стали.

Только это половина пирога. Другая же половина в том состоит, что крепко-накрепко закрепилось за Алешей прозвище *бабского пересмешника*, а такие прозвища, как известно, за просто так не даются. Ежели и здесь все слышанное на веру принять, так он по этой части пуще змеев дока выходит. Едва ли не половина города у него в родне…

Вот, к примеру, что сказывали — это Илья дорогой вспоминает, в Рязань едучи. Живут вроде как в Ростове Лука да Матвей, братья Долгополые. И есть у них сестра, девица-красавица, Настасья. Будто бы как-то раз, на пиру у наместника княжеского, захмелев, расхвастались они красою сестры своей, да прибавили, что она у них заперта в тереме высоком, за семью замками, девки за ней присматривают, возле дверей теремных стража стоит. Потому, ищут они ей жениха богатого да знатного, а таковых во всем Ростове не сыщется. И так они это расхвастались, что удержу нету. Красива, умна, на все руки мастерица… Тут Алеша и не вытерпел. «Знаю, говорит, знаю, сестру вашу родимую. Про ум и рукоделие ничего не скажу, а что красавица писаная — в том головой поручусь». «Тебе-то откуда ведомо?» — братья смеются. «Ведомо откуда? А оттуда, что держал я ее руки белые, целовал ее во уста сахарные». Опешили поначалу братья, а затем пуще прежнего смеются: по-пустому, мол, Алешка, похваляешься. За ними — и все, кто за столом сидел, за бока похватались, покатываются. А тот дождался, пока прохохотались, да и говорит спокойненько: «Я от своих слов не отрекаюсь. Вы вот что, братья родимые, Долгополовичи, сделайте. Вы подите-ка в десятом часу в улицу, из улицы во двор, — там одно бревнышко пошатывается, — да подойдите-ка к высокому терему, да киньте в окошко камушек, да послушайте, что сестрица ваша говорит станет». Призадумались тогда братья, еле срока назначенного дожидаются. Только солнышко закатилось, они — в улицу, к частоколу; а там и вправду бревнышко одно пошатывается. Еще пуще призадумались. Когда же камешек в ставенку резную бросили, услышали: «Что ты так рано, Алешенька, со званого пира идешь-возвращаешься? Али встретили-приветили не почестно?» Тут уж все ясно стало. За великую досаду то братьям показалось, и не миновать бы Алешке беды, да он тем же вечером исчез из Ростова. Как потом дознались — в Киев подался, на службу богатырскую…

И таких рассказов, что Илья за день да вечер наслушался, пальцев загибать, рук не хватит. Может, и неправда все, однако ж, дыма без огня не бывает…

* * *

…Вот уж и Рязань показалась. Тут Алешка все же против правды сказал. Город — не город, слобода — не слобода, если уж на то пошло, так три слободы. Одна — на холме устроилась, две других — пристроились по бокам; которая побольше — к реке спустилась, широкой такой реке, прямо как возле ихней деревеньки; которая поменьше — к другой реке, маленькой, на ихнюю Агафью похожую. Каждая своею стеною обнесена, из каждой в ту, что на холме, ворота ведут. В ней несколько теремов видны, остальные же, хоть и внушительные, а все равно избы с постройками. Правду сказать, в остальных слободах и того нету; избы — совсем обычные. Снаружи — с той стороны, где стены пока еще нету, но видно, собираются строить, — и совсем как будто деревенька прилепилась. Словом, нельзя пока еще Рязань городом величать, а слободой — уже нельзя. Это Илья так для себя решил. Ну, а то, что городу быть, тут сомнений нету. Ежели, конечно, ворог лютый не налетит, не спалит все до основания, не порушит. Только не верится в это, а верится в то, что еще один город, богатырями славный, в их земле будет. Кстати сказать, богатырь уже имеется.

Илья, как в ворота заехал, двух отроков приметил. К ним и обратился, чтоб к двору Добрыниному проводили, заодно и поспрашивал. Спешился, посадил обоих на коня, под уздцы ведет, слушает, про что отроки, перебивая друг дружку, верещат.

И вот что, по их словам, выходило.

Жил да был в славном городе (никак иначе) Рязани Никита Романович, муж славный, из дружинников. Шестьдесят весен прожил, в шестидесяти ратях со степняками поучаствовал, а в скольких поединках богатырями заезжими — тому счету нет. Пришло время, не стало Никиты. Осталась у него молода жена, Амельфа Тимофеевна, да сынок любимый, Добрынюшка. Когда отца не стало, он еще не на возрасте был, пяти-шести лет от роду. А как возрос до двенадцати, тут всему обучился — и грамоте, и боротися, и оружием владеть, что от отца осталось. Слава о нем по всем весям пошла, многие являлись искусство его испытывать, только уходили пристыженные, потому как не обороть никому Добрынюшку нашего! Так что ты смотри, коли бороться приехал, то как бы и тебе не опозориться. А еще он столько Змеев Горынчищев одолел, сколько никто другой, и степняки его боятся, и богатыри заезжие. И невеста у него — самая красивая в городе. Вот.

Так незаметно и до двора Добрынина добрались. И от ворот он не шибко далеко оказался, и город будущий, а покамест, слобода, все-таки, размером не велик. Да и двор-подворье слободе под стать — не велик, не мал. Толкнул Илья ворота —

приоткрылись. Зашел, окинул взглядом хозяйственным. Тут тоже — серединка-наполовинку. Вроде и есть хозяин, да не сказать — рачительный. Изба ладная, а слегка на одну сторону присела, венец поднимать надобно. У телеги три колеса дегтем смазаны, а четвертое брошено. Хлев прочно стоит, прямо, ан одна створка дверная к другой поверх привалилася. В общем, не к хозяйству сердце прилегло, к чему-то иному. Следит, правит, где надобно, но без должного усердия.

Оставил коня возле колодезя, плеснул ему воды из ведра в корыто, сам к окошку подошел, постучал легонько в прикрытые ставеньки.

— Дома ли Добрынюшка, сын Никитич?

Еле отшатнуться успел, а то ставенькой расписной прямо в лоб и получил бы. Распахнулись, за ними баба, в возрасте уже, не иначе как сама Добрынина матушка. Сказать по чести, Илья, по рассказам отроков — молода жена — почему-то себе ее молодкой и представлял, совсем того в разумение не взяв, что отроки-то песни сложенные от себя пересказывали. Он ведь еще прежде подивился, что те в лад верещат, один другому на подмену… Глаза все равно в сторону отвел, — негоже без хозяина на бабу, что в доме одна, засматриваться.

— А ты кто, молодец, будешь? За какой надобностью Добрыню спрашиваешь?

— Гонец я, можно сказать, из Киева, от князя посланный. Зовут меня Ильей, по батюшке — Ивановичем. Послан я Добрыню в Киев звать, на службу княжескую, потому как он нонче из всех богатырей вроде как первый.

— Уж не тот ли ты самый Илья Иванович будешь, что Чернигов оборонил да Соловья разбойника одолел?

Подивился Илья. В который раз. Найдется ли что на свете белом, чтоб молву людскую обогнать?

— Вроде как я, — не стал отнекиваться. — А ты почем вызнала?

— Почем вызнала? В народе что говорят: «знать-то ведь сокола по вылету, еще знать-то богатыря по выезду, еще знать молодца ли по поступочки»… Эх, Илья, Илья… Сам ведь именем-отчеством представился… Видом же — с моим Добрынюшкой схож… Еще скажу — зря звать приехал. Не пойдет он служить князю. Он — птица вольная, иначе как себе, никому служить не желает.

Призадумался Илья. Где ж ему слов таких найти, чтоб уговорить молодца мало того, что против собственной воли пойти, так еще и мать одну оставить? Еще отроки про невесту говорили… Ну, мать с невестой можно и в Киев перевезть, а вот

князю служить…

— И рада бы в дом пригласить, да без хозяина… — вдруг улыбнулась Амельфа Тимофеевна. — А хозяин уж и не знаю, когда возвернется.

— Далеко ли подался?

— В чисто поле. Или к реке — утиц пострелять. Ты, ежели срочно, поезжай, погляди его там, а я пока на стол соберу, людей позову. Не найдешь — не беда, ввечеру возвращайся, хлеба-соли отведать. Чем богаты…

Повернулся Илья к коню, а она и говорит:

— Я Добрынюшку удерживать не стану. Как решит, так и будет. Не верится мне, Илья, чтоб по злому делу аль умыслу ты на двор наш ступил.

* * *

…Снова оказавшись за городскими стенами, Илья отпустил поводья. Чисто поле — это только так говорится. Где искать Добрыню, оказавшись здесь в первый раз? Тот мог оказаться где угодно: и на реке, и в лесу, и в двух шагах, и за десять верст. Ежели за утицами подался, то скорей всего к реке. А то, может, зверя решил раздобыть? Тогда — по лесу рыщет. Потому и отпустил поводья; у него не конь — клад, все дороги знает, может, и тут сподобит? Это ведь он только с виду обычный, а на самом деле неизвестно, сколько на свете белом живет да кому прежде служил.

Конь, вместо того, чтоб направо свернуть, к реке широкой, влево подался, вдоль стены. Коли б Илья сам правил, непременно бы к реке подался, а тут… Ладно, поглядим. Едет себе эдак неторопливо, стены осматривает. Хороши. Крепки. Башни вот только невысокие, едва выглядывают. С такой башни далеко не углядишь. Да и сами стены тоже не очень. Тут особо высокой лестницы не надобно, чтоб наверх взобраться. Ров неказист, неширок, в смысле. Конечно, когда тут вполне себе город будет, перестроится все, а пока… Пока без богатырей никак, и Добрыня — один из них.

Вот уж и стена закончилась, и башня угловая приземистая, ров в речку уперся. Глянул на нее Илья — в меру поросшая, в меру чистая, шириной не особо — как раз то, что утицам надобно. И шевеление вдали обозначилось, сохатый, должно быть. Ишь как цветом на фоне зелени выделяется. Тут, должно быть, знатные места для охоты, коли зверь так близко к слободам подходит. В другое время не удержался бы, пустил стрелу. А так

— не к чему ради потехи зверя бить, сейчас подберемся поближе — пугану, чтоб впредь осторожничал.

Ан вовсе и не сохатый оказался. Конь это, не иначе — Добрынин, потому как оружием обвешан. А статью — ровно близнец тому, что под Ильею. Смирнехонько эдак стоит, ровно задумавшись. Однако ж каждый знает, — не тронь коня богатырского; никому иному служить не станет, хоть ты пополам разорвися. И ничем-то ты его не приневолишь за собой идти. Ну, ежели кто не знает — пускай сам попробует.

Куда ж хозяин его подевался? Нигде его не видно. Никакой приметы не видать, куда направился. Оно, конечно, можно б и подождать, коли б поспешать не надобно. Вот и гаркнул Илья со всей дури, на всю округу, Соловей бы слышал — и тот подивился бы.

И тут шваркнуло что-то неподалеку, возле самой воды, прошелестело, — не иначе как стрела, — и поднялся молодец — косая сажень в плечах, без доспеха, в рубахе с воротом нараспашку, портах холщевых да сапогах. В руках лук, за плечами колчан. На Алешу чем-то смахивает. Они с ним, должно быть, погодки.

— Ты что, иного места не нашел, глотку драть? — спрашивает. — Какого лешего принесло? Чего надобно?

— Да вот, Добрыню ищу. Знаешь такого?

— Может, и знаю. Зачем он тебе?

— Дело у меня к нему есть.

— Дело, говоришь? Силушками, небось, помериться решил?

— Может, и решил.

Вот почему бы просто не сказать о своем поручении от князя? Откуда это берется, чтоб на ровном месте бучу учинить? Задор молодецкий играет — так вон, камень на дороге который год лежит, колею вокруг пробили, поди, да столкни; лесина завалилась, — в сторону сдвинь, еще чего путного сделай. Так нет же. Это пускай кто-нибудь; всем мешает, авось, кто и найдется. Сколько раз бывало: сойдутся посреди дороги два соседа, не успеют друг другу пару слов приветственных сказать, а уж кулаки в ход пошли. Что, с чего — сами потом в толк не возьмут, как и получилось…

— Ну, и как меряться будем? Я тот самый Добрыня и есть.

— Мне все равно.

— Так и мне все равно.

Вздохнул Добрыня, к коню подошел, булаву с седла снял, в руке повертел, перекинул с руки на руку. Обернулся, а Илья, спешившись, таким же манером свою крутит. Уставились друг на друга, словно каждому уже той самой булавой по голове

неразумной со всего маху пришлось. Потому — особый манер, его ни с каким иным не спутаешь.

— Давай на поясах, — буркнул Илья. — Негоже с оружием-то. У меня доспех есть, а у тебя — нету.

— Без разницы мне, — буркнул в ответ Добрыня. — Щит есть — им и обойдусь.

Но Илья уже разоблачился, оставшись в том же наряде, что и Добрыня. А у того еще больше недоумения во взгляде.

Наконец, сошлись. Ухватили друг дружку — одна рука под плечом противника пущена, другая — поверх, в кушаки вцепилися. Крякнули дружно, начали. Ногами упираются, тянут один другого, чтоб от земли оторвать да на землю и бросить. Ровно два медведя сцепились. Дышат тяжко, кряхтят. Пар от обоих валит — хоть горшок с репой ставь. Никто не одолел.

Разошлись, насупленные. Сели друг от друга в сторонке, посидели, передохнули, вдругорядь сцепились.

Несколько раз расходились, несколько раз сходились, — никакого проку. И чем бы все окончилось, неизвестно, да заступил Илья ногой в кротовину, подогнулась нога, тут-то Добрыня его набок и повалил. Мало что повалил, так и одолел бы, однако ж вспомнил Илья, чему его жена учила, — она ведь и борьбе у степняков обучена была, — изогнулся особым образом, и Добрыня, вместо того, чтоб его к земле придавить, мимо пролетел да в реку и покатился. Стало быть, что ж — за Ильей победа осталась? Как бы не так. Что ж он, дурнее Добрыни? Вслед за ним покатился. Сначала один водяных с водяницами разогнал, что твое бревно плюхнувшись, затем второй — остатних, которые от первого шарахнуться не успели.

Не глубоко у берега, по грудь, однако травы с ряской — искать не надобно. Выплеснулись оба, встали на ноги — как есть два сапога, один напротив другого. Что один, что другой — оба ряской облеплены, тиной обмотаны, трава какая-то пучком с головы свисает. Увидит кто в сумерках — вот тебе и сказка готовая; кто ж поверит, что это два богатыря силушкой мерялись? Фыркают, утираются, траву сдергивают. Глянули друг на дружку — и в хохот. Жалко, никто не видит: два дурня в реке, еще и хохочут.

Выбрались, сели на бережку покатом, сапоги сняли, воду из них льют. Препираются. Добрыня говорит, коли б не прием нечестный, так его б победа была. А Илья в ответ — в бою все средства хороши.

— Постой-ка, — вдруг спохватился. — Ты булавой тут давеча помахивал… Сам научился, али показал кто?

— Святогор научил, — отвечал Добрыня. — Так и ты, вроде,

таким же манером…

Даже присвистнул Илья.

— В учениках я у него жил, год, а то и поболее…

— И я в учениках…

…Месяц на макушку неба взобрался, когда в город возвернулись. Ворота заперты были, однако впустили. Как и не впустить-то? Они ведь сгоряча с петель поснимают. Во дворе Добрынином шум стоит, не разошлись еще приглашенные. Сама Амельфа Тимофеевна возле ворот. Беспокоится.

Подошел к ней Добрыня, обнял ласково.

— Ничего не подстрелилось сегодня, ан и не с пустыми руками возвращаюсь. Нонче нашего двору прибыло. Встречай, Амельфа Тимофеевна, брата моего названого, Илью Ивановича. Привечай нас, да собирай в дорогу дальнюю. Поутру, чем свет, в Киев отправляемся.

10. КАК ПО МОРЮ, МОРЮ СИНЕМУ, МОРЮ СИНЕМУ, ХВАЛЫНСКОМУ…

Плещет вода под веслами, мягонько так. Обтекает-обвивает нос корабельный, высоко над волной взметнувшийся. Об том корабле уж и песня сложена:

Хорошо Сокол-корабль изукрашен был:
Нос, корма — по-звериному,
А бока зведены по-змеиному,
Да еще было на Соколе на корабле:
Еще вместо очей было вставлено
Два камня, два яхонта,
Да еще было на Соколе на корабле:
Еще вместо бровей было повешено
Два соболя, два борзые;
Да еще было на Соколе на корабле:
Еще вместо очей было повешено
Две куницы мамурские…

Таким, должно быть, и останется в памяти народной, коли уж и песня сложилась. А того певцу невдомек, что для корабля боевого главное — не украшения. Потому и призвал Владимир-князь строителей из варягов, чтоб соорудили они ему такую ладью, какая одна тысячи бы стоила, чтоб нельзя ее было врагам ни с берега одолеть, стрелы огненные мечучи, ни приступом взять. Иному бы князю отказали, а нашему… Он, вишь, в былые годы, когда враги на него ополчились, в ихних землях скрывался. Улучил времечко, вернулся, врагов своих одолел, дружину варяжскую наградил по заслугам, кто обратно подался, кто — в иных местах счастья искать, а кто и доныне в Киеве служит. Вот среди них-то и нашелся мастер, этот самый Сокол-корабль построивший. Целый год, говорят, строили, в тайне великой, и другого такого вряд ли сыщется.

С виду обычный, ничем особым не приметный, разве что размером покрупнее прочих будет. Ну, еще попузатее. Зато сделан так, что весло рулевое перекинь, вот тебе нос и корма местами поменялись. Куда хошь, туда и греби. Или вот корзину приспособил: потянешь за веревку, и можно человека в корзине на мачту поднять: и видно дальше, и из лука сподручнее. Палку приспособил — потянешь за нее, и над бортами щиты

подымаются, с маленькими такими щелями; из-за них стрелять удобно, а с другой стороны, этих самых стреляющих от стрел укрывают. Другую потянешь — из бортов ровно крылья вымахивают, ежели кто на лодках подойдет, взлезь трудновато будет. Опять же, коли доски перекинут, с другого корабля, разом скинуть можно. Скамьи удобно расположены, чтоб в спину веслами не бить и, опять же, тебя не били. Ну, и ногами не цепляться, когда по кораблю ходишь. И легкий, и прочный, и ходкий, и на волне устойчив — в общем, что и говорить, чудо, а не корабль. Без всяких там куниц мамурских…

Сколько ж времени прошло с той поры, как он из Киева в путь дальний, к берегам моря Хвалынского отправился? Давайте считать.

Илья с Добрыней возвернулись как раз к пиру княжескому. Встретил их князь приветливо, по-доброму, мало не сам под руки к столу богатырскому проводил. Но все-таки не сам. Тут уже и другие богатыри присутствуют, на зов княжеский явившись: Сухман, Иван Колыванович, Михайло Потык, Полкан. Всем предстоит вскорости в Степь идти, за обиду нанесенную, за набеги коварные, разорительные. Долгим будет поход. Про князя говаривали, с тех пор, как к варягам бегал, никому обид не прощает. Уж лучше б тому на свет белый не родиться, кто поперек его воли пойдет, али вот как степняки, на владения его покуситься посмеет. Вот, недавно, радимичи на себе его тяжелую руку почувствовали. Задумали выйти из его воли, сами собою управляться решили. Не много и понадобилось. Сам князь и идти не пожелал — послал воеводу своего, Волчий Хвост прозвищем. Дал сколько-нибудь воев. Не сдюжили радимичи, по лесам по полям разбежалися. Вот только-только и случилось, ан уже в народе поговаривать стали: *радимичи волчьего хвоста бегают*. Из богатырей, правду сказать, с Хвостом никто не ходил. Не по сердцу он многим пришелся. Оно понятно, лучше всем заедино быть, под одною рукою; ежели кто в лес, кто по дрова — степнякам одно раздолье будет, или еще кому, из-за гор Сорочинских. И тех, кто этого не понимает, учить должно… А все равно — не по сердцу. Не чужие ведь… К чести княжеской, он и не настаивал. Малым обошелся.

Ну, до радимичей, можно сказать, рукой подать. Тут хоть и нужно поход готовить, однако ж не так, как в Степь. Двумя караваями в котомке не обойдешься. И время правильно выбрать надобно, и путь. А коли случится, так и союзниками разжиться. Союзники же ох как пригодились бы, потому как задумал князь не просто врага подальше в Степь отогнать, а саму их столицу покорить. Вот скажите, кто самый лучший союзник против

кочевников? Кочевники и есть. Потому послал князь к морю Хазарскому, к торкам. Те и до золота жадные, и пограбить у них в чести, — только свистни…

А что ж богатыри наши?

Добрыня жену из Рязани привез, Настасью Микулишну. И красавица, — впрочем, эти у нас никого особо не удивишь, у нас таких большинство, если не все, — и работящая, и характером ласковая. Чем-то на самого Добрыню смахивает, только обличьем баба. Про нее в Рязани поговаривали, будто ее подкинули, скольких-то дней от роду, а на самом деле она — дочка самого Микулушки Селяниновича. Иные дурные головы напрямки родителей ее спрашивать отваживались, но те только улыбались да отмахивались: считайте, мол, кем хотите. Отвел Владимир-князь Добрыне участок земельный, мастеров дал — стройся. Задумка у него — слободу Богатырскую в Киеве учинить. Надо ж с кого-то начать, вот Добрыня первым и оказался. Всем миром богатырским избу ставили, сараи. Ежели б срубам не устаиваться, за день бы сложили, а так — подождать пришлось, пока мох приусядет, пока бревнышко к бревнышку подладится. Даже Алешка, и тот…

Странные они какие-то, промеж себя. Сколь ни пытался Илья разузнать, что промеж них случилось — оба, как сговорились, рот на замок, замок в утку, утку в зайца, ну, и далее, до острова в море-окияне… Нельзя сказать, чтоб волками друг на дружку глядели, однако ж и товарищества промеж них нету. С Ильей оба товариществуют, а промеж себя… И главное, не видит Илья, чтоб из-за чего-то серьезного разругались. Ну, может, даже и не разругались, может, не поделили чего… Хотя все равно непонятно, чего им там делить? Меж их городами пятьсот верст… Решил для себя Илья, что они славой расчесться не могут. Кому первым богатырем слыть. И тому, и другому вторым себя зазорно считать, вот и поцапались. Не в поединке промеж себя, конечно. Хотя, ежели б довелось, то еще неизвестно, кто победителем бы вышел. Добрыня — он посильнее будет, половчее, казалось бы, тут никаких сомнений. Ан что у Алешки на уме, пожалуй, и сам он зачастую не ведает. Там, где Добрыня лбом в дуб упрется, Алешка, глянь — уж и обошел. Ни справа, ни слева, ни над, ни под… Как? Кто ж его знает. Про него иногда говорят — самого Волха в хитростях превзошел.

Илья тоже решил обустраиваться. Добрыню обустроили, теперь его черед в слободу Богатырскую перебраться. Выдумал себе заботу какую-то, сказался, чтоб ожидали вскорости, и за Радой подался. Поспешает, сердце из груди рвется; вишь, как оно все случилось, даже лучше, чем по-задуманному. И служба

княжеская, и товарищи верные, и поход долгожданный намечается. Не сможет Рада не согласиться. Чего ей там одной на отшибе куковать? Сейчас ее перевезти, а там и хозяйство. Тут Добрыня поможет; у него конь — должно быть, от той же кобылицы, что и у Ильи. Они из Рязани в Киев запросто махнули, даже и не заметили. Побратимы… Глядишь, может и Рада с Настасьей посестрятся… А там Алешка образумится, хватит ему по чужим бабам бегать, пора своей обзаводиться.

Не то, чтоб не согласилась Рада. Не оказалось ее в избе. И вообще нигде не оказалось. И изба — ровно *суседушкой* покинута, и прочее все — и *гуменник*, и *баенник*, и *овинник* — никого не осталось. Чисто все в избе и на дворе, ан не живо как-то. Ходит Илья кругом, то зайдет куда, то опять выйдет, постоит, глянет вправо-влево, снова ходит. Ничего не понимает, а спросить не у кого. Придумал было к кузнецу податься, видит, конь понурился; знать, не судьба ему, к кузнецу-то… Вернулся в избу, сел за стол, уронил голову на руки — нет, не сидится. Сердце на части рвет, криком безмолвным исходит. Не смог усидеть, выскочил, грохнулся на лавку возле крыльца, тут и застыл. «Каждому счастья хочется, хотя немножечко, хотя глоточек маленький…» — вспомнилось. И надо бы меньше, да некуда. Так и просидел, то ли забываясь временем сном коротким, то ли нет. Поначалу казалось — спит он, стоит глаза только открыть, и все по-прежнему, по-старому обернется. Как до того дня, когда попрощались. Потом — моргнуть боялся; казаться стало, прикроет глаза, уснет, и, как в сказке, счастье свое проспит.

Ничего не случилось, ни во сне, ни наяву. Каким все было, таким и осталось — вроде бы и знакомое, а чужое. В Киев вернулся, чернее черного. Что лицом, что сердцем. Сколько дней медом наливался, про то сам не ведает. Однако отошел. Товарищи за ним приглядывали, но ни о чем не спрашивали — и так все видно, чего лишний раз рану бередить? Захочет сказать — сам скажет, не захочет — его право.

А там и дело подошло. Вот-вот в поход отправляться. Владимир рать свою надвое разделил. Одну часть, большую, сам вести решился, пешим путем. Другую, на ладьях, воевод назначил. Оно, вроде, и обидным могло показаться, что никого из богатырей, только на то верная думка была. Из них никто ни с ладьями, ни со снастями корабельными управляться не умел. Пришлось обучать, особливо что Сокола-корабля касалось. На него, по соответствию, и определили Илью с Добрынею. Алешу в поход не взяли, и тоже, не в обиду. Надо ж кому-то Киев стеречь, без сильной охраны остающийся? Прознают про то враги, и из Степи набегут — их там, ровно муравьев, пока с одними

валандаешься, другие припрутся, они и промеж себя не очень-то ладят, — и из-за гор. А могут и свои свинью подложить, ну как захотят снова в особицу жить да смуту затеют? Потому и остался Алешка, не в обиду, как уже сказано было, а в знак доверенности.

Эх, хорошо сказочникам!.. У них на рать собраться — лапти обул, топор за пояс — и подался, насвистывая. Долгими были сборы, трудными, а как в путь тронулись, еще горше показалось. Как там пешие шли, про то Илье с Добрыней неведомо, а сколько они прелести походной хлебнули, не пересказать. Спроси их — чего больше было, они ли на ладьях шли, или ладьи на них? — не ответят. Кто только путь такой отыскать сумел? Это ж к небу подыматься надобно, чтоб всю землю от края до края видеть, а без того — непонятно. Вначале все по Славутичу плыли; как на реку широкую выбрались, там тоже. А промеж них от одной к другой, — даже и не поймешь, то ли река, то ли протока какая, — на горбу ладьи тащили. Ну, не то, чтоб совсем на горбу. За канаты тянули, нос приподнимаючи. А кто не шибко силен, те под нос бревна подпихивали, чтоб ладья по ним катилась. Как освободится бревно назади, его подхватывают, и опять вперед несут. Вроде нет ничего хитрого, ан ежели с умом да сноровкой взяться, без задержки получается. Потому как прежде, нежели походом идти, — а может и еще раньше, — в нужных местах просеки были проделаны да от лишнего всего очищены. Опять же, не в стороны поразбросаны, а навесы устроены, поленницы, в местах роздыха. Чтоб и от непогоды укрыться, и огонь развести. Говаривали, что теперь путем этим гостям сподручнее пользоваться будет, и это тоже к добру. Торговлю вести, оно предпочтительнее, чем мечами-саблями бряцать. От торговли жизнь лучше становится. Многое можно князю в укор поставить, нрав у него — не каждый выдержит, а тут во всей красе себя показал: обо всем посмотрел, обо всем позаботился.

Как там в сказках говорится: долго ли, коротко… Так и тут. Долго ли, коротко, а соединились, где уговорено было, обе рати. Дождались союзников, дальше вместе тронулись. Такие союзники попались, что хоть бы их и не было. Галочья стая, не воины. Шум от них непрекращающийся, что днем, что ночью. Неприятель их за сто верст услышит.

И за более услышал, а что толку? Одолели рати Владимира рать неприятельскую. В сече злой одолели. Ладьи к самой столице ихней спустились, не давали ни подмоге переправиться, ни уцелевшим, с поля боя утекших. Плечо в плечо богатыри бились, один за другого насмерть стоял. Что и когда промеж ними было — все позабыто. Общие обиды земли родной для каждого первее прочего стали. Было, чего припомнить…

Но и то сказать: народ наш зол по делу, однако ж отходчив. Запросили степняки мира у князя. «Быть промеж нами миру, доколе камню не плавать, а хмелю не тонуть» — клялись. Поверил князь. В самой их столице мир утвердил. Пир по такому случаю устроили, на несколько дней. Славно погуляли, мало опять не до рати.

Из-за Добрыни случилось. И из-за диковин. Они, эти самые степняки, совершенно не по-нашему живут; обычаи у них другие, жилье, одежда, да что там говорить, даже видом — и тем против нас отличаются. Вот как-то раз отправился Добрыня на базар, диковинок каких домой прикупить. И набрел на торговца лошадьми. Кони у них, конечно, красивые, спору нету, ан нашим не чета. Нам какой конь надобен? Чтобы и в соху, и на рать. Сильный, выносливый, неприхотливый. А ихние что? Быстры, ладны — этого не отнять, а ножки тонюсенькие; такого впряги в соху — он через пару шагов и копыта отбросит. Прокормить — всей семье зубы на полку сложить, за ненадобностью. Тут-то и обозначился конь особый, горбатый. Кривой весь из себя, лохматый, и пожрать не дурак — все чего-то пережевывает. Называется как-то странно, не запомнил. Запомнил только, что слово эдакое на улице без того не сказать, чтоб сразу не побили. Видит торговец, богатырь русский конем интересуется, и ну его расхваливать — через толмача. Такого понарассказал, что даже если половина половины правда, и то — конь, всем коням конь. Так голову Добрыне задурил, что он этого самого зверя купить решился. В конце концов, на что-нибудь, да сгодится. Особливо ежели тяжести таскать приучен. Он и полез зубы посмотреть — кто ж коня иначе покупает? Только было собрался пасть ему раскрыть, а тот ка-ак плюнет!.. Лошадь — и плюется. Где ж такое видно? Оторопел Добрыня, больно уж неожиданно все стряслось. А коню понравилось, должно быть, он вдругорядь плюнул. И, главное, опять попал. Правду сказать, промахнуться тяжеловато было, Добрыня прямо перед ним стоял…

Вот скажите, сыщется ли во всем белом свете тот, кто подобное потерпел бы? Засветил ему Добрыня в ухо, слегка так, чтоб не до смерти, а и того хватило. Копыта кверху — и улетел. На беду, хозяин животины этой самой сунулся. Он поначалу рядом гоготал, а как лошадь его улетела, не до смеху стало — в драку полез. Ну, Добрыня и его оделил, по справедливости чтоб. Глядит, бегут со всех сторон степняки, которые с саблями, которые — кто с чем, за своего заступаться. Добрыня им руки пустые показывает, мол, чего взъелись, да еще с оружием? Я-то, мол, без ничего… Ан это только подумалось ему, что без ничего. Оглобля в руках оказалась. Как попала — и сам не ведает. Только

он этой самой оглоблей весь их базар подровнял. То есть, кто повыше из степняков был, кто пониже — не разобрать, все лежат побитые. Опять-таки, не до смерти, а слегка, в науку, чтоб не могли над богатырем нашим насмехаться.

Разобрались, конечно, откуда смута пошла, не дошло дело до рати. Кто на базаре не был — тот посмеялся, кто был — мог и обиду затаить.

Пока разбирались — весть пришла, еще какие-то степняки идут. Недалеко уже. Тех тоже побили. Загнали невесть куда, да так, что они власть княжескую над собой признали, нарекли Владимира своим *каганом*, откуп богатый дали и впредь обещались каждый год дань посылать. Гостям обид не чинить, и через свои земли пускать беспошлинно, ежели таковые найдутся, чтоб в царство Индейское, где Волх, пути торговые торить.

Казалось, закончился поход так, что лучше и не надо. Владимир с войском обратно в Киев подались, а Сокол-корабль остался. Потому как оказались где-то возле моря Хвалынского владения какого-то *царя Салтана*, и очень ему не понравилось, как Владимир все в свою сторону повернул. Он и прежде корабли свои иногда посылал, чтоб в реку великую, Волгу, входили, чужие ладьи да города-селения по берегам ее грабили. А с недавних пор, еще до того, как с Владимиром мир заключен был, объявился особый, с богатырем сколь могучим, столь и безжалостным. И столько он бед принес, что степняки в договоре о мире вечном особым условием поставили, чтоб Владимир помог им от ворога лютого избавиться. Тем более, что и Владимировым гостям и землям от него доставалось.

Согласился князь, оставил Сокол-корабль в помощь, вместе с богатырями своими, Ильей да Добрыней. Вдвоем они — кого хочешь одолеют. Коли грудь в грудь сойдутся. А вот с этим туго.

Сколько дней минуло, как князь, отдав наказ, в Киев возвернулся, — и не сосчитать. Только за все это время ни разу корабля того разбойничьего не встретили. Да что там — не встретили… Видно, тот, кто им правит, поопытнее будет, нежели Илья с Добрыней. Они его в море Хвалынском рыщут, а он в верховья реки уходит, там разоряет. Они — туда; там же, кроме пепелища, и нет ничего, а злодей неведомо как уже в море оказался — корабли грабит. Правду сказать, река, при впадении в это самое море, на столько рукавов да проток делится — такого числа и на свете нету, не придумали еще. Вот и получается: Сокол-корабль одной плывет, а разбойники — другой.

День — день догоняет, ночь — ночь. Нет того, чтоб докучно было; их, степняков этих, видимо-невидимо оказалось, и все разные. С одними мир заключили, а другим он — не указ. Не

успеешь одних отогнать, другие лезут. Шныряют, разбойники, ничем-то их не угомонить. Но это полбеды. Беда, как узнали, что поселение, отцом Владимира на месте разоренного Итиля-города оставленное, сожжено и разграблено. Только в живых и остался, что старый гусляр, то ли в удачу, то ли в наказание. Поведал он увиденное глазами, еле зрячими, что пристал к берегу какой-то корабль, вывалилась из него туча черная, накинулась разом. Не совладать бы ей с насельниками, сдюжили бы, ежели б не богатырь ихний. Он один всех прочих превзошел. Что ни махнет своей саблею, — людишки целой улицей валятся; что ни пристукнет кулачищем — изба по бревнышку катится… Песни гусляр складывает, ему за малым перышком целый гусь чудится, ан от разора выжженного никуда не деться. Вот оно, пятно черное, ровно сердце того самого богатыря, что имя такое носить недостоин. И на земле ему быть не должно. Встретить бы его в чистом поле… Нет, не встречается.

Кабы не гусляр, тоска одолела б, наверное. А так, начнет чего петь, али рассказывать, ровно хоть ненадолго, а в края родимые возвернулся. О чем рассказывал? Да вот, хотя б, об этом.

Кто ж знал, например, что та самая Волга-река, в Хвалынское море текущая, сестрицей родной озеру Ильменю доводится, возле Нова-города раскинувшегося? Никто б и не узнал, коли б не гость один…

* * *

Жил-поживал в городе, что на этой самой Волге-реке, гость один, именем Садко. Двенадцать лет гонял по реке великой ладьи свои, вверх, вниз; торговал, чем довелось, что от отца досталось, аж двенадцать лет, и не было ему ни в чем убытку. Правда, достатку особого тоже не было. На житье-бытье хватало, на дом, на корабли, на товары; а на такое, чтоб все рты разевали да завистью завидовали, того не было. В общем, так себе гость, средней руки. Однако ж, он и тем был вполне доволен.

Что уж там такое случилось-приключилось, а только вдруг подумалось молодцу, что гоняет он корабли свои по Волге, а ни разу в Нове-городе, хоть слава о нем по всей земле разнеслась, с товаром красным не бывал. Вот и задумал он сходить туда, на других посмотреть, себя показать. Ан прежде, чем в путь-дорогу отправиться, взял он каравай, в обхват размером, посолил густо, вышел в лодке на средину реки, опустил на стрежень, поклонился поясно.

— Спасибо тебе, — говорит, — матушка Волга-река!

Двенадцать лет по тебе гулевал, ни в чем не было мне неудачи, а что удачи особой не было — так в том не тебя винить, сам виноват. Прими от меня подношение малое. Иду я, добрый молодец, в Новый город. Не знаю, свидимся ли еще когда.

Еще раз поклонился, аж до воды рукой достал, сел на скамеечку, да к бережку погреб. Подгребает, и видит: сидит на берегу девка красная, в сарафане, ладьями, да рыбами, да цветами водяными расписанном, цвета такого, что не передать — он и белый, и зеленоватый, и голубой, — и все вместе. И глаза у нее — голубые-преголубые. Загляделся Садко на девку, вставать стал, мало из лодки не выпал, как в берег ткнулась. Рассмеялась девка, присела к воде, набрала полную ладошку, да как брызнет!.. Что там и воды-то, всего ладошка, а будто с ног до головы окатило.

— Спасибо тебе, добрый молодец, за подношение твое, — говорит. — Не сочти за труд просьбу мою. Как придешь в Новый град, встань под башню проезжую, поклонись от меня братцу моему, славному Ильменю-озеру. Не забудешь?..

Какой тут забудешь!.. У Садка рот раскрылся — медведь влезет, зубов не тронет. Снова рассмеялась девка, ступила себе на воду текучую и пошла спокойненько. Вот только что была — и нет ее…

Долго ли, коротко ли, про то не ведаю, а пришел, наконец, Садко, к Нову-городу. Пришел, разузнал, где башня проезжая, улучил время, встал под башней, лицом к озеру, поклонился поясно, как прошено было.

— Гой еси, славное Ильмень озеро! Сестра твоя, Волга-река, привет тебе и поклон со мной посылала. Жалеется, что никак-то вам свидеться не доведется.

Подождал малость — ничего не случилось. Он вдругорядь поклонился, слова наказанные сказал — и опять ничего. Повернулся идти, и нос к носу столкнулся с парнем-ухарем, в красной рубахе, ворот нараспашку, солнцем да месяцем расшитой, золотым поясом с кистями подпоясанным, сапогах сафьяновых.

Хлопнул Садка по плечу, тот мало в воду не угодил.

— И тебе поздорову быть, добрый молодец, — парень говорит. — За поклон да привет — спасибо. Откуда сестру мою знаешь? Как она там живет-поживает?

Поведал ему все Садко без утайки: как ходил по всей реке, от вершины до устья, как захотелось ему Новый город посмотреть, как с Волгой повстречался, какой она наказ ему дала. Выслушал его Ильмень внимательно, хохотнул.

— Добро, — говорит. — Есть у меня задумка одна. Больно уж

эти упрямцы носы задирают. Того и гляди звезды с неба посбивают. Надо бы с них спеси посбить немного.

И рассказал, что делать надобно.

Вот поутру отправился Садко вместо торговых рядов к начальникам рыболовным, работных людей с неводом просить. Обещал цену хорошую за работу дать. А работа — пустяковая: только и надобно, что три раза невода в озеро забросить. Сколько принесут неводы, столько и ладно. Полные будут — моя удача, ничего не будет — знать, не судьба. Цену спрошенную вперед плачу. Переглянулись начальники, посмеялися. Посмеялися — цену втридорога заломили. Садко, как и обещал, сполна заплатил, слова поперек не сказал. Спрашивают: где невода бросать? Он им: не знаю мест здешних, отвечает. На ваше усмотрение. Где рыбы побольше, там и бросайте. Еще пуще посмеялись начальники. Говорят людям своим работным: вы два невода сперва там бросьте, где рыбы отродясь не было, а один — где ее завсегда полно. Человек, хоть с придурью, денег куры не клюют, однако ж совсем обижать не надобно. Поучить малость уму-разуму — это можно, а чтоб совсем обижать — негоже.

Бросили первый невод, полный пришел, на удивление. Мелкая рыбешка, бель, но, по уговору, всю в лодку ссыпали, для Садка. Второй невод, в другом месте, тоже полный, но, опять-таки, мелкая, хоть и красная. И этот улов ссыпали. Третий невод — на заглядение. Самая малая рыбина — с локоть. И тоже полным-полнехонек.

Подивились люди работные со своими начальниками, а потом решили: правду в народе говорят — дурням счастье без зову прет. Тем паче, за работу свою все равно внакладе не остались. Им что полный невод, что пустой, все едино. Цену не за рыбу спрашивали, за работу.

Садку же и горя мало. Он всю рыбу свою из трех лодок в три подвала свалил, замки повесил, и ходит себе гоголем, товары по рядам посматривает. Всяк его теперь узнает, да и он со многими знакомство свел. Дня три так гулял, а может, и четыре. Спустился затем погреба свои открывать, насилу отпер. Глянул, — а там, где рыба мелкая лежала, там все резаны; где красная — там гривны; а где крупная — там монеты золотые.

Запер он опять подвалы, к башне проезжей кинулся. Челом бил Ильменю-озеру. Вышел к нему добрый молодец, научил, что дальше делать следует.

Закатил Садко пир горой, весь Новый город позвал. Велел накрывать столы длинные, да широкие, подавать яства самые наилучшие, выкатывать бочки меда, самого стоялого, пива, самого хмельного. Чего скрывать, народ у нас погулять на

дармовщинку завсегда не прочь. Кто сам до столов добраться не смог, тех на закорках тащили.

День гуляли, ночь прихватили, а поутру спохватились. Побился Садко со старшинами гостей новгородских о велик заклад. Сколько ни есть товаров в Нове-городе, все в три дня выкупит. Но только те выкупит, что к рассвету в городе есть. Чтоб новых не подвозили, и цену спрашивали справедливую, не задирали. Коли ваша возьмет, все деньги, что за товары дадены и сами товары ваши — вам останутся, а коли моя — поставите мне хоромы наилучшие в самом наилучшем месте Нова-города, и чтобы торговать мне и роду моему в Нове-городе безданно-беспошлинно отныне и до веку, и чтобы в какой ряд с товаром своим ни стану, — на то место, что сам выберу. И заклад этот великий честь по чести записан, подписями старшин, посадников и самого Садка скреплен.

Вот настал первый день. Идет Садко к торговым рядам, за ним — люди его нанятые, мошны несут, деньгами набитые. А там уж не пробиться. Народ и за Садком валом валит, а в рядах торговых — там вообще шагу ступить некуда. К кому не подойдет, не начнет торг, — каждое словечко из уст в уста по всему городу передается. Гости местные поначалу решили: коли человек заезжий цену деньгам не знает, так и облапошить его можно. Ан обмишурились; недаром в народе говорится — видать птицу по полету. А Садко что ж, за двенадцать лет ничему не научился? Кто не научился, те иным себе на жизнь промышляют. В общем, как у первого скупил товар его, остальные смекнули — на приезжего-то, где сядешь, там и слезешь. Хорошо, коли портки не порвешь. Он сам хват тот еще. У первого скупил, подозвал нанятого с мошной, отсчитал, сколько надобно, дальше пошел. От второго — к третьему, от третьего — к четвертому… Так весь день и проходил, скольких обошел, у стольких все скупил.

На следующий день — сызнова все повторилось. Только ему в этот раз потруднее стало. Те, что вчера красный товар выложили, сегодня все остатки по сусекам поскребли да повынули. Иной с изъяном, иной с гнильцой — так за него и цена пустяшная. Покачал головой Садко, однако ж и этот купил. Ну, и другой тоже, до которого давеча руки не дошли.

На третий день, кутерьма великая поднялась. Солнышко, оно быстро по небу бежит, гость приезжий уже и не торгуется особо, большей частью запрошенную цену платит, только и на торг выставлять нечего. Все амбары-закрома начисто выметены. А Садке и горя мало; знай себе похаживает, да покрикивает: у меня, мол, и половина казны не истратилась, что ж мне, с пустыми руками домой возвращаться? Эк, куда хватил! С пустыми руками.

Это ж сколько ладей нужно, чтоб все увезти, им тут нахапанное?

На четвертый день снова пошел Садко по рядам. А там — шаром покати. Народ диву дается, гости руками разводят. Хоть и нет охоты признать, что спор проигран, а супротив очевидного не попрешь. Все приезжий выгреб, ничего не оставил. Разве что горшки побитые в горшечном ряду. Он и их купить хотел, да народишко подразозлился маленько. Ишь, чего удумал! Пойдет гулять присказка по земле, что, мол, «новгородцы горшками битыми торговали», прилепится какое-никакое прозвище, вовек не забудется. Даже побить Садка собирались, да Ильмень спас. Сам на торги заявился, пристыдил. Сколько, мол, вы от меня добра видели, а ни разу ничем не отблагодарили, даже весточку от сестрицы родимой, и той не привезли, а сколько из вас по Волге ходит?.. Повинились люди. И перед Ильменем, и перед Садком. Тот им товары купленные обратно возвернул, а про деньги, что плачены были, Ильмень сказал их обратно в озеро бросить. Бросили. И что ж? А то, что побежали деньги, едва воды коснувшись, рыбой большой и малой… Отстроили Садку хоромы и прочий почет оказали, что прописано было, и уж с той поры, как кто на Волгу собирается, непременно весточку ей у Ильменя спрашивает, а как обратно возвращается, у сестры — для брата. Ну, и подарки какие преподносят. Так-то вот…

* * *

Только байки байками, а сыт ими не будешь. Плещет вода под веслами, мягонько так. Обтекает-обвивает нос корабельный, высоко над волной взметнувшийся. Мечется Сокол-корабль, ровно орел по поднебесью; то в море выйдет, то опять в реку возвернется, а все без толку. Утекает ворог, ровно вода сквозь сети, полнится сердце молодецкое тоской-кручиною. И рады бы скорее в Киев возвернуться, ан не с пустыми же руками. Ежели б только наказ княжеский не выполнить, а то ведь не прекращаются набеги, смерть и разорение людям несущие.

Не ведомо, сколько б тому тянуться-продолжаться, когда б не случай. Услышал раз Добрыня на базаре, — его с той самой поры, как лошадь покупал, помнили, не то, чтоб уважали, но с опаской в его сторону поглядывали, — что есть где-то на реке старец мудрый, прошлое-будущее ведающий. Все то ему ведомо-знаемо. Сквозь воду-землю видит, не успеешь подумать вопрос задать, — он уж на него ответ дает. Услышал Добрыня про старца, к Илье поспешил. Так и сяк умом раскидывали, а другого пути не выдумали, как старца того искать и совета-помощи спрашивать.

Вроде и найти его несложно. Место, где он пристанище себе подыскал, больно уж приметное, хоть и непривычное. Утес там. Щуку иногда народ выловит, в сажень длиною, а она от старости вся зеленью поросла. Вот и утес такой же. Зеленый весь, от подножия до самой вершины. Точнее, не до самой вершины, потому как там камни сложены, будто кто когда-то крепость там построить хотел, да по каким-то причинам не сложилось. И сосны там вековые, богатырями на утесе том выстроились. В камнях пещерка имеется, которую старец себе под жилище и устроил. Такой — да не сыскать?

А ведь не сыскали б. С какого берега искать надобно, Добрыне спросить невдомек было. Утесов же много оказалось, только все с описанием не схожи. То крепость есть, а сосен нету, то наоборот. В общем, совсем соромно — на реке, и утес не найти. А потому не найти, что он промеж двух других спрятался. Эти два, которые обок его, они в реку вдались, а он затаился. Сказать, сколько раз мимо него плавали и не видели — никто не поверит. Ан и не важно это. Главное — отыскался. Еще бы место нашлось, где пристать, а то ведь обрывается камень в воду глубокую… Нашли и место: кое-как приткнулись к соседнему утесу. Выступ там имелся: будто кто когда пристань вытесывать начал. А от нее вроде как тропинка наверх вьется. Не очень удобная, где поуже, где пошире, в иных местах и соскользнуть недолго. Не соскользнули, взобрались. Отсюда и соседний утес хорошо видать. Все в нем, как описывалось. Только камни те, что снизу вроде как крепостью казались, — просто камни, как блины, один на другой, наложенные. Дырку видать. Ну а уж пещерка это, или еще там что, отсюда не разглядеть.

Идут Илья с Добрыней, петляют промеж дерев. Птички поют, листва шелестит, солнышко светит. Вот ежели б давеча утес этот самый нашли, тогда б иное дело. Тогда гроза такая разыгралась, не знали, куда деться. Молнии, казалось, в самый их корабль метят. Гром — уши закладывало. Ливень такой, что руку вытяни — едва до локтя видать. Натерпелись страху. Это земного ворога одолеть можно, а супротив неба не попрешь.

Вот уж и камни те самые. А чуть поодаль от них, почти на самом краю, старец застыл, к ним спиною. Волосы у него — белые-белые, солнцем горят. Одет простенько, лапти, да онучи, да порты, да рубаха длинная — как у всех. Борода до пояса, — ветерком ее колышет, вот она и показывается. Одна рука вдоль тела опущена, в другой — посох. Вообще-то, мог бы и получше палку подобрать. Кривая вся, что за дерево — не разобрать, до того потемнело, а в навершии будто колесо со спицами вырезано.

И как-то так, ни с того, с сего, оробели вдруг богатыри.

Подталкивают один другого. Ты, мол, поспособней, тебе и речь держать. А другой ему — ты старшой брат, тебе первым и быть. Пихаются, сопят, вот еще сумятицу затеять — и совсем гоже.

Наконец, сдался Илья.

— Доброго здоровья тебе, старец, — произнес он.

— И долгих лет, — зачем-то добавил Добрыня.

— И вам поздорову быть, — степенно ответил старец, не оборачиваясь. — Далеко ли путь держите? Что за нужда привела вас ко мне?

Словно ушат воды ледяной слова его. Какой же он всеведущий, коли такой простой вещи не знает? Досадно, конечно, что так вышло. Однако, за просто так развернуться и уйти, еще досаднее. Переглянулись Илья с Добрынею, вздохнули дружно, и повел Илья рассказ про корабль разбойничий. Про то, какие бедствия людям чинит, про то, как ищут они его, ищут, — сколько дней пролетело, не сосчитать, да и не дней, годов, — а все без толку, как прослышали они случаем про мудрость его, и пришли помощи просить. Илья замешкается, Добрыня подхватит. Добрыня замешкается, Илья рассказ продолжает.

Стоит старец недвижимо, ровно из камня вырезан, не поймешь, слушает, нет ли. Колышет ветерок легкий бороду да рубаху. Что он там об себе думает?

Закончили, наконец, богатыри. Ждут. А старец опустил голову, и вроде как рассмеялся тихонечко. Не обидно, будто над несмышленышами.

— Не вы первые, — ответил, — не вы последние, кто помощь не в сердце своем, в словах чужих ищет. Всего-то и надо, что глазами иными окрест взглянуть.

— Где ж их взять-то, иные? — буркнул Добрыня. — Какие с рождения дадены, такие и есть. Иных нету.

— И их хватит. Вот стоите вы там, помощи ожидаючи. Не о помощи помышляйте, о мире, что вокруг вас по край неба раскинулся. Ваш он, а вы — его. Он — это вы, а вы — это он. Что глаза в кучку свели? Не понятно? Добро, помогу поначалу.

И старец неожиданно тихо запел:

Из-под бережка, из-под крутого,
Из-под камушка, из-под белого,
Потекла река, речка быстрая…
Сквозь леса бежит,
Леса темные,
Меж лугов бежит,
С зеленой травой,
Средь полей бежит,

Таращатся окрест Илья с Добрыней, как велено было. А слова старца, простые такие, обычные, не единожды слышанные, обволакивают мягко, будто периною, согревают, в сердце просятся. И вот уже все иным стало. Стоят они на утесе высоком, соснами поросшем; обок два такие же. Другой берег низкий, тоже лесистый, а за деревами вдали будто луга начинаются. Река широкая, с пару верст. Камни белые рядом. И все это — оно не снаружи. Или — не только снаружи. Поведет Илья глазами, — сосна рядом, — и вот он уже сам сосна. На реку глянет — и сам уже воды несет к морю синему. Скосит взор на камень, — и вот он уже пещерку видит, в себе самом. Он и то, и другое, и третье, — и в то же время сам по себе. Слов таких еще не придумано, чтоб описать, что с ним такое творится. И хорошо ему, — век бы так стоял, то сосной, то камешком, а то рекой забавился…

Смолкла песня. Застыли богатыри, еле-еле отошли от увиденного глазами новыми. Видит старец, засопели, друг на дружку поглядывают, мнутся, то на руки свои посмотрят, то на ноги, да и говорит:

— Ну, а теперь сами. Идите сюда, станьте рядышком. Только не особо, а то враз кувырнетесь, на радость ракам.

— Так ты что ж, летать не обучен? — спросил, шутя, Добрыня.

— Был бы обучен, был бы птицею. Иди, иди, не задерживай.

Подошли, встали. Как и не подойти-то? Мало ли он какую еще песню знает? Срамоты не оберешься, больно доходчиво…

Подойти-то подошли, а делать что? Скосил глаза Илья на старца, встал, как он, вдохнул полной грудью, плечи расправил, и вдруг — как будто повторяться начало. Как будто снова он и сосна, и камень, и река, вот только мешает что-то. Как мураш промеж лопаток. И рукой не достать, и суетится — спасу нету. Чего изменилось-то? Всего на пару шагов ближе к краю подошел, ан уже помеха. Маялся, маялся, наконец, вроде как отыскал причину, какую не ожидал. Ихний Сокол-корабль, возле соседнего утеса приткнувшийся.

И опять, что было — того не стало. Стоят они с Добрыней на утесе, рядышком старец.

— Ну, чего сапоги мнете? — спрашивает. — Дошло, али нет?

Совсем сбил с панталыку. Чего должно было дойти-то? Ты разобъясни по чести, а уж потом спрашивай.

— Вижу, у вас мечами махать лучше получается, нежели умом пораскинуть. Неужто не поняли? Мир — он для всех даден,

потому — в ладу жить в нем нужно. Беречь, сколько возможно. А корабль этот ваш — он не для лада, для раздора сделан, для рати. Потому и увидели вы в нем помеху прежде виденному. И тот корабль разбойничий, про который спрашиваете, он такой же. Хоть и разными мастерами изготовлены, а братья они по нутру своему. И чем больше таких братьев на земле будет, тем меньше мира и лада останется. Не вы ими правите — они вами. Потому и минуют один другой… Что еще вам сказать? Идите к морю Хвалынскому. Пусть кто из вас на руле стоит. Как почует — руль вроде как сам по себе в сторону вильнуть норовит, так знайте, недалеко недруг ваш. Ну, а как повстречаетесь, не мне вас учить…

Эк туману напустил. Ничего не понятно. Ишь, чего удумал, чтоб кусок дерева плавучего мало того живой был, еще и братьев имел. Хотя, с другой стороны, сосна вон стоит, живая она… Ладно, надоумил, как корабль разбойничий повстречать, и на том спасибо.

— Гусляра, — старец молвил, — здесь оставьте, пусть ко мне поднимается. Ни к чему он вам более. И не спрашивайте, сами увидите. А тебе, Илья, особый почет оказан будет.

* * *

Кто б и сомневался и в том, что слово старца исполнится. До самого синя моря шли, — никому Илья с Добрыней руль не доверивали. По очереди друг друга сменяли. Гусляр, нехотя, на берегу остался; остальные приутихли. Знали, что их ждет; ничего богатыри не утаили. Мечи острили, стрелы, копья; кольчуги, у кого были, правили, щиты досматривали. Разговоров поменее стало, все больше с бортов в даль поглядывали: не видать ли?.. Сколько ни увещевали Илья с Добрыней — упредят, мол, когда надобно, — не помогало. Кому ж не ведомо: ждать да догонять пуще всего.

Даже как-то боязно было: сколько идут, а брус рулевой ничем себя не выдал. Дерево сухое, оно таково и есть. Только как соль ветерком обозначилась, заметили: подрагивать стал, поталкиваться. Так и норовит корабль потихоньку в сторону увести. Ты его к правому берегу правишь, где стрежень, а он к левому, где песок под водой виден, норовит. Тут уж от бортов гонять перестали, наоборот — не заметить врага вовремя, так и пропасть недолго. Мало ли где он тут затаиться мог?

А уж перед тем, как заметили, брус так заметался — не удержать. Вдвоем на руль стали. Раньше доски поскрипывали, —

теперь стоном стонут. Парус провисает, весла из рук вырываются…

Разбойник же — вон он. Его тоже треплет — ишь, как из стороны в сторону шарахается. Только и на нем, видать, не с базару по резане набирали. Хоть и шарахается, а не сворачивает, прет напрямки, ровно зашоренный.

Вот уже и стрелы первые порхнули, что с одного корабля, что с другого. Ну да мастера не зря хлеб ели, или чего у них там едят? На одном щиты взметнулись, гребцов прикрыли, на другом — будто шатер распахнулся; скользят по нему стрелы, как санки по горке ледяной.

Совсем сблизились, но тут ровно богатырь невидимый, сильномогучий, рули в стороны отвернул. Разошлись корабли. Развернулись, и снова друг к дружке навстречу… Нет, не одолеть силы братской силе людской… Что ж, не для того на пир ехали, чтоб не солоно хлебавши оглобли поворачивать…

Ткнулись в берег корабли. Ссыпались на песок вои. Не бросились вперед, словно оголтелые, готовятся. Столы расставлены, скатерти накрыты, меды налиты. Не суждено сегодня кому-то с лавки встать, последним пир сей для него станет. Оглядели Илья с Добрыней своих: лица суровые, решимостью исполнены. Знали, куда и зачем идут. Берег же ровно специально выбрали: площадь ровная, кустарник неподалеку какой-то диковинный. У кого меч в руке, у кого — булава; лук — он теперь без надобности.

Обнялись богатыри, встали перед своими ратниками, каждого обежали взглядом, головой слегка кивнули: не робейте, мол, сдюжим, как и прежде сдюживали. Повернулись к противнику и видят: у тех тоже богатырь объявился. На медведя чем-то похожий. Ноги косолапы, знать, к коню привыкшие, шелом с перьями разноцветными, сабля на боку — такой хоромы княжеские с одного удара развалить можно, даром что каменные…

Глянул на него Илья… Так вот оно, где свидеться довелось. Ох же ты, старец, старец… «Особый почет тебе оказан будет». Подумать не успел, Добрыня уже вперед шагнул.

— Погодь, — за плечо ухватил.

— Ты вот что, Илья, — досадливо сбросил руку его со своего плеча Добрыня. — Ты свои погодь дома оставь. Ты мне в мире брат названый, а тут твоего старшинства нету. Коли не будет мне счастья, тогда твой черед настанет, а пока — охолони.

— Погодь, — повторил Илья. — Не рассказывал я тебе… Спор у нас с ним, давний спор. Еще с Чернигова. Не чаял уж и встретиться. А коли довелось… Ты уж не серчай…

Глянул Добрыня на Илью глаза в глаза: не хочет ли тот его собой выгородить? Не придумка ли слова его? Нет, видать не придумка.

— Да я что… чего уж там… — и отвернулся.

— Условие у нас было, чтоб до последнего. Потому и просьба у меня к тебе. Мы сейчас вон туда, за кусточки отойдем, чтоб вам не мешаться. Коли он из-за них появится, время ему дай, отдохнуть, приготовиться, сколько спросит. Он по-нашему не разумеет, ну да столкуетесь. Коли ранен будет — пусть вылечится. Все по чести быть должно. Как он со мной обошелся, так и ты с ним. Но помни, Добрыня, коли и ты с ним не совладаешь, тяжко нашей земле придется. Нет у меня что-то надежды на Алешку, шалопутный он… Пора мне. Вишь, он тоже меня узнал.

— Что ты сказал, наказ твой в точности исполню, — глухо сказал Добрыня.

Илья повернулся, сделал шаг и, вдруг остановившись, снова повернулся.

— И вот еще что… Помиритесь вы с Алешкой. Побратайтесь. Он ведь как ладья без ветрила, его, как коня норовистого, учить надобно. Женить. Может, образумится. Стойте крепко за землю нашу, а там и я, глядишь, вам подсоблю, ежели чем смогу…

Открыл было рот Добрыня, про Алешку услышав, а потом рукой махнул. Не к месту сейчас то, что сказать собирался. Иди уж, Илья, коли так решил, не ровен час вырвется что негожее. Потом потолкуем. Иди, иди, да смотри там, не поддавайся, а мы уж тут как-нибудь без тебя.

Не успел за кустарник зайти, на берегу началось. Звон, крики, грохот. Как же не вовремя ты, богатырь степной, навстречу угодил. А впрочем, может статься, и вовремя. Сколько ж ты горя причинил, разбойник степной, не за-ради народа своего, за богатство. Потому и не будет тебе сегодня ни удачи, ни пощады. Об одном жалею — раньше встретиться не довелось.

Свистнула сабля, молнией сверкнув на солнце. Тверже твердого, встретил ее меч…

* * *

…Добрыня сидел спиной к кустам, уткнув голову в руки, лежавшие на коленях. Он даже вроде и не удивился особо, когда рядом тяжело опустился Илья. Вскинулся, глянул на брата названого, лучше б не видеть. Того ровно великаны какие молотами не в подъем обихаживали — так помят да побит. Кровь

на доспехе, лицо — чернее черного. Ничего не сказали братья друг другу. Посидели несколько времени, да и опрокинулись, сном тяжелым забывшись.

А поутру, солнце еще взошло, как ни было тяжко, закинули канаты крепки на корабли, на берег подальше вытянули. Перенесли, одного за другим, всех, кого иной сон сморил, на корабли сложили. Каждого на свой. И то сказать: ежели б за степняками верх остался, обобрали б до нитки, да и бросили. Может, потому это, что не встретилось им на пути старца, чтоб глазами новыми на мир посмотреть? Так то не вина их — беда.

Запалили разом, отошли к воде, подальше от жара. Дождались, пока все, что могло сгореть, в пепел обратилось. Не заметили раньше, — не до того было, — выше по берегу камни обозначились. Принесли, сколько смогли, укрыли пепелища. Так укрыли, чтоб ни воронам, ни зверям хищным доступу не было. Земли покидали, чтоб понадежнее.

Исполнено повеление княжеское. Не так, как хотелось бы, а исполнено…

11. КАК В ЦАРИ-ГРАДЕ-ТО НЫНЧЕ НЕ ПО-СТАРОМУ, В ЦАРИ-ГРАДЕ-ТО НЫНЧЕ НЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ…

Застоялись кони. Пока Илье с Добрыней на Соколе-корабле ходить довелось, им воли особо не давали. Кормить — кормили, обихаживать — обихаживали, а вот выгуливать — редко выгуливали. Побаивались. Вот и застоялись кони. А как завидели хозяев возвернувшихся, почуяли дорогу дальнюю, дрожмя дрожат от нетерпения. Прикупили богатыри на базаре кое-чего из гостинцев, а Добрыня — еще и гусли-самогуды расписные. Откуда они тут взялись, даже сам торговец не знал. Он их мало что не сломал, запихнул промеж рухляди, как только Добрыня углядел? Они ему будто сами в руку прыгнули. Повертел что-то там, пыль сдул, накинул ремень на плечо, пробежал по струнам пальцами — ровно словами ласковыми, распевными, инструмент заговорил. Вздрогнул от неожиданности Илья, замер базар, раскрыл рот торговец, а затем, смекнувши, что к чему, такую цену заломил, что за нее не токмо гусли, дворец княжеский выкупить можно. Торговаться начали. Они, волгаре (или болгаре, кто ж разберет?), больно торг любят. Народ сбежался, стоят, ротозействуют. Потом кто-то торговца этого самого за рукав ухватил, в сторонку отвел, и что-то там ему такое порассказал, рукою в сторону Добрыни тыча. Вернулся, присмирев, в глазах — опаска, сразу же и сторговались. Илье показалось даже, еще б немного, и сам бы не то, что отдал, так еще и приплатил бы.

Да и выдумкой Добрыня Алешке не уступит. Сколько мы, говорит, в Киеве не были? Платье загодя сменим, заявимся так, послушаем, что там без нас творится. Помнят ли еще, аль позабыли? Что-то ни единой весточки, пока за разбойником гонялись, не пришло. Коней, оружие, доспех — неподалеку спрячем, сами же на пир княжеский спросимся. Я скоморохом переряжусь, а ты… А ты — будто товарищ мой, от степняков пострадавший. Возьмешь в посох сук поувесистей, капюшон накинешь, лицо скрыть — сойдет. А коли репу за щеку — так и кто знал, не узнает. Сажей слегка подмажемся. Гридням у дверей сыграю что-нибудь, они князю доложат. Сядем в уголке, послушаем, попьем-поедим, а там — как снег на голову. Устроим потеху.

Прикинул Илья — чего ж и не устроить? Представил себе, какие лица будут у бражников, как они с Добрыней свои откроют,

сразу и согласился. Пиров у князя редко какой день не бывает, долго ждать не придется.

Как задумали, так и поступили. Коней со всем прочим в лесу спрятали; пещерка там имелась неприметная. Они травы накидали, камушком, что вдесятером не поднять, прикрыли слегка, переоделись и пошли. Чего там — не сегодня, так завтра возвернутся. Добрыня скоморохом изладился, Илья — товарищем его. Пару шишек взял, чтоб за щеки запихнуть, для надежности. Глянул на него Добрыня, с шишками-то, одну выбросить велел. С одной-то, говорит, и то страхолюдина, весь двор княжеский попугаешь, а коль с двумя — так вообще, даже в ручей не смотрись. Чернотой, что промеж коры дубовой наковыряли, помазались, где надо, крошками-веточками усы-бороды поукрасили, глянули друг на друга — сойдет. Не распознают. Добрыня еще шапку нахлобучил, она у него до бровей налезла, до плеча свесилась. Теперь и в путь пора.

Идут себе, по сторонам посматривают. Вроде как знакомо все, а вроде и не знакомо. Бывает ведь: набежит на солнце ясное дымка легкая, не скроет его совсем, а так, притуманит чуть. Глянешь вокруг — каким было все, таким и осталось, разве краски чуть-чуть потускнели. Глазу не видно, а сердце чует. Вот и здесь так. И еще — телег поболее стало. Опять же: растет город, мужает, ему все больше и больше припасов для жизни требуется, ан нет — ровно в воздухе разлилось что-то неуловимое, неясное, неспокойное.

Тут как раз одна из телег с ними поравнялась. Рыбу селянин везет; а то здесь своей мало!.. Хоть и красная, хоть и хвост с телеги свешивается, только кого тут такой удивишь? Покрупней лавливали. Про одну говорили — десяток рыбарей сеть тащили, в какую она сдуру влетела, так она их пересилила. Бросить сеть пришлось, иначе всех бы на дно утянула. И, видно, поболтать селянин охочий, так ведь не с кем. Давно б перегнал, а он рядышком держится, то так, то эдак на гусли посматривает.

— На пир, никак? — не утерпел, наконец. — Аль на торг несешь?

— Коль на пир позовут, так и на пир, а нет — так и обойдусь.

— Играть, стало быть, умеешь?

— Вроде как.

— И песни складывать?

— Не без этого.

— А еще чему обучен, али как?

— Хлеб есть обучен.

— Ну, это всяк дока.

— А коли чару хмельную поднесут, так и выпью.

Селянин захихикал.

— Язык у тебя, вижу, хорошо подвешен. С таким да на пир не попасть…

— Что ж, князюшка наш, все по-старому, каждый день пиры закатывает?

Селянин вытаращил глаза, потом спохватился.

— По-старому… Так вы, выходит, не здешние?

— Здешние-то мы здешние, только вот давненько дома не бывали. Ушли с ратью к морю Хвалынскому, да там и подзадержалися.

— Э-э-э, тому уж сколько годов прошло… Постой-постой, может, о богатырях наших чего слышали?

— Чего о них слышать? Они домой подались, а мы подзадержалися.

— Да как же, домой? Не вернулись они.

— Кто — не вернулись?

— Богатыри. Илья с Добрынею. Сгинули они. Пропали. Весточка пришла, что и в живых их нету. Давно уже пришла. Мы уж и отгоревали. Тяжко теперь нам без них будет, коли кто ратью пойдет.

— Да неужто сгинули? Ты уж не серчай, мы кругом шли, по местам не больно обжитым. От жизни отстали. Ты б нам порассказал, что в Киеве творится-ладится, а мы б послушали…

Много селянин чего порассказал. В иное и поверить несподобно. Пока Илья с Добрыней за разбойником гонялись, князь уже и на греков походом сходить успел, потрепал их сильно, города какие позабрал. Потом, правда, вернул. Взамен за царевну греческую, которая нынче у него женою. Он теперь хочет, чтоб на землях у него греческие обычаи с нашими исконными мешались, потому как оттуда, из города их главного, высматривают на нас как на диких. Вот, к примеру, свадьба сейчас в палатах затевается, — не как у нас, а как у них.

— Что ж это за свадьба такая?

— А порешил князь, чтоб роду богатырскому переводу не было, отдать за начального своего, Алешу, вдову Добрынину…

— Что-о-о?!!

Остановился Добрыня, как вкопанный, рот раззявил, глаза выкатились. Головой трясет, уж не ослышался ли? Не ослышался. Прибил бы селянина, под горячую руку, да Илья придержал. А тот видит, — хворый перед ним, даром что с гуслями, подхлестнул лошаденку, да и укатил от беды подальше.

— Да что же это такое творится на белом свете, Илья? — Едва-едва Добрыня с собой совладать может. — Как это — от живого мужа, жену взамуж отдавать?

— Охолонись, охолонись маленько, — Илья его уговаривает. — Сам же слышал, сгинули мы. Много лет как сгинули…

— Да ему башку вот этими своими руками сверну, — ярится Добрыня. — Чтоб впредь неповадно было. Ишь, на чужое позарился!..

— Погоди, погоди, — держит его Илья, не пускает, чтоб не токмо Алешке голову — стены киевские по бревнышку не раскатал. — Разобраться б надобно. Может, не своей он волей. И она не своей. Князь-то у нас, сам знаешь, коли ему вожжа под корзно угодила, он тебе еще не то учудит. А тут еще греки эти заморские. Не ровен час, околдовали князя. С чего бы это он враз обычаями мешаться вздумал?

Не слушает его Добрыня. Раскраснелся, ровно солнышко на закате. Рвется-вырывается. Насилу Илья с ним совладал, насилу утихомирил. Ничего ведь покамест не случилось, чего б поправить нельзя было. Идем к дворцу княжескому, на пир напросимся, там и поглядим, что к чему. Как и собирались. Ежели не по правде все деется, я тебе помощник верный. Ну, а коли по правде… Тут Илья осекся. Мало себя по загривку кулаком не съездил — хорошо, неудобно, а так бы съездил. По какой такой правде? — сразу поправился. — Нет такой правды, чтоб при живом муже… Это ты, Добрыня, верно говоришь… Только ты там смотри, веди себя ниже травы. Я тебе вроде как старший брат, на меня и посматривай. Ты сейчас вроде как разума лишился… Постой, постой, не кипятись… Каждый бы на твоем месте… К тому я, что за двоих думать буду.

Видит, слушает его брат меньшой вполуха, о своем думает. Не пронять его никак словами. Что еще сказать, не ведомо. Хорошо, к палатам княжеским пришли, а так бы, чего доброго, наговорил, на свою и Добрынину шею.

Тут, перед платами, не протолкнуться. Народу сбежалось — не токмо что со всего Киева, по окрестностям, должно быть, никого не осталось. Столы выставили длинные… Правду сказать, и не столы вовсе. Так, козлы наспех сколотили, доски поверх — вот тебе и стол. Два пня, на них лесина, пополам колотая — вот тебе и лавка. Холст грубый — вот тебе и скатерть. Мисы, чаши — все деревянное, и откуда только понабрали: и щербатые, и колотые, и кособокие, однако ж кто на них смотреть будет? Главное — не мисы, а что в них понакладено. Еда, конечно, не княжеская, а так, обычная для селян. Зато обильная. Бочки выкатили, — донышка нету, ковшик есть, — с медом хмельным. Жиденьким, но и того вдоволь. В общем — гуляй, не хочу. Кое-кто уже и нагулялся; приник к бочке, обнял ее, отойти не может.

Лежит, улыбается. Пинают его, уволочь пытаются — потому как мешается больно — как же!.. От дармовщины — да уволочь! Не на того напали. Иной возле стола притулился, иной под, — потеха, да и только. Шум, гам, скоро уж и в тычки затеют…

Пробрались Илья с Добрыней к крыльцу. Хоть и не через войско вражье, — там-то оно попроще будет, нежели через народ, на даровщину сбежавшийся, — а пробрались. Без бою не прошли бы, кабы не дружинники. Кто такие — не признали. Из новых. Они уже где-то нагрузились, как ладья, по самую обводку. За обиду им стало. Идут скоморохи гостей княжеских потешить, жениха с невестой, заодно дружину княжескую, — нет, наоборот, последних в особенности, остальных заодно, — а им — от ворот поворот. Это вот негоже как-то получается, до того негоже, что прям коли не отворят им дверей, то быть стражам битыми. Оно и то сказать — какая ж свадьба без рукопашной?.. Рановато, конечно, ну так все равно, должен же кто-то начинать…

Эти — не Добрыня, их словом не удержишь. Покачали головой стражники, да и впустили. Дружинники, как вовнутри оказались, сразу про богатырей забыли. Им главное — победу одержать, а повод, он вроде как и не причем. Обнялись, и в палаты подались, где пир бурей весенней разгулялся. Богатыри — за ними. Добрыня было, по привычке, хотел на свое обычное место сунуться, да Илья его в сторону потянул, к младшим гридням. Там, позади них, возле самой стены, еще один стол имелся, за который всяких прочих сажали, кому за иными столами места по чину не находилось. Приткнулись они там, поглядывают.

Надивиться не могут. Князь — прежний, а княгиня — новая. Не может быть, чтоб так сильно лицом изменилась. Люди, подле князя, тоже незнакомые. Окромя Алешки, по правую руку, и по левую от княгини — Настасья. Разряжены, в пух и прах, ан каждый в свою сторону смотрит. Не едят, не пьют. Ну, хмельного не пьют, оно понятно, не положено им, а вот что не едят… Лебедь печеная, вон она, совсем нетронутая. В общем, ровно не на свадьбе, — на тризне. Только князю на это и горя мало, ему веселье требуется.

Илье-то видно, а Добрыня, как Настасью приметил, не токмо что из-за стола, мало из портов собственных не вылетел. А ведь и вылетел бы, кабы Илья ему на ногу не наступил да за рубаху не ухватил. Усадил обратно на лавку, в бок толкнул, — не глядя, мису с чем-то подвинул, кувшин, — погоди, мол, не время. А самому грек какой-то шибко не понравился, через Алешку от князя приткнувшийся. Лицо тощее, нос орлиный, глазки бегают, морщится — не одобряет, знать, что вокруг творится — кому и

быть, как не греку. Этот чем-то выслужился перед князем, потому — остальным отдельный стол поставлен.

Пока Илья греков рассматривал, Добрыня уж и мису опустошил, и кувшин, и даже от брата старшего поотодвинулся. Улучил время, когда тот совсем зазевался, шмыгнул с другого конца лавки, — кто там сидел, все на пол полетели, что твои желуди, — выпростал из-за себя гусли. Пробежал по струнам пальцами — ровно ручей звонкий, весенний, на волю вольную из-под снега пробился.

— Дозволь, — говорит, — князь, молодых песнею потешить.

Князь просиял, а того грека, что рядом с Алешкой, аж перекосило. У Ильи аж рука зачесалась, — шалость детскую учинить. Ухватить яблоко моченое, — да в чело кощею.

— Изволь, — князь ответствует. — Коли потешишь, проси у меня, чего хочешь, ан пожалую, чем смогу. Ну а коли игрец из тебя никудышный окажется, — не взыщи. Кривая кобыла, да перья с дегтем — вот и вся твоя награда будет.

Поклонился Добрыня, выбросил руку, зазвенели струны. Вспорхнула песня величальная до сводов каменных; что там до сводов — должно быть, до самого Славутича. Смолк разом гомон, застыли бражники, кто как, шевельнуться боятся. Слыхал Илья как-то байку, будто гусляр какой-то пением своим царя водяного обворожил, так вот, какой бы дока он ни был, а Добрыне в подметки не годится. Добрыня — ему разве что с самим Бояном тягаться. Никто и не заметил, как гусляр напротив жениха встал.

Как у светлого у месяца
Отрастали золоты рога;
Как у князя новобрачного
Разметались кудри русые,
По могучим да по плечикам!..

Ну как тут не узнать Добрыню! Ан нет, заворожила песня величальная, никто кроме как на жениха и не смотрит.

Поклонился гусляр жениху, шаг шагнул — против невесты стал.

Отставала лебедь белая,
Да от стада лебединого,
Приставала лебедь белая,
Да ко ясному ко соколу…

Закончил величать невесту, назад отступил, против князя

встал.

Уж ты, соловей, соловей,
Соловей птица певчая!
Деревов ли тебе не было,
Опричь осинушки горькия?
Уж ты, молодец, молодец,
Что невест ли тебе не было
Опричь этыё девицы?
Уж ты, соловей, соловей,
Соловей птица певчая,
Деревов ли тебе не было
Опричь осинушки горькия?
Уж ты, девица, девица,
Женихов ли тебе не было,
Опричь этого молодца?

И так он это спел, что Илья только вздохнул: ни к чему все его увещания были.

Нахмурился князь, вскинулся Алешка, медленно, очень медленно повела головой Настасья — глаз не сводит с гусляра. А тому скрываться без надобности. Полетели гусли расписные на стол греческий, спорхнула на пол шапка.

— Добрыня!..

А тот уже в Алешку вцепился, через стол его тащит…

* * *

Жил да был на свете белом Иванище. Кто его так прозвал, отчего — неведомо. Других — тех просто Иванами зовут, а этот вдруг — Иванище. Может, его тоже поначалу Иваном звали, только спросить не у кого. Потому — откуда он такой взялся, где жил-был, про то тоже неведомо.

Вот вздумалось как-то Иванищу этот самый белый свет, на котором он жил-был, обойти да посмотреть, где как люди живут. Вдруг где получше будет, чем в родимой сторонке? Там и осесть можно, хозяйством обзавестись, остепениться. Сам ли до того додумался, али надоумил кто, а только вскинул на плечо суму, взял в руки клюку о сорок пуд, лапотки надел о семи шелках, а посредь шелков каменья самоцветные заплетены… Или это он уже потом в лапотки такие обулся, а поначалу в простых отправился?.. Ну да не про то речь. Идет это он себе, днем — по красному солнышку, ночью — камешки самоцветные в лапотках

ему путь кажут… — Или, все-таки, изначально они у него там были?.. — Сто царств-государств прошел, сто морей переплыл, а чтоб где приткнуться, того не отыскал. Тут ему жарко, там — холодно. Тут каждый день как из ведра льет, а там — вёдро, воды напиться не отыщется…

— Погоди, — прервал Веденю Илья. — Ты вот для чего мне все это плетешь? Аль не говорится в народе: живал молодец в деревне, веселья не знал, а как на чужбину подался — так и совсем зарыдал? Ты мне про Костянтин-град расскажи… Как там, что там…

— К тому и веду, — по виду обиделся Веденя. — Что да как — сам увидишь. А я тебе — что знаю…

Угораздило же князя подсунуть эдакого толмача. Правду сказать, с ними и у князя не густо. Только уж этот — из ледащих ледащий. Один в один с тем самым греком, которому Илья…

* * *

В общем, выхватил Добрыня Алешку из-за стола, и пошла потеха. Не припомнит Илья такого, чтоб в палатах княжеских, да еще при нем самом, потасовку учиняли. Может, когда раньше и случалось, а при Илья — нет. Народ с мест повскакал, Настасья чувств лишилась, гречанка мало не под стол забралась, один венец с глазами над скатеркой торчат, ан никто не вмешивается. Шумят, гомонят, однако ж знака со стороны княжеской не было, чтоб разнимать, потому и не вмешиваются. Илья поближе подобрался, кабы что…

Алешка все сказать пытается, а Добрыня совсем с ума съехал. Ему сейчас под горячую руку лучше не попадаться. Только Алешка не лыком шит: то присядет, то под кулак Добрынин поднырнет, то ножку подставить норовит — оно, конечно, не по-дозволенному, ан со стороны посмотреть — и дешево, и сердито. Степняки недаром ухватки такие усвоили.

Ждет Илья, как подустанут. Сейчас сунуться, самому достанется. А те, кажется, разохотились. У обоих уже по одному глазу натучилось. Приметил Добрыня, что Алешка ему все под руку уходит, да как даст вдругорядь снизу вверх. От всего сердца получилось, отлетел Алешка шагов аж на пять. Другой бы не встал, а этот подхватился, — и опять полез. Махнул Добрыня, присел Алешка, подскочил, да как ахнет в ответ, и тоже от всего сердца. Ну, Добрыня не отлетел, а так, можно сказать, пошатнулся слегка, — на пол портами оперся…

Видит Илья, плохо дело. Еще малость, и никакой князь народ

не удержит. Больно уж заразительно сцепились богатыри. Пока еще, — это народ, — спорят промеж себя, кто одолеет, но коли уж до спора дошло, до побоища — рукой подать. А тут как раз одно к одному сложилось. Во-первых, Алешка с Добрыней обняли друг друга, ровно медведи, пыхтят, сопят, один другого опрокинуть норовит. Во-вторых же, гридень какой-то, из младших, ведро с водой тащил. Он, должно быть, его на варню волок, а как шум заслышал, не утерпел, заглянул. Ухватил Илья ведро, шаг шагнул, да и выплеснул его на богатырей. На беду, гридень за дужку ведерную зацепился, а Илья и не заметил. Вслед за водой на Алешку с Добрыней плюхнулся; не Илья, конечно, гридень. Те расцепились, тут Илья промеж них и влез. Ухватил за плечи, прижал к себе изо всей мочи, а ну, кончайте, говорит, ровно дети малые. А сам забыл, что у него шишка во рту, как с Добрыней договаривались, чтоб не узнали. Так и впрямь не узнать. Глядит князь, глазам не верит. Вроде как его богатыри, только какие-то побитые; у двоих глаза заплыли, у третьего — щека оттопырилась… Так двое только что на кулачки, а третьего-то когда приголубить успели?..

Илья же тем временем чувствует, неладно во рту-то, сплюнул шишку, поймал рукой, Добрыню выпустив, и бросил эдак в сторону. Да так неудачно бросил, что угодил тому самому греку, которого яблоком облагодетельствовать хотел, прямо в лоб. Тот так со скамьи и повалился. Бревном. Надо ж так попасть, не желаючи. Или…

Шум, гам тут поднялись, пуще прежнего. Как же иначе? По ком отгоревали, вот они — не сгинули, живехоньки. Пуще всех, конечно, Настасья рада. Кинулась к Добрыне, обнимает его, на шею вешается, а он сурово так на нее поглядывает, и будто чужой себя держит.

Не выдержала Настасья.

— Что бирюком смотришь? Говори прямо, что в вину мне ставишь?

— То и ставлю, — угрюмо Добрыня отвечает, — что при живом муже в замужество собралась. Да еще за братца моего названого…

Опешил Илья.

— Как так? — спрашивает.

— А вот так. Молва нас с Алешкой братьями сделала… Не всерьез. Мы хоть и далече один от другого, а то он мне на дороге попадется, то я ему… Вот опять пересеклись…

— Да ты выслушаешь, вконец, аль нет! — это Алешка встрял. — Нешто Настастья добром шла? Нешто я не супротивничал?

— Ты-то чего вступаешься? — Добрыня напустился. — Кабы не Илья, я б тебе… Ну да ничего, посчитаемся…

— Посчитаемся… — поддразнил его Алешка. — Потому и вступаюсь, что нет у нее перед тобой вины. Ни у нее нет, ни у меня. Мне моя Аленушка пуще света белого… Не своей волей свадьбу эту затеяли, князь повелел…

А князю чего? Он об земле радеет. Ему богатыри нужны. Пропали Илья с Добрыней, ни слуху о них, ни духу. Никого по себе не оставили. Тому же быть не должно, чтоб богатыри на земле нашей перевелись. Потому и решил, что и Настасья при муже, и Алеша при жене, и отчине польза. Такому же, чтоб против воли княжеской идти — не бывать тому. Он для того и князь, чтоб все блюсти. Ну а коли вернулись богатыри, живы-здоровы, так милости просим. Вместо свадьбы — по иному поводу пировать станем.

Конечно, не такими словами князь объяснился. Короче, но доходчивей. Кстати, что ты там, Алеша, про Аленушку какую-то говорил?.. Кто такая? Сестра Збродовчией? Лад с ней у вас? Вот и славно. Был пир свадебный, его и догуливать будем. Пожалуйте-ка сюда Аленушку… Где вы там, Збродовичи? Здесь ли? Князь вам честь великую оказывает, за Алешу свет Григорьевича сестру вашу сватает. Согласны ли?.. Вот и чудесно… Там как раз на подворье богатырском терем поставлен, для Потыка, ну да он погодит, его следующим женим. А терем тот — молодым.

Сумел князь дело миром уладить, сказать нечего… Так все повернул, что вроде как и обиженных нету. Кроме Михайлы, который ни за что ни про что терема лишился. Ну — он пока в отъезде, ему другой поставят. А князь, тем временем, и ему жену подыщет.

На другой день, к вечеру, Илья к Добрыне пошел. Надо ж как-то дело разрешать. Не век же им теперь с Алешкой друг на друга волками… По-дурному все связалось, ан как-никак, а развязалось. Чем кулаками махать, поначалу договориться как-то… Тем паче, что и кулаками-то уже намахались, побили друг дружку слегка. Интересно, в который уже раз?

Правду в народе говорят: ночная кукушка дневную завсегда перекукует. С Настасьей Добрыня уже помирился, это Илья сразу понял, как в горницу вошел. Иного и не ждал, если честно. Он потому чем свет один за конями к пещерке потайной отправился. Своего особо в конюшне, что для дружины назначена, поставил, а Добрыниного — на двор к нему привел.

Не хотелось Добрыне к Алешке идти, однако ж Илья уговорил. Хотела было и Настасья с ними увязаться, да сказали ей — не чествовать идут пару молодую, а на разговор. Вот как

чествовать — тогда пожалуйста. Покачала головой Настасья, как бы опять чего не вышло, ан перечить не стала.

— Ты, главное, поперед меня не лезь, — Илья по дороге выговаривает, — чтоб не как надысь. Я и глазом моргнуть не успел, как ты уже того… рать учинил.

— Да я чего, — слабо отбрехивается Добрыня. — Я ничего… Добрый я нынче. Надысь — иное дело было. Кабы ты не вмешался, не свадьбу б Алешке играть…

— Зазря ты так, — продолжает Илья укорять. — Сам же видел, не своей он волей, княжеской. Тут, пока нас с тобой не было, больно уж все поменялось…

— Своей, не своей, — Добрыня свое гнет, — а жить по совести надобно. Ежели она тебе указ, ты однова живешь, а коли слово княжеское…

Так, препираясь, и добрели до Алешиного терема. Хотя там и брести-то всего ничего: от ворот до ворот камень кинуть. Гостей набилось — не продохнуть. Иные уж от ворот отойти не могут — воротины облапили, поддерживают, чтоб, значит, не упали. И такой это тяжкий труд, что некоторые не сдюжили, рядышком прислонились. Не вовремя пришли, однако ж Алеша, к чести его, из-за стола выбрался, встретил, как полагается. Аленушка его, в пояс кланялась, к честному пиру звала. Ну да не затем Илья Добрыню притащил, чтоб пиры пировать. Успеется.

Присели они на лавку, так, чтоб видно не было, — Илья посередке, кабы чего не вышло. Поговорили. Много чего один другому сказали, потому — у каждого своя правда, — ан то хорошо, что в себе не держать не стали. Осталось, конечно, кое-что на сердце, ну да придет срок — и тому не бывать. Рассказали Илья с Добрыней (больше, конечно, Илья), что с ними приключилось, а Алеша — что в Киеве без них деялось. Ино говорили, ино молчали.

Может, тогда-то и сбылась молва народная? Ну, о братстве, покрепче названого… Новое время наступало, лучшее ли, худшее, а новое.

Не успели богатыри толком пожить спокойно, как князь всем поручения дал. Алеша с ратью к горам подунайским отправился; Добрыня — степняков гонять, с одними замирились, так другие повадились; а Илья — греков обратно повез, с посольством, толмачом Веденей и строгим наказом — доставить в целости и сохранности, чтоб ни один волос с голов посланных никуда не делся. Хорошо ему сказать, а как за ними смотреть-то, коли половина греков — плешивые… Так что случилось у Ильи — с корабля на корабль угодить…

* * *

— И занесло, — продолжал Веденя, — каким ветром Иванища как раз к Костянтину-городу. А там в это время как раз беда страшная приключилась. Осадили город полчища неведомые, *тараканы*, с самым главным своим *тараканом Салтаном*…

— Погоди, — Илья спрашивает. — Это ж какие-такие тараканы? Что у нас по избам живут?

Веденя уставился на него, разинувши рот.

— Кто у нас по избам живет?

— Ты ж сам сказал, тараканы.

— Ну, живут, и чего?

— Как — чего? И вот эти самые тараканы целый город осадили?

— Да кто ж тебе сказал — осадили?

— Ты и сказал.

— Когда?

— Да вот только что. *Тараканы*, мол, *Салтаны*…

— Ты меня, Илья, чего, несмышленышем мнишь? Я тебе про *сарацинов* толкую, а ты мне — *тараканы*!..

— Так ведь ты сам…

— Сказано тебе: *сарацины*, значит — *сарацины,* — начал обижаться Веденя. — Это вот как у нас степняки. А главный у них — *царь Салтан* прозывается. И войска у него, как этих самых твоих тараканов.

— Ладно, — примирительно буркнул Илья. — Чего уж там… досказывай.

Но Веденя надулся, как мышь на крупу.

— Чего там рассказывать? Видит Иванище дело такое, подкрался, ухватил сарацина, дал ему как следует, чтоб тот не орал, и подальше уволок. Дождался, пока в себя придет, спрашивать начал: «Кто, мол, вы такие, откуда взялись, почему разор чините?» А тот ему отвечает: «Мы, говорит, пришли сюда из земель сарацинских, потому как всю землю повоевать хотим, по приказу нашего *царя Салтана*. Нас, говорит, видимо-невидимо, а воеводою у нас Идолище поганое, — он ростом в сажень греческую, а в ширину — в две сажени греческих, головище у него — с пивной котел, а глаза — что чаши пивные, а нос на роже — с локоть длиною»… Видит Иванище, не совладать ему с таким богатырем, пригорюнился, и дальше себе побрел…

— Да что ты мне все сказки рассказываешь? — опять не выдержал Илья. — Я тебя об чем просил? Чтоб ты мне про город поведал, про обычаи местные, а ты про какого-то Иванищу бродяжного…

— Не про какого-то, а про калику Иванища, — напустился в ответ Веденя. — Что ты ко мне пристал? Откуда мне чего про город знать, коли я там в полоне был? Про обычаи? Меня в застенке держали, только на работу и водили — камень колоть. Со мной рядом грек долотом стучал, от него языку и выучился.

— А Иванище этот твой откуда языку выучился? Он ведь у тебя запросто с сарацином разговаривает? И где ж это видано, чтоб воеводу своего поганым называть?

— Сказано ж тебе, что Иванище — калика, он еще и не на то способен. А у греков, чтоб ты знал, поганым тот именуется, кто ихних обычаев не соблюдает. Или кто не в главном городе живет. Понял, дурья башка? — совсем Веденя разошелся. — Эх, зря я тебе сказал!.. Коли не знал бы, да услышал, как тебя поганым назвали — ты непременно б мордобой учинил. Сам себя потехи лишил лицезрения…

Развернулся и пошел себе. Не успел отойти, еще с кем-то сцепился. Больно уж норовом досадлив.

* * *

…Зря, ох, зря Илья над байкой Ведениной потешался. Потому как оказалась она вовсе даже и не байкой, а правдой-истиной. Дня эдак за два, как им к Костянтину-граду прибыть, ладья одна об камень прохудилась. Близко к берегу взяли, не заметили, вот и прохудилась. Не то, чтоб очень сильно, но дальше на такой идти — себе дороже, а пару досок стесать, паклей забить и просмолить — для этого все под рукой имеется, и инструмент, и мастера. Илья ладью на берег вытащил, наклонил, где надо подпоры из цельных стволов приладил, и, пока суд да дело, пошел себе по земле побродить, косточки поразмять. Идет, и как-то ему все здесь не нравится. И деревья не те, не чета нашим, и леса привычного нету, и земля сухая, как на такой что и растет. Трава чахлая, колючая, жесткая, где присесть — и то не сразу сыщешь. У нас по лесу идешь, сердце радуется, птички там, зверьки, а тут — пауки бегают, ящерицы, а из птиц — окромя мартын не видать никого. Как тут греки эти самые живут — непонятно. Наверное, от того и злы на всех, что места им достались — ни тебе речек молочных, ни берегов кисельных.

Бродит Илья, ничего интересного не видит. Все одинако — куда ни посмотри. Совсем было обратно повернул, и тут на тебе — заприметил в сторонке человека на камне. Сидит себе, орехами какими-то балуется; достал из сумы горсть, зажал ладонь в ладонь, сдавил, теперь скорлупу разбрасывает, а ядра — в рот

пихает. И наружность у него совершенно не греческая, а скорее наша. Особенно борода. Привяжи к челу два веника соломенных, в разные стороны чтоб торчали, как раз такая и получится. И одет по-нашему. Любопытно стало Илье, дай, думает, подойду; коли не наш, скажу, ошибся, мол, а уж поймет — не поймет, его дело. Подходить начал — точно, из наших. Греки в лаптях не ходят. Вот только онучи странные, да и сами лапти — поблескивают на солнышке, ровно капли воды на них. А еще — вон — клюка к камню прислонена… Неужто?.. Да нет, быть такого не может.

Сбавил шаг Илья, сомневаючись. Борода же веником глянул искоса в его сторону, и говорит:

— Ты, — говорит, — добрый молодец, коли на орехи нацелился, так мимо проходи. Потому — самому мало.

Вот так, ни много, ни мало. Ни тебе приветствия, ни пожелания доброго — а милости просим мимо нашего забора киселя хлебать.

— Не нужны мне твои орехи, — в тон Илья ответил. — Ты мне вот что скажи — уж не Иванищем ли будешь?

— А коли и так, что с того?

Вот свезло — так свезло. Сколько про калик слышал, а тут — вот он, нежданно-негаданно.

— Ничего… Слышал про тебя… В народе…

— И чего ж там про меня в народе говорят?..

Чего, чего… Об этом Илья как-то не подумал. А потому, — за руку ухватить все одно некому, — выложил все, что прежде слышал. Обо всех. И про мудрость несусветную, и про подвиги богатырские, а напоследок прибавил, что ему Веденя поведал.

— Здорово, — протянул Иванище. — Век бы слушал… Однако ж брешут. Не все, конечно, но много. Никаких я там Змеев не одолевал, даже и не видывал, ратей вражеских не гонял, по воде не бродил, по воздуху не летал, да и с разбойниками… Ну, разве самую малость.

— А с сарацином что? Правда, ты язык ихний понимать научился?

— Да какой там!.. — махнул рукой Иванище. — Я ему для начала в ухо дал, для порядка, а уж потом на пальцах изъяснялись. Прутиком он мне еще рисовал… Ты мне вот что скажи, не слыхал ли ты чего про богатыря, который на море Хвалынском ихнего богатыря одолел?

Да что ж это такое на белом свете творится-то? Сколько времени прошло, а слава об этом уж и сюда добежать успела.

— Так, кое-чего… — уклончиво ответил Илья. — А тебе зачем?

— А затем, что в Костянтин-граде главным теперича не царь

греческий, а тот самый воевода сарацинский, что город измором брал. *Салтан* сарацинский дюже разгневался, что одного из лучших его богатырей извели, на Киев идти собирался, ан услышал, что богатырь тот самый, недруг ему, с посольством к грекам послан. Чего ж лучше быть может, коли рыба сама на берег лезет…

И про то узнали. Не иначе, чародейством каким.

— Тебе-то откуда ведомо? — вздохнул Илья.

— Так сарацин давеча сказал… Их тут много…

— Ты и ему в ухо, для порядку?..

— Не без этого… Говори теперь, что о богатыре слыхал?

— Что слыхал, что слыхал… Я тот самый богатырь и есть.

— Да ну? — Иванище сунул в рот скорлупу.

— Вот тебе и ну… Недаром говорят: на ловца и зверь бежит. Чего хотел-то?

— Подумалось мне, негоже в стороне оставаться… Дай, думаю, подсоблю, чем смогу…

— Чего ж грекам не подсобил?

— Ну ты сказанул, грекам!.. Они мне не земляки даже… Так и войско сарацинское больно уж большое было…

— Чем же ты мне подсобить собрался? Упредил — и на том поклон.

— Про то не придумал…

— Ну так давай вместе.

Присоседился Илья рядом с Иванищем на камешек, и стали они вместе думать да гадать, как из беды достойным образом выбраться. Только раздумывать особо не над чем. Илья князю обещался посольство в целости и сохранности доставить, значит, так тому и быть. Иванище — самому себе слово ненарушимое дал, не оставить земляка без помощи. Вот и выходит, что какую хитрость ни задумай, а встает она поперек слов даденных. Ничего толком не придумали. Понадеялись на авось да кривая вывезет. Договорились, что Илья на корабль возвернется, а Иванище берегом в Костянтин-град побредет. Это еще неизвестно, кто там раньше окажется, заверил он Илью. Дал напоследок одежку свою, из смены, чтоб тому не богатырем маячить, а скрыться до поры, до времени, от соглядатаев. Тем Илью удивил, что в суму свою, локоть на локоть размером, ручищу аж по плечо запихнул. Разъяснил, у каких ворот околачиваться будет, в ожидании, и побрел себе.

* * *

Пока суд да дело, Илья по городу бродит. Накинул на себя одежку, Иванищем данную, в таком виде и бродит. Чтоб не опознали в нем до поры, до времени богатыря. А еще лучше, чтоб совсем не признали…

Нет таких городов у нас, и неизвестно еще, будут ли когда. Все-то здесь каменное, даже мельницы. Другой бы в толк не взял — отчего? — а Илья сразу смекнул. Леса у них нету. Вот у нас: где б не приткнуться, а выйдешь за околицу — тут тебе и лес на тыщи верст. А у них — камень. Вот и строят из того, чем богаты. Не дома — дворцы, как у князя киевского. Стены, что город окружают, такие — вверх глянешь, шапка свалится. Мало того, что кольцом обхватили, так и внутри их еще понаделали, не пройти. Башен — ежели всех людей в их деревеньке собрать, да пальцы на руках перечесть — вот столько, а то и больше. В каждой — ворота. Улучил Илья время, когда стража отвернулась, попробовал стукнуть — руку отшиб. Крепкие, на совесть сделаны. Над какими-то воротами — это ему Веденя наплел — знак должен иметься, круглый. Когда-то, в незапамятные времена, кто-то из предков нынешнего князя киевского, осерчал за что-то на греков, и решил их проучить. Побил немножко, на щит взял, а чтобы впредь неповадно было, этот самый щит над какими-то воротами и приколотил. Да как же это ему удалось? — Илья спрашивает, а сам прикидывает. Знает, сколько дружины у князя. Тут таких дружин, чтобы город взять, ого-го сколько надобно. Оно, конечно, в стародавние времена богатыри были — не чета нонешним, а все одно непонятно. А так и удалось, — это Веденя ему отвечает. — Князь тот корабли свои из моря достал, и посуху на город двинулся, паруса расправил. Увидели это греки, перепугались, сами ворота растворили, подумали — колдовство какое. Хотел было Илья за такое объяснение толмачу леща отвесить, а потом вздохнул, и решил больше его ни о чем не спрашивать. Корабли — и посуху… Надо ж такое удумать… Это еще похлеще, чем прежние его враки. Тут люди каменные в разных местах поставлены, непонятно зачем. Стоит себе столб, а на столбе — человек каменный. Там — одетый, а тут — в чем мать родила. Это, — Веденя ему рассказывал, — они так героев своих и знатных людей для памяти сохраняют. Голых — и для памяти? Обычай у них такой. Хорош обычай!.. Бабы, вон, ходят, а ты стой тут, у всех на виду… Нет, нам такой обычай без надобности. Просто удивительно, чем только этот обычай греческий князю угодить мог? Оно, конечно, про князя многое чего рассказывали, но чтобы вот такое, и у нас в Киеве?.. Представил себе Илья, — стоят они вот эдак-то с Добрыней и Алешкой посреди Киева, и как-то неуютно ему стало.

И дом, который им отвели, тоже каменный оказался. А на полу — камнем цветным всякие картинки выложены. Такие, что Илья поначалу ступить боялся, как бы не раздавить кого. Крынки стоят, в рост человеческий. Он внутрь заглянул — пустые. Веденя говорит — для красоты, ан, должно быть, пожадничали. Что эта за красота такая — пустая крынка? Вот с медом — другое дело.

В общем, столько чудесного в городе оказалось, глаза разбегаются. Вот и ходит Илья, посматривает, но так, чтобы от дома далеко не уходить; не ровен час заблудишься, а спросить не у кого. Одни греки кругом. Ну, с иных земель тут тоже предостаточно, однако ж все по-своему лопочут, и нашего языка не ведают.

Ходит же потому, что этот самый ихний князь, он тут по-другому называется, а по сути — одно с нашим, сразу никого к себе не допускает. Дожидаться требует. Как надумает повидаться — весточку пришлет. Пока не прислал.

И еще — сарацинов этих самых, тут не особо много. Он думал, они на степняков похожи будут, ан нет, больше на греков смахивают, чем на степняков. Оружием на степняков смахивают, а обликом — грекам ближе.

Насмотрелся Илья, на всю оставшуюся жизнь. Домой хочется. Надоело посреди камня пылью дышать. Он слово свое исполнил — доставил, а насчет обратного пути уговору не было. Да и не сказались ему, надолго ли посольство прибыло. Веденя что-то толковал, книги какие-то князю киевскому понадобились, мудрецы местные, чтоб обычаям обучать, только все это Илье не по сердцу. Князь, он что хочет, то пусть и делает, а других не неволит. Как-нибудь без этих мудрецов обойдемся. Жили по старинке, и еще сколько проживем. Своей головой. Эти, вон, хоть и мудрые, а под сарацинами ходят. Мы же, хоть и лаптем щи хлебаем, ан никого над собою не имеем, окромя неба синего.

Совсем уж было собрался Илья домой проситься, с каким кораблем попутным, как смилостивился Василий-князь. Призвал к себе посольство киевское, беседовал с ними об чем-то, а вечером на пир позвал, в знак особого расположения. Со строгим наказом — чтоб все явились, как есть, сколько ни прибыло.

Ну, на пир — отчего ж хозяев не уважить. Одно плохо — снедь ихняя в горло нейдет. Они ведь что поймают, то и на стол. Таких страшилищ из моря достают, что своими бы глазами не увидел — не поверил бы. А они едят, да нахваливают. И медов у них нету, и пива. Пьют что-то такое, от чего облик кривится, до того кислое. Ладно, потерпеть — и домой.

…Илья, как кто в ухо нашептал, опять поверх доспеха богатырского платье каличье набросил. Сел себе скромненько за

стол рядом с мастерами корабельными, с корабельщиками, с обслугой. То насторожило, что как вошли в залу пиршественную, двери позади них на засовы заперли. Пока шли — воев многих видел; оно, конечно, царский дворец, а все ж таки многовато. И в самой зале — возле каждой колонны понатыкано. Зачем столько, коли никто в дворец царский никто с оружием сунуться не смеет? Странновато у них как-то гостей встречают.

На троне царском сарацин сидит. Не сарацин — сарацинище. Тот самый вроде, про которого Веденя как-то сказывал: «он ростом в сажень греческую, а в ширину — в две сажени греческих, головище у него — с пивной котел, а глаза — что чаши пивные, а нос на роже — с локоть длиною». Приврал толмач, как обычно, но в том прав, что сразу видно — богатырь, хоть и сарацинский. А вот по ухваткам — о вежестве и не слыхивал. Василий-князь ниже его приспособился, тоже на троне, но маленьком, так он ему едва ножищами в спину не пихает. Хозяином расположился. Возле него посуда сплошь золото, а камни в ней самоцветные — иные аж с яйцо голубиное. Позади него заморыш какой-то пристроился, из греков, толмач, как Илья потом догадался.

И вот сидит себе этот самый сарацинище, то в одно блюдо пальцем ткнет, то в другое — сразу слуги подхватываются, несут ему указанное. Руку с чашей в сторону отведет, ему в нее сразу отдельный слуга из кувшина наливает. Василий-князь при нем, будто бедный родственник. Слово без разрешения сказать не смеет. А тот, видать, решил охолонуть маленько, обождать, пока уляжется. Знак подал — глядит Илья, схватили Веденю за шиворот, с лавки подняли, к трону волокут. Сами собой кулаки сжались, ан не на расправу приволокли. Язык почесать сарацинищу захотелось. Он грека-толмача за загривок достал, говорит ему что-то; тот — Ведене, а уж Веденя — посольству киевскому. Интересно, о чем речь идет? Только вот не слыхать отсюда, где Илья сидит.

Смолкло все вдруг. Видит Илья, вперился сарацинище взглядом тяжелым в посольство, каждого осматривает, ровно тот прячет чего. Махнул рукой Ведене, тот, глядя в угол, пробормотал:

— Знамо ему стало, что есть у нас в Киеве богатырь, именем Илья, на море Хвалынское хаживавший. Еще — будто сюда послан, с нами вместе. Только как ни глядит вокруг, никак не высмотрит. Спрашивает, правда ли то? Все ли здесь, кто на кораблях были? Не спрятали ль богатыря своего? Али сам спрятался? Грозится, коли лжу замыслили, всем несдобровать, даром что посольством пришли.

Тихо, так тихо — перо урони, на пол упадет — громом

небесным покажется.

Опять сказал что-то сарацинище толмачу, тот — Ведене.

— Говорит, отыщет он Илью, хоть на дне морском. До Киева дойдет, только угольки останутся. Не верит, чтоб никого не нашлось, кто о богатыре нашем знает. Ежели так и будем молчать, не по-хорошему каждого спросит.

С такого станется. Ну да плохо он богатырей киевских ведает. Не собирается Илья за чужими спинами прятаться. Но и на рожон не полезет. Выпростался тихонечко с лавки — гул тут метнулся по зале; метнулся, и затих, — подошел, ссутулившись, скукожившись к Ведене, стал рядышком.

— Скажи ему, — говорит. — видал я того, о ком спрашивает. Чего ему надобно?

Глянул Веденя на Илью; хоть и цапались всю дорогу, а ведь не чужой, земляк. Сам в пасть волку лезет. Против сердца ему толмачить, ан приходится.

Расплылось сарацинище, ровно блин. Ухмыляется. Бормочет что-то.

— Спрашивает он, — нехотя Веденя говорит, — откуда ведом да каков из себя богатырь Илья: велик ли ростом, по многу ль ест, по скольку пьет? Это он в обиду спрашивает, — от себя пояснил.

— Ну так отвечай ему, что Илья — братец мой названый, росточком — с меня будет, коли лепешками его вашими угостить, так штуки три, может, и одолеет, а пьет — разве что ковшик малый.

Расхохоталось сарацинище, а Веденя толмачит:

— Ну, коли ты брат ему, тебе и ответ за него держать. Остальных милую. У нас принято — о богатырях судить, кто как ест да пьет. Я, — это он об себе говорит, — зараз в рот по десять лепешек кидаю, а что вина — так чашу ведерную поднеси, и той мало будет. Не богатыри у вас в Киеве, а песьи мухи. Знать, не силой, ведовством аль коварством с Бугой совладал. Попадись он мне, я бы его на одну ладонь посадил, другой прихлопнул, а что сделалось бы — сдунул в чисто поле единым дуновением…

Полыхнули огнем глаза Ильи.

— Толмачь ему, — говорит. — Сосед у меня был, а у него корова. Хороша корова, да обжориста. Ела-пила так, что поперек себя треснула. Кабы и тебе судьбы такой не сыскать.

В камень обратились киевские. Вот только сейчас живые сидели, и вдруг — разом камни. И Веденя им под стать. Видит сарацинище, неладное что-то, насупился, ножище в руках вертит.

— Толмачь, как сказано, — Илья говорит. — И смотри, слово в слово передай.

Запинаясь, будто воды в рот набрал и боится выплеснуть,

Веденя передал, как сказано было. Теперь уже тощий грек замер, разинув рот. Веденя еще ему что-то сказал, к Илье повернулся.

— Я ему пообещал, — буркнул, — ежели переврет, несдобровать ему будет.

Попал грек из огня да в полымя. И так не хорошо, и эдак нездорово. Потом, видимо, решив, что за слово сказанное не ему ответ держать, перетолмачил.

Обалдел сарацинище. То на грека глянет, то на Илью. Никак понять не может, кого из них наказывать. Этот ли наврал, али тот ни весть кем себя возомнил. Притянул к себе грека, повторить велел, в глаза ему глядючи. Повторил грек — ровно баран проблеял.

Отшвырнул его сарацинище, будто перышко. Кровью налился, вот-вот с ним случится, что Илья ему предсказал. Никто и пошевелиться не успел, как он то ножище, что в руках вертел, в Илью метнул.

Не стал Илья, как прежде с Алешкой случилось, ножище за черенок хватать. Уклонился в сторону, махнул рукавом, — чиркнуло лезвие по полотну, шарахнуло в дверь деревянную. Так шарахнуло, что выскочила дверь, вместе с обдверинами, подалась вперед, завалила на пол стражу, позади нее стоявшую.

Извиняй, Иванище, коли свидимся, как-нибудь рассчитаемся за одежку твою. Смахнул ее с себя Илья, чтоб привычней было.

Но и сарацины эти самые, не вчера родились. Опешили на мгновение, а затем сабли выхватили, копья нагнули — и на Илью. У того же ничего с собой из вооружения нету. А коли нету, так не взыщите. Что под руку попало, тем и обороняться будем.

По первости скамья под руку попала. Кто там на ней сидел, — посольство ли, еще кто, — не разглядел Илья, потому как они лещиной созревшей посыпались. Ухватил за конец, да и приголубил наотмашь, кто первыми сунулся. Крякнула скамья, звон раздался, как полетели сарацины во все сторону. Отмахнул Илья в другую сторону, — еще сколько повалились. Глянул мельком на сарацинищу, на скамью, — нет, размер не тот. Метнул в сторону двери, — на удачу, кому достанется, стол ухватил. Разлетелись по стенам яства, да питья, да посуда всякая, спорхнула скатерть узорчатая, тем столом сарацинищу и употчевал. Славно угостил, от всего сердца. Едва щель малая промеж столом и стеной осталась. В ту щель сарацинище весь и уместился.

Одно плохо, оружия Илья лишился. Ну да не пропадать же совсем, надо из передряги этой выбираться, к воротам, где Иванище поджидает. Вдвоем-то им посподручней будет. И посольство к кораблям провести. Крикнул Ведене, чтоб под

руками не сновали да под ногами не путались, чтоб тоже выбирались, паруса подымали, нагонит он их, — наклонился, нащупал что-то, ухватил, и давай отмахиваться, потому как лезут сарацины, ровно медведь к борти. Даже и не заметил поначалу, что сарацина поверженного за ноги ухватил, им и машет.

До двери домахал, засовом разжился. Веселей дело пошло. В окошко взгляд мимолетный бросил — там уже во дворе началось. Несколько сарацин в окошки выпали, подумали, должно быть, греки, настала пора обидчиков бить, вот и схлестнулись. Только Илье от этого не легче. Это в сказках богатырь направо-налево без передыху супостатов валит, а тут не сказка. Да и супостатов, правду сказать, многовато, на одного-то.

А потому Илья, как до ворот дворцовых пробился, глянул по сторонам, да шмыгнул в переулочек. Бочком-бочком, к месту, с Иванищем уговоренному, пробирается. Вроде как и не причем. Весь город кипит, а он — не причем.

До ворот условленных добрался, — еле протиснулся. Гонят греки сарацин, а те сопротивляются. Сеча злая завязалась. Никто уступать не хочет.

Выбрался-таки. Глядит, — Иванище, хоть и не воюет, однако ж и без дела не стоит. Как кто к нему отлетит, — грек ли, сарацин, — он того клюкой свой легонько так — бац! Клюка-то у него, почитай, пудов в сорок — это Илья сам на вес попробовал. Вон уж сколько набацал…

— Я уж думал, не дождусь, — спокойно так сказал, Илью заприметив. — Только вот не знал, то ли в город сунуться, то ли домой подаваться…

— Ты вот что, — Илья ему отвечает, — давай-ка мы с тобой до дому отправляться. Пущай эти тут без нас промеж себя разбираются, не наше это дело. Нам своей земли держаться надобно, одна она у нас. За нее и стоять будем. Чую я, ждать нам скоро гостей в Киеве…

12. «ДА ЕСТЬ Я ИЗ ГОРОДА ИЗ ГАЛИЧА, ИЗ ВОЛЫНЬ-ЗЕМЛИ ИЗ БОГАТЫЕ…»

Долго, ох и долго же пришлось Илье до Киева добираться. Подались они с Иванищем так, чтоб моря из виду не терять, потому как иной дороги не знали. К тому же, нет-нет, а поглядывал Илья с берега, не видать ли паруса над кораблем, особо скроенным, чтоб попроситься. Не видать. Вот и шлепали; коль небо ясное — пыль поднимают, земля тут больно глинистая, солнышко ее припекает, отсюда и пыль. А коль дождичком польет — так по большей части едва-едва.

Питались чем? А чем придется. Иванище поначалу все никак отсердиться не мог, что Илья его одежонку грекам оставил. Целый день бубнил, хоть обратно за ней возвращайся. Потом, однако, сменил гнев на милость, достал из сумы своей еще одну такую же и холстины кусок и веревку. Переоделся Илья, сложил в холстину доспех свой, веревкой обвязал и на спине нес. С жителями местными, что по дороге встречались, Иванище объяснялся. Он хоть языка не знает, зато в жестах поднаторел, по миру шастаючи. Им все больше селения убогонькие попадались, а там рукам рабочим, что в лепешку да рыбу обходятся, завсегда рады были. Там кому чего починят, здесь подлатают, глядишь, и накормлены. Не от пуза, конечно, но, в общем, не померли. Иногда сети помогали тянуть. То есть, Илья помогал, потому как Иванище, выяснилось, страсть моря боится. Бродил-бродил вокруг, а плавать не выучился. Его в лодку посади, чуть от берега отвези, — он на все готов, лишь бы обратно. Все ему чудится — опрокинется лодка, и он как топор… Ну, в том смысле, кто кого обгонит…

Пару сетей Илья все ж таки порвал. Казалось бы, тащи себе и тащи, велика ли хитрость? Оказалось — велика. Никогда б не подумал, что особое уменье надобно. Чего там сеть — дыры сплошные, веревкой обвязанные. В ней воде зацепиться не за что. Первый раз так деранул, — ну, чтоб побыстрее, а то как начнут тянуть, до завтра не закончат — что и сеть порвал, и лодку опрокинул. Только тем тогда и исправился, что сухостоя натащил. А так бы голодными остались. Помаяться пришлось, тут деревья в основном маленькие, не нашим чета, зато кустарника полно…

Так и шли, пока Илье удача не улыбнулась — корабль из

Костянтин-града в Киев, с гостями, к берегу пристал. Напросился к ним, обещался отработать. Не узнали его, да и он никого в лицо не видел. То есть, может, и видел, но не запомнил. И то сказать, где гости — а где дружина. Спрашивать стали: кто таков и откуда, даже и думать не стал. Наврал с три короба, будто бы рассказали ему люди хожалые о том, как безбедно за морем живется, про реки молочные с кисельными берегами, он и поверил. Пошел счастья искать, да вот одумался, домой захотелось. И так у него здорово получилось, что особо его и спрашивать не стали. Чего и спрашивать, коли про таких искателей каждый знает, и не про одного. Посмеялись беззлобно, пошутили — да и забыли.

С Иванищем же расстаться пришлось. Для него, что на корабль, что сразу на дно морское — все едино. Уговорились, что он в Киев на своих двоих поспешит. Как доберется, найдет Илью, там и решат, куда ему лучше пристроиться. Может, к тому времени не о том думать придется. Рассказали корабельщики, что в Костянтин-граде учинилось, как греки с сарацинами разодрались. Сами не видели, а поговаривают, что с нашего все началось. То ли богатыря киевского, то ли калики прохожалого. Он вроде как с главным сарацином сцепился, а греки, не разобравшись, побоище учинили. Теперь же, как в себя пришли, к войне готовятся, клянут киевлян, почем свет стоит. Жили себе, не тужили; хоть и не по своей воле, а все лучше, чем воевать. Теперь эти самые сарацины их город главный до основания стереть могут. Даже посольство к князю киевскому слать хотят — пусть либо подмогу высылает, либо того, кто замятню учинил. Выдадут они его сарацинам, повинятся, подарками богатыми откупятся, и будут жить, как прежде. Дары, сказывают, уже приготовили. Но и рать созывают, ежели сарацины заартачатся. Только нам от этого легче все одно не будет — как ни случись, а мы крайними останемся.

Переглянулись промеж себя Илья с Иванищем, как услышали. Вот и делай после этого добро грекам. Они, можно сказать, то ига сарацинского их избавили, а те им вон какую свинью подложить задумали. Не люба им, видать, свобода, коли за нее чем большим, нежели золото, платить надобно…

* * *

…Наконец, грохнули сходни по причалу тесаному. Позади остались пороги Славутича, — гиблое место. Не даром один из них так и кличется — Ненасытец; сколько жизней отнял, а все неймется ему. Другие ничем не лучше, однако ж названия

покрасившее: тут тебе и Звонец, и Вольный, и даже — Не спи! Откуда они тут взялись, коли минуешь их — не найти, должно быть, реки спокойнее Славутича.

В первый раз, это когда в Костянтин-град путь держали, Илье и невдомек спросить было. А тут, кто-то из корабельщиков сам рассказал, как, миновав, на ночевку к берегу пристали.

— Давно это было, — сказывал. — Тут опричь Славутича еще одна река есть, ежели супротив течения смотреть, по правую руку будет. Оттого Десной и прозывается. Они со Славутичем брат и сестра, отцом же у них — море синее. Заспорили они как-то промеж себя, кто из них старше. Каждый в свою дуду дудит, а к отцу сунулись — не помнит он, совсем старенький стал. Вот и уговорились она наперегонки бежать; кто первым прибежит, тому почет и уважение, тому и старшим быть. Брат — он сильный, а сестра — она хитрая. Пока брат собирался, да снаряжался, сестра уже давно в дороге бежит. Пока брат к отцу ходил, благословения спрашивал, далеконько убежала.

Видит брат, коли не прямой дорогой, нипочем не догнать ему хитрой сестры. Вот и начал он сквозь горы путь торить, сквозь овраги непроходимые, сквозь леса дремучие. Долго ли, коротко, а и догнал сестру, и перегнал. А та видит, отставать стала, несмотря на хитрость свою, начала камни подбирать, да братцу на дорогу и подкидывать. В двенадцати местах накидала, там, где пороги нынче, ан не помогло это ей. Оттого и стал Славутич старшим, оттого и уважение ему, хоть и каменист, где сестра ему путь заступала.

— А с ней что сталось? — спросил кто-то.

— С ней-то? Огорчилась больно, да и пошла себе, куда глаза глядят. Сгинула б без вести, однако ж брат сжалился. Принял ее к себе, вместе текут.

— Постой-постой, — вдруг спохватился Илья. — Одесную… деснь… Десна… Уж не та ли самая, что возле Чернигова?..

— Та самая…

Ишь ты, не думал, не гадал, что они брат с сестрой…

Не стал Илья сразу во дворец княжеский соваться. Решил поначалу поразузнать, что тут, да как. Посольство прежде него должно было воротиться, мало ли, чего, воротившись, князю напели. Упросился он у корабельщиков пожить пару дней, а те и рады. Только, говорят, не взыщи уж, силенкой не обижен, так будешь нам подсоблять.

Ну, Илья до полудня подсобляет, а там — иди на все четыре стороны. Ходит, посматривает, слушает, о чем люди промеж себя притолковывают. Вроде обо всем том же самом говорят, вроде и жизнь течет по-старому, ан только по внешности. Сунулся ко

дворцу княжескому, там чего-то строить затеяли, камень везут. Без греков, должно быть, не обошлось. Для них, небось, отдельные палаты возводятся. Поглядел издали на дворы Алешин с Добрыниным, не видать, чтоб хозяева дома были. Спросил на торгу, чтой-то богатырей не видать, так никто ему прямо не ответил. Кряхтят, мнутся, а то и просто — рукой махнут, вот и весь ответ, толкуй, как знаешь.

День маялся безвестностью Илья, другой, а на третий решился к князю на пир наведаться. В один сапог сена подложил, чтоб одна нога длинней другой казалась, на одно плечо — соломы, чтоб и тут перекос виднелся, шапку набекрень, лицо чуть золой подправил, чтоб не поначалу узнали. В таком виде и отправился.

Через главное крыльцо соваться не стал. Там гридни хай подымут, в драку полезут, а ему тихо надобно. Потому, в обход сунулся — что ж он, за время службы не прознал, где и как пройти способно? До палаты добрался, никто ему слова не сказал. Оно, конечно, хорошо, а с другой стороны — ежели кто с дурной мыслью полезет? За дверьми же шум шумит, пируют по обычаю. Пока думал, распахнулась одна половина настежь, и стал он на виду князя киевского. Совсем тот не изменился. Век пройдет, он, должно быть, таким и останется.

Вошел Илья, поклонился по обычаю. Пока кланялся, взгляд бросил на тот стол, за который богатырям отведен. Залешане сидят, Збродовичей сколько, а более никого. Из старых никого. Молодежь незнакомая. Не то, чтоб возрастом молодежь, в дружине, коли приняты они в нее, молодежь. А может, и не новички уже, сколько времени прошло, как Илья тут последний раз сиживал? То время, что от возвращения с моря Хвалынского до посольства в Костянтин-град, оно не в счет. Там как-то и не пришлось за столом посидеть. Ага, а вон и еще лицо новое. Позади князя стоит. Оно ему из кувшина в кубок подливает. Ишь, красавец какой. В сарафан нарядить — от девки не отличишь. Неужто и таких нонче стали в дружину брать? Хотя… что-то ты, Илья, разворчался. Ты Алешу вспомни, а потом уж молодцу пеняй. Алешка, он тоже не особо богатырем выглядит, однако ж супротив него мало кто устоять сможет.

Махнул рукой князь, пришлеца подзывая. Приблизился Илья, хромая и чуть подволакивая ногу при ходьбе, наклоняясь так, чтоб заметно было, что одно плечо повыше другого.

— Ну, добрый молодец, отвечай, зачем пожаловал, что за нужда тебя ко мне привела? — князь спрашивает.

— Прослышал я, княже, что тебе богатыри в дружину надобны, вот и пришел.

Оторопели те, кто услышал. Это ж надо, в таком виде — и в дружину. Смеется, аль ума при рождении не досталось?

Однако ж князь бросил окрест суровый взгляд, — ему решать, — и снова спросил:

— Звать-то тебя как, молодец? Из каких краев?

— Никитой звать. Из залешан я.

— Брешет! Как есть брешет! — вскочил один из братьев. Так ему обидно показалось, что и взгляд княжий ни во что. — У нас все как на подбор, а этот… колченогий…

Он еще что-то слово какое-то молвил, да не расслышать было из-за хохота, что по палате ухнул, как ведро в колодец.

— В дружину ему… богатырь… колченогий…

Сам князь не сдержался, прыснул.

А Илья стоит себе спокойненько, иногда чуть плечиком пожмет. Мол, и чего веселятся? Хромых не видали?

Почувствовал князь, отсмеявшись, что негоже получилось: и без того человек с изъяном, а тут, выходит, на смех подняли за то, в чем вовсе и не виноват. Конечно, не ему в дружину проситься, но и смеяться — негоже…

— Ты вот что, Никитушка, — говорит. — Не буду тебя больше ни об чем спрашивать, ни о подвигах твоих, ни кто тебя дружиной надоумил. Ты будь гостем моим, садись вон за тот стол, где младшие гридни сидят.

Не тут-то было.

— Уж ты батюшка князь стольный киевский, — Никита ему в ответ. — Не по чину место, не по силе честь: Сам ты, князь, сидишь со воронами, А меня садишь с воронятами.

Не по сердцу, ох, не по сердцу князю слова такие. Правду сказал Никита, не по чину честь была оказана. Повернулся к братьям.

— Вот что. Назвался гость незваный залешанином, вам и встречать, и провожать. Коль отказывается от встречи, за обиду почитает, так и проводите его на двор. Только не переусердствуйте. Не надобно, чтоб потом говаривали, будто у князя киевского богатыри над убогими потешаются.

Братьев дважды просить не надобно. Им тоже за обиду, что этакой-то залешанином назвался. Подошли с двух сторон, стали полегоньку попихивать, потихоньку поталкивать. А тот стоит себе, не шелохнется, ровно корни в пол пустил. Даже шапка у него на голове, и та не колыхнется. Посмелей братья за дело взялись, однако, с той же удачей. Никита же над ними насмехается.

— Ну и богатыри у тебя, князь, вдвоем с одним калекой справиться не могут. Ты уж, коль позабавиться решил, давай еще

троих, а эти пущай отдохнут пока.

Ухватил братьев за загривки, да так лбами друг об дружку шарахнул — инда во дворе треск слыхать было. Отпустил — осели оба на пол, ровно мешки пустые.

Ого как! Ай да Никитушка залешанин. Только в обиду то князю показалось, что теперь иная молва пойдет-разлетится: будто его богатырей любой колченогий одолеть способен. Как тут не пожалеть, что из первых никого не приключилось.

Збродовичи подымаются. Они завсегда заолешан этих за никого почитали. Тому не дивятся, как хромой с ними обошелся; кому ж не ведомо, что видом ущербные иногда крепче красавцев бывают? Порешили промеж себя, кому гостя незваного взашей толкать, а кому по бокам идти, чтоб без сорому вышло — трое на одного!..

Ухватил один брат колченогого за плечи, силится повернуть — как бы не так. Скорей палаты княжеские повернутся, чем этот. Крякнул, поплевал на ладони, только было вдругорядь собрался, ан тот ему по голове кулаком — раз! Третий мешок на полу валяется.

Ну, от остальных безобразий дожидаться не стал. Хвать одного под глаз, другого — вот уже и пять мешков.

Тихо стало. Ничего понять не могут. Разве ж такое видано, чтоб не пойми кто эдак-то вот с богатырями княжескими обошелся?.. Полно, залешанин ли? А вдруг как чародей какой заявился?

Не стал Илья томить. Сорвал шапку, провел по лицу. Распрямился, плечи расправил.

Узнали его. Не сказать, чтоб удивились, скорее — будто ноша тяжкая с плач упала. Илья — другое дело, от него битым быть не зазорно. А тот и говорит:

— Эх, княже, не умеешь ты гостя на приезде учествовать!..

Посуровел князь, будто и не рад вовсе Илью увидеть. Взор мало что молнии не мечет.

— Так ведь и ты не с открытым лицом пришел, — переряженным. Не как в дом родной, как к недругам. Сказывали мне, про Костянтин-град… Ну да не теперь речь вести. Садись, где по праву сидишь, после потолкуем.

Сел Илья, зашумел пир, ровно ничего и не было. А ему что-то не пируется. Правду князь сказал, не родным он себя здесь чувствует…

* * *

…Жила-была на белом свете честная вдова, и звали ее Амельфа Тимофеевна. Вот ведь как случается. В городе Рязани, помнится, тоже честная вдова живет, и тоже Амельфа Тимофеевна. И сын-то у нее — из первых будет, Добрынюшка свет Никитинец. У той же, про которою речь идет, тоже сын есть, и тоже богатырь. Дюк Степанович. Только живет она не в Рязани, а в Волыни. Волынь — она к Киеву недавно приклонилась. Слава о богатырях киевских сюда с Алешей доспела. Дюк тогда в отлучке был, у короля на службе. Он западные границы королевства оберегал, а как вернулся — места его к Киеву отошли. Не захотелось ему более королю служить, что землю его уберечь не смог, ан и на поклон к новому владетелю идти зазорным посчитал. Так и жил себе, в свое удовольствие. Чего и не жить-то, коли богатства у него — на десятерых хватит, еще и останется… Потом же наскучило. Стали из Киева слухи доходить, о тамошнем житье-бытье, о богатырстве киевском, о подвигах. А тут что? Не с кем ни силушкой померяться, ни удалью молодецкой похвастаться. Ну, кого удивишь, что поехал раз на охоту, триста стрел пустил — триста утиц добыл. Ни одна стрела мимо не пролетела. Или вот трех орлов в поднебесье приметил. До них вполовину достретилить — и то не каждому, Дюк же всех трех сострелил играючи.

Вот и стал он к матушке родимой понаведываться, чтоб дала она ему благословение, в Киев отправиться. Та — ни в какую. Кто за ней в старости приглядывать станет? Да жениться ему надобно, хозяйством заняться. Оно, ежели им не заниматься, враз прахом пойдет. «Ты, вон, все в особое рядишься, все-то у тебя самое лучшее быть должно, ан оглянуться не успеешь, портам латаным рад будешь, да веревку у соседей выклянчивать, рубаху в поясе перехватить». А у него — ну не лежит сердце хозяйствовать, и все тут. Привык к службе ратной, к жизни вольной, ему иного и не надобно. Только тем и взял, что пригрозил без благословения податься.

На том уговорились, что ненадолго. Глянет, как там, в Киеве, обратно возвернется, расскажет, тогда и думать будут. Об одном никак договориться не могут. Собрался Дюк в Киев дорогой прямоезжею, мать же тому противится. «Три заставы миновать надобно, говорит, ан и через одну никому ходу нету. Есть там, сказывают, горы толкучии; иыи ж как горы врозь ростолнутся, а потом вместе столнутся, — и тут тебе не проехати. Другая застава — сидят две птичи там клевучиих. Тыи птичи тебя с конем склюют, и тут тебе не проехати. Ну, а коли до третьей заставы доберешься, так там лежит Змиище да Горынчище о двенадцати о хоботах, и тая змия тебя с конём сожрет». «Ни по чем, Дюк ей в

ответ, мне заставы эти. Аль позабыла, какой у меня конь?»

Что правда, то правда. Конь у Дюка — всем коням конь. Отец его где-то за горами купил, жеребенком. Выходил-выгулял, — налился тот силою, нет ему равных. Сколько за один скок перемахивает, про то сам ведает. У него и упряжь особая, за большие деньги купленная. С иной подступиться — и думать не смей.

А еще остались Дюку от отца три стрелы диковинные. То есть с виду ничего особенного — стрелка, и стрелка. Ан и за них цена большая дадена. Есть за тридевять морей остров дивный, на том острове дерева растут, что прочнее железа. Только и можно с них сорвать, что ветку молоденькую, пока еще зеленая совсем. Если же не успеть, потемнеет ветка, ничем ее не взять. На деревьях тех птицы гнезда вьют. Не простые птицы, а такие, что каждое перышко у них цвета особенного, и двух одинаковых не сыскать. А еще есть на том острове камни, из которых коли железо выплавить, ему сносу не будет. Вот коли сделать из ветки, да пера, да железа стрелу — никто и ничто той стреле нипочем будет. Не пригодились отцу Дюкову те стрелы, сыну оставил…

Кафтан еще, к князю чтоб наведаться, имеется. Нет сносу тому кафтану, сколько ни носи. Кто бы ни одел — он всякому впору придется. Так пошит — глаз не отвести. Запоны на нем чиста золота, на них птицы летучие, и звери рыкучие, и змеи ползучие. Коли провести по ним рукою, заклекочут птицы, зарычат звери, зашипят змеи — вот диво, так диво!..

А что к князю наведаться, в том сомнения нету. Уговорил Дюк мать благословить его в дорогу дальнюю. Слово дал, что как подъедет к заставе, попотчует коня своего плетью о девяти шелках, тот его мигом перемахнет через препону злую. И по-твоему, Дюк сказал, и по-моему будет. И прямой дорогой, и без опасности. Только, когда словом твердым обещался, вроде как закашлялся немного, поперхнулся ненароком. А потому и слово вроде не очень твердым получилось.

В общем, правдами-неправдами, а добрался Дюк Степановича до Киева. Почти до Киева. Вон они, стены городские, рукой подать, а тут, возле самого леса, на взгорочке, шатер стоит. Впрочем, шатер — это громко сказано. Тут втроем — вчетвером еле уместишься. Из холстины сделан, не из шелков каких расписных. Конь рядом пасется. А из шатра такой храп доносится, — хоть и не время еще спать, время только к вечеру, — полы будто ветром в сторны развеивает.

Дивится Дюк — кому бы это быть? Просто так заглянуть — зазорно, ждать — тоже вроде как не к чести. Кто бы там ни был, а проснется, выйдет, спросит — за какой надобностью

поджидаешь? — что и ответить-то? Надо бы в город подаваться, ан любопытство одолевает. Может, встреча эта к добру? Как же мимо добра проехать-то?

И решил Дюк испытание устроить. Спешился, коня своего легонько этак к тому, что пасся, подтолкнул. Так решил, что ежели они промеж себя поладят, вместе ходить станут, то встреча эта — к добру. А коли нет, — под уздцы, и в город.

Поладили кони. Бродят себе рядышком, выискивают, где травка посвежее. Ну, знать так тому и быть. Присел Дюк на кочку — вот ведь напасть, на муравейник угодил, — спохватился, сел на другую. Опустил голову на ладони, вдаль посматривает, да и сам невзначай прикорнул.

От того проснулся, что кто-то его очень невежливо за плечо потряс. Открыл глаза, голову поднял — стоит перед ним молодец дюжий, руки в боки, сам нахмурившись и неприветливый.

— Кто таков будешь? Чегой-то при оружии поджидаешь? Никак, силушкой помериться вздумал? Аль от князя посланный?

Дюк его почему-то таким и видел.

— Гой еси, Илья свет Иванович! Одно солнышко красное на небе, один месяц ясный, один богатырь в Киеве! Не мне с тобой силушкой меряться, потому как признаю за тобою первенство. Зовут же меня Дюком Степановичем, из далеких краев я, с Волыни. И не от князя посланный, — к князю едущий.

В одну сторону Илья голову склонил, в другую, потом спрашивает.

— Коли ты из краев далеких, откуда ж меня знаешь? Сказал кто?

— Песни в народе сложены, оттого и знаю.

— Песни сложены… Один месяц, один богатырь… Твое счастье, что Добрыни с Алешкой поблизости нету, не то накостыляли б… И другие, коли б слышали… — беззлобно буркнул Илья.

— Накостыляли ли б, нет ли, это бабка надвое сказала. С ними б и разговор другой был.

— В Киев-то зачем пожаловал? Аль не в Киев путь держишь, а сюда стороной завернул?

— В Киев, в Киев… Наслышал я о дружине княжеской, вот, решил сам разузнать, что да как, а то и проситься. Шатер же случаем увидал, не знал, кто в нем. Но уж коли узнал, так помощи твоей прошу, Илья Иванович, советом выручи. Ты ж, поди, у князя самый главный в дружине богатырской? У тебя проситься по первости надобно?

— Был главный, да весь вышел, — посуровел Илья. — Нешто, думаешь, за здорово живешь я тут в шатре бока грею? Князюшка-

то наш, вишь, жизнь новую затевает. Хочет, что все у нас было по-гречески. А кому не угодно, тот… В общем, — он махнул рукой и неожиданно спросил: — Ты, случаем, не голоден? У меня тут не княжеский стол, ан кое-что имеется.

— Отчего ж? Не откажусь, — просто отвечал Дюк.

* * *

— А скажи мне, Дюк Степанович, где это такое твоя земля? Долго ли добирался, не видел ли в дороге чего интересного?

Пока насыщались, Илья исподтишка на гостя поглядывал. Молод, хорошего обхождения, не беден, говорит прямо, без утайки. Невольно подумалось: таких бы молодцев поболее в дружину… И тут же осекся, где она, дружина та?

— Далеко… Сколько дней пути, и не считал. А интересного… Вот в песне одной пелось, что выбрал ты как-то дороженьку прямоезжую, супротив окольной. И на той дороженьке одолел силу злую — Соловья разбойника. Так ли было, Илья Иванович?

Принахмурился Илья, вспомнив, как дело было.

— Так, да не так, — сказал, взор в сторону отведя.

— Вот и у меня тоже. Сказывали мне, что на дороженьке прямоезжей три заставы неминучие поджидают. Одну не миновать, чего уж про три речь вести. Только я не послушался. Окольной я б еще и вполовину не добрался. Подъезжаю это я к первой — горам толкучиим; иыи ж как горы врозь ростолнутся, а потом вместе столнутся — только мокрое место и останется…

— Ишь ты, — покачал головой Илья. — Ну, и как же ты?..

— А так, — хитро улыбнулся Дюк. — Взял плеточку о семи шелках, огрел коня поперек хвоста, он меня разом через заставу ту и перемахнул.

— Обманул, значит, судьбу, — хохотнул Илья.

— Не без того…

* * *

…Хорошо, старик один помог. Без его слова выбрался бы, нет ли — кто знает… Он про то ущелье много чего слышал, сам как-то наведывался, издали посмотреть. Сплела молва людская воедино правду с лжой, красивая скатерка получилась, ан с дырою. Чтоб горы двигались, этого на земле сроду не было, а вот камни… Камни — иное дело. Какие сами валятся, ну, не то, чтоб сами, а ветер толкнет, вода подмоет, земля сотрясется — всяко

бывает. Какие же — умыслом злым. Оно, конечно, коли рать вражью в ущелье зажать — это благо, хитрость военная, но коли гостей, что с товаром богатым идут, тут иная хитрость, недобрая. Облюбовали ущелье то три брата-разбойничка, люди лихие, день и ночь того стерегут, кто по незнанию сунется. Таких уж, поди, и не осталось вовсе; окольной дороженькой хоть и дальше, ан живота не лишишься. Может, и разбойников не осталось, одна молва, только кому ж охота пропадать лишь за то, чтоб любопытство свое утешить? К тому ж, сказывали, будто не простые те разбойники. Будто прежде богатырями были. Возомнили о себе, будто нет им равных, возгордились, вызвали на поединок *силу неведомую*, ей и одолены были. Наложила она, якобы, заклятие на них страшное — до веку ущелье то стеречь и никого живым из него не выпускать. Зачем оно такое? А затем, чтоб людей разделить. Чтоб одни здесь жили, другие — там, чтоб промеж собой не знались, а коли знались, так только с одним — кто на кого ратью пойдет, кто над кем властвовать станет.

Ну, сказок подобных Дюк в детстве, а то и у костра на стороже вдоволь наслушался. Одна разница — про сокровища несметные старик словом не обмолвился. Обычно разбойнички сокровища награбленные стерегли, а тут — людям препоны чинят, не пойми зачем. Коли б иной дороги не было, а так… Хоть и сказал старик, что ежели с черным сердцем кто через ущелье идет, тому путь свободный, а пропустил то мимо ушей. Черное, не черное, кому то ведомо?

Видит старик, не внял Дюк его словам, на рожон прет. Своего ума не дашь, так хоть совет прими. Там по ущелью речка течет, едва в две ладони глубиною. Скалы вверх вздымаются, сплошь мхом поросли. От одной до другой — едва пять сажен наберется. Коли войдешь туда, обратного пути не будет. Недалеко пройти, ан никому на его памяти не удавалось. Коли камни минуешь, с тремя справиться — тяжко будет. Камни какие? А такие, что братья сверху приспособили. Как кто в ущелье том покажется, дождутся времени, и столкнут на голову. От того и молва идет, будто горы сходятся. Только и на них хитрость имеется. Ежели в одном месте встать, да крикнуть громким голосом, камни те сами упадут. Путь закроют, однако ж вреда не причинят. Примету запомни, места того. Чего ж не запомнить?

Так старик все описал, будто сам по ущелью тому каждый день хаживал. Дюк, прежде чем сунуться, три стрелки своих особых отдельно переложил, на всякий случай. Три стрелки — три брата. Меч попробовал, хорошо ли выходит. Ему мечом сподручнее. Плохо, что на верху ничего не видать. Кромка острая каменная, а над ней — небо синее. Где тут камни, для

неосторожного путника приготовленные? Едет тихо, то вправо, то влево глянет. Ежели напутал старик чего, ежели начнут стены смыкаться, отсюда не выскочить. А сдержать камень — сил не хватит. Ну да не видать следов, чтоб двигались.

И тихо. Только вода журчит. Когда до места добрался, про какое старик сказывал, не хотелось тишину тревожить, так все мирно да спокойно вокруг. Эх, будь что будет…

Набрал воздуху побольше, да как гаркнет со всей мочи, аж у самого уши заложило. И тут же ровно задрожали стены, заходили ходуном, посыпались сверху камни, но не так чтоб сильно рядом, чтоб раздавить. Не крупные, самое большее — в пару обхватов, а самыми последними, как дрожь унялась да грохот поутих, три таких свалилось, — один спереди, два сзади, что разом проход перегородили. Глянул Дюк, несподручно такие конем перемахнуть, знать, придется спешиваться, руками выталкивать. Получится ли?

Пока прикидывал, не заметил, как камни те в людей обратились. Ну, таких точно не вытолкнешь. Каждый ростом сажени в две, в ширину, должно быть, столько же, в доспехе воинском и при оружии. И все — будто из камня, как и сами они. Даже взгляд из-под шелома, тяжелый, каменный. Один спереди, двое сзади. С такими биться — и думать нечего. Тут самое лучшее, — удрать, хоть и не по-богатырски это. Удрать вот только некуда. Не заметил Дюк, как в руках лук оказался, как легла стрелка на тетиву. Тот, который один, вот он уже, надвинулся, еще пару шагов — и мечом достанет. Некогда раздумывать, куда целить; в такую орясину — да не попасть? Вскинул лук, щелкнула тетива, слетела стрелка. Куда угодила — не видел. Вторую на тетиву бросил, развернулся… Хорошо, помедлил, потому как не стало перед ним никого. То есть, богатырей не стало. Стоят себе камни здоровенные. А потом и их не стало. Вроде как пошли-побежали по ним трещинки, одни трещинки и остались. Остальное же в пыль обратилось, будто и не было…

* * *

— …Другая застава впереди поджидает, с птичами клевучими. Тыи птичи с конем склюют и не заметят.

— Ну, ну, — подзадорил Илья.

— И вправду не заметили, — снова улыбнулся Дюк. — Взял я плеточку о семи шелках, огрел коня поперек хвоста, он меня разом и через ту заставу перемахнул…

* * *

…Сразу за ущельем — перелесок, а за перелеском — холмы. Только вдали где-то полоска темная, то ли лес там, то ли опять взгорки, не разглядеть толком. Дорога же, хоть давно и оставлена, а просматривается. Петляет промеж холмов, а на тех, кроме кустарничка да травы невысокой, ничего и нету. Спрятаться тут негде; ни врагу засаду устроить, ни самому схорониться. Тут, как от ущелья отъехать, ровно перст какой — далеко тебя видно. Дюк, однако ж, не понаслышке знает, как местность такая обмануть может. Он королю верой-правдой служил, от рати не бегал. Много чего повидал, хоть и не вошел еще в полное мужество. Настороже едет. Лук под рукой, стрелка наготове. Что ж тут за напасть такая скрывается, которую обойти нельзя? Он птиц разных видал, но чтоб таких, которые человека с конем заклевать могут, — такие только в сказках бывают.

А потом… Было в небе одно солнышко, а стало вроде как три. На одно глянешь невзначай, и то на какое время слепнешь. Тут же — сразу три. И шум такой, — будто стоишь, смотришь на тучи грозовые, что все небо застили, тихо все, и вдруг — шум, неясный, глухой, ближе, ближе, и вдруг пелена воды сплошняком, и весь мокрый до нитки. Вот такой шум. И укрыться негде. Что вперед, что назад — одинаково. Тут бы коню полную волю дать, ан и его слепит, головой мотает, артачится. Того не чует, что коли не он, — обоим пропадать. Ежели и впрямь птицы, сейчас никак не можно их стрелкой взять, совсем ослеп Дюк.

Все ближе шум, но тут, каким уж чудом, неведомо, прянул конь. Хоть и не под облака, хоть и не с ветром потягаться, однако ж не без хитрости: несется прямо, потом вдруг в сторону резко прянет, совсем как заяц, что на снегу, петляя, скидку делает. И птицы, — кто б сомневался, что это они налетели — никак взять его не могут. Почему? Кто видел, как птица хищная охотится, тот поймет. Ей легче ту добычу взять, которая голову от страха потеряла, которая замерла, али прямо улепетывает, на силу лап надеясь. Не на тех напали. У Дюка тоже перед глазами проступать начало. Разглядел, пока из стороны в сторону шарахаются, что за невидаль объявилась. Никогда таких не видал, — да и вовек бы не видеть. Вся будто из железа сделана, оттого и блестит на солнце. Что клюв, что когти — ровно сабли, только размером поболее. Такой даже слегка зацепит — будь на тебе хоть десять кольчуг, не спасешься. Конем спасается Дюк, а еще жадностью да глупостью — из них каждая первой добычу ухватить норовит, мешаются.

А потом, на счастье Дюка, третий спаситель заявился, когда

уж и не чаял. Это птицы железные, а конь — нет. Уставать начал. Тогда и нагнало ветром облачко. Махонькое совсем, ан мимо солнышка не пролетело. Скрыло его на мгновение, заволокло слабенькой дымкой. Перестало слепить Дюка. Вывернулся он, вскинул лук навстречу птицам, щелкнула тетива, слетела стрелка…

Так земля содрогнулась, будто гору на нее кто сбросил. Полыхнуло к небу пламенем; показалось Дюку, все сейчас, сколько видно, пламенем охватит. Не охватило. Даже следа не осталось. Заколыхалось марево, поднялось к небу, да и растаяло. Будто не было ничего…

* * *

— А третья что?.. — Илья любопытствует. — Нешто опять без ничего минулся?

— Третья-то?.. Это где Змиище да Горынчище о двенадцати о хоботах? Отчего ж без ничего… И там поперек хвоста пришлось…

* * *

…Он там и заночевал, где от птиц отбился. И себе, и коню отдых дал. Нашел ямку в основании холма, там и пристроился. Будто кто нашептал ему: «Спи спокойно, никто тебя не потревожит». Так и случилось. Как поднялся — солнце уж припекать стало. Как к лесу подобрался, совсем припекло. Он поначалу вправо-влево посмотрел, нет ли какой иной дороги? Не оказалось. И там болотина, и там. Между ними перелесок. Густой такой, неприветливый. Тихий. Ни тебе птиц, ни тебе зверей. Ветер деревья пошатывает, листва шумит, стволы скрипят — а более ничего. Ладно, Дюк, чего уж там. Последняя застава и осталась. Только вот что там такое? Горынчищи, они в лесу не живут, они в горах, по пещерам прячутся — это каждому ведомо. Каждый, небось, сказки любит. Хотя, может, там как раз гора с пещерой и есть…

Сунулся в лес, — десяток саженей не проехал, — тут же и высунулся. Ничего себе — да тут пострашней чем в пещере Горынчищевой. Тут змей на каждом шагу по десятку, хоть и не здоровые, зато много. И на дороге, и в кустах, и с деревьев свисают. Это не с богатырями великими биться; тут одна упадет на шею, ужалит — и нет добра молодца. Она, может, и размером всего-то с локоть длиной, в палец толщиной. Ан что тут

поделаешь? Мечом махать — не намашешься. Стрелой бить — стрел не напасешься. Огнем палить? С огнем шутки плохи, такого напалить можно, сам рад не будешь. Как же тебя, застава третья, от беды-напасти освободить?

Припомнил, что слышал — слово заветное есть. Стоит его сказать — ни одна змеюка не сунется. Даже говаривали, даже выучить хотел… Потом рукой махнул; мало ли чего люди наговорят. Теперь вот понадобилось, ан в голове ничего не удержалось. Как там было? «На острове… каком-то… лежит камень большой… нет, белый… на том камне огонь горит… нет, бел-горюч… а под тем камнем эта самая… змея… как ее… Скоропея…» От такого слова ежели и помрут все змеи, так разве что со смеху, коли смеяться умеют.

Мыкался-мыкался, а потом и то припомнил, что вроде бы травка такая есть, что коли ее под язык положить, змеи тебя за своего примут. Зовется змееголовиком, возле болота растет, цветочек у нее фиолетовый и голову змеиную напоминает, с язычком торчащим. Болота — они вот, только найдется ли травка? А коли и найдется — узнает ли? Он ее только один раз и видывал…

То ли нашел, али не то — скоро узнается. Торчит посреди травки, ровно и впрямь змея. Дюк для верности палкой потыкал, не уползет ли. Не уползла, значит, травка. Сорвал два цветка, — их два всего и было, — один под язык сунул, а другой коню в гриву заплел. На всякий случай. В рот ему не запихнешь, так пусть хоть в гриве. Такая горечь, коли б не нужда крайняя, сразу б и выплюнул.

Не трогают его змеи. Своими делами занимаются. Иные на пеньках греются, иные промеж собой вьются, иные по делам своим змеиным спешат. Никто на шею не падает, клубками под копыта не катится. Только Дюк коню воли не дает. Медленно едут, чтоб переполох не учинить. Как знать, что случится, коль напугать ненароком.

Так и ехали, пока дерево впереди не развиднелось. Черное такое, должно быть, молнией когда опалило. Веток нет, один ствол остался, в обхват толщиною. Как и держится, вон, ветерок еле-еле, а его из стороны в сторону качает. Так бы и въехал, коли б не всмотрелся попристальнее. У дерева того на самом верху будто два дупла. Глянул — ан это голова змеиная. Вот-вот бросится… Не успела. Метнулась ей навстречу стрелка, осело чудище черным дымом, и остальные враз пропали…

* * *

Потому и не стал Дюк Илье всего рассказывать, что не по-богатырски как-то все вышло. Стрелки те ему по наследству достались, силушкой меряться ни с кем не пришлось, случаем все вышло. Про Илью в песнях поется — он степных великанов, да разбойников всяких в честном бою одолевает, ну, может, не совсем честном, ибо противники завсегда числом его одолеть пытаются. А тут — стрельнул из лука, и вся недолга. Так любой может.

Илья же видит, не так все было, как сказано. Но же и то располагает, что не хвастает, слов понапрасну не бросает. Держится просто, уважительно, но и не заискивает. Не то, что этот чашник княжеский, как его… Чурило Пленкович… Худо будет, коли такие Чурилы в чести окажутся. Нравится ему молодец. Был бы главным в дружине княжеской, сам бы к ним предложил…

Так и сказал, без обиняков. А еще сказал:

— Князюшко-то наш, вишь ли, ровно опоен чем стал. Не по нраву ему жизнь старая, новую для всех устроить желает. Чтоб на греков смотрели и во всем им подражали. Ну, да это я тебе уже говорил. Он и мне такое условие поставил, неделю дал, поразмыслить. Четыре дня минуло. Самому тебе там придется… Одно тебе скажу: коли к хмельному непривычен, чашу пригубь, пока другие дно ищут, и отставь. Охмелеешь, начнут тебя спрашивать, начнешь хвастать, беду наживешь. Так-то вот оно, Дюк свет Степанович… Ну а уж коли не убережешься, шли ко мне весточку сюда, в обиду не дам.

* * *

…На следующий день, ближе к вечеру, прилетела из Киева весть. Илья тогда только-только коня с реки привел. Только было повечерять собрался, шваркнуло что-то в землю. Глянул — стрелка торчит, опереньем подрагивает. Как чувствовал, что неладно Дюка у князя примут. Сейчас собираться, али до завтра потерпит?.. Глядь, селянин какой-то на телеге трясется. Илья — к нему.

— Слышь, мил человек, что там такое в Киеве приключилось? Что за напасть?

— Да нет там никакой напасти. Тпрррууу!.. Занесло ветром каким к князю богатыря заезжего. Хватанул на пиру лишнего, расхвастался богачеством своим, удалью молодецкой. Так расхвастался, что за обиду то чашнику княжескому, Чуриле, показалося. Повздорили они, чуть до рукопашной не дошло. А

потом уговорились завтра поутру состязание устроить, через Пучай-реку на конях прыгать. Кто одолеет, тот противнику своему голову с плеч снимет.

— Так уж и голову с плеч?.. — недоверчиво протянул Илья.

— А то… Сказывают, мало волками в глотку друг дружке не вцепились, таких обид учинили, что голову с плеч — и то мало.

— Что же князь-то? Неужто до того допустил?..

— Ему что… Он в любом случае не в накладе. Который посильней окажется, тот у него все одно в службе останется.

Сказал, и уехал.

…Чем свет Илья к Пучаю отправился. Местечко хотел занять поудачнее, чтоб и видно хорошо было, и вмешаться можно, коли что. Где там. Народ, должно быть, ночевал здесь. Столько сбежалось — яблоку негде упасть. Того и гляди, друг дружку за бороды таскать начнут. На доброе дело какое, случается, не дозовешься, а как на потеху — вон сколько. Все дела по боку. За сохой — не мы, с косой — не мы, а попеть-поплясать — против нас не сыскать. Тут, конечно, не попеть-поплясать, а все одно — ротозейство. И гости здесь же, и дружинники.

Илья спешиваться не стал. Подвигается потихоньку вперед. Его узнали, ан дороги не дают. Это на поле ратном вперед поезжай, а тут, чай, не со степняками биться, все равны.

Потом шум поднялся — князь едет, с ним — гридни. По разным сторонам — спорщики. Чурило — он поближе к князю держаться норовит, оно и понятно, приближен. Петушком этаким задиристым смотрится. А Дюк — тот спокоен. Будто не об голове его состязание, а так, подурачиться едут.

Место чистое выбрали, без ракитника. Пучай здесь тихий, сажен эдак в полста шириной. Коню богатырскому вполне под силу. Туда-сюда перескочить — дело нехитрое, ежели без подвоха. В оба нужно глядеть, чтоб обмана какого не было.

По суд да дело — уже и жребий бросили. Первому Чуриле прыгать выпало. Освободили проход к берегу, встали два всадника, — правду сказать, хоть и не по нраву Пленкович Илье, а тоже не из последних. Что Илья про него знает? А ничего. Подумаешь — чашником. Может, он в поле совсем другой?.. Может…

Не успел Илья додумать. Подал князь знак, тронул Чурила коня. Хорошо взял, ан не по себе дерево рубить затеял. Не одолел реки. Только до середины и домахнул, а там как грохнется — шум, брызги… Ахнул народ, привстал на стременах князь — что делать, не знают. Никто и не подумал лодку на всякий случай подогнать. И, как назло, ни одного паруса. А Чурила бултыхается, видать, ноги выпростать из стремян не может.

Тут-то Дюк Степанович и показал себя. Прянул его конь, единым махом на тот берег Пучая перескочил, развернулся, — и обратно. Нагнулся Дюк на пути возвратном, выхватил утопающего, с конем вместе, — и к ногам княжеским швырнул. Конь вскочил — и в сторону, глянул зло Дюк на соперника поверженного, соскочил, потянулась к мечу рука.

Глядит Илья — негоже выйти может, потому как князь бровью не повел. Чего ему вмешиваться — уговор есть уговор.

— Охолони, Дюк Степанович! — крикнул так, чтоб услышал. — Не обнажай меча!.. Не губи Чурилу!.. Не добыть тебе ни славы ни чести, коли поверженного супротивника из-за пустяка жизни лишишь!..

Обернулся на голос князь, обернулся Дюк, а Илья уже рядом. Тоже спешился. Положил руку Дюку на плечо, а тот меч уже до половины вытащил.

— Прежде ты моего совета просил, а нонче совет мой непрошенным будет. Не вами слова обидные сказаны были, хмель за вас речи вел. Он и посейчас в голове играет, разум застит. Не делай того, о чем пожалеешь горько. Таков мой совет, а там — поступай, как сердце велит.

Склонил Дюк голову, еле-еле пальцы разжал. Стукнул меч обратно в ножны.

Тяжко, ох как тяжко посмотрел на Илью князь. Только тому не до него сейчас. Сели они с Дюком в седла, прочь подались, к шатру.

Молчал Дюк всю дорогу. До самого шатра. А как добрались, даже спешиваться не стал.

— Не учествовали добра молодца, — молвил, на Илью глядючи. — Не такого приема ждал я в Киеве. Благодарствую, Илья Иванович, за привет да за совет. Не останусь я здесь, не буду искать дружины княжеской. К себе вернусь. Коли объявится во мне нужда, посылай весточку, в наших краях окажешься — не минуй двора моего, сочту то за обиду великую. Прощай.

Не успел Дюк с глаз скрыться, гонец к Илье подлетел. Требует его к себе князь киевский. Ишь ты, *требует*. Прежде *звать* велел… Отчего только на берегу не сказался, чего надобно?.. Хотел было у гонца спросить, а тот уж развернулся да прочь подался. Клячу свою нахлестывает… Тоже, гонца прислал, самого ледащего, небось, выискал… Добро, князюшка…

В Киеве все, как обычно, даром что весь город поутру на Пучай бегал. Так, похохатывают кое-где, ан не разбрешь, отчего зубоскалят. То ли над Чурилою, то ли еще от чего. Вон еще голи бредут. Вот ведь жизнь — не сеют, не жнут, кто чего подаст — тем и рады. Как дома питейные при дворах гостиных стали ставить —

все туда несут. Никогда прежде не задумывался, отчего так? Отчего, коли жизнью обижены, не помощи ищут, — во хмелю горе топят? Нешто земли мало, нешто оскудела она людьми добрыми? Вон их, ватага какая. На деревеньку махонькую наберется.

Вожак ихний к Илье подступился.

— Не порадеешь ли, добрый молодец, сирым да убогим? Нужда у нас по жизни великая, бьет нас, что градом; иному солнышком светит, а нам все больше стужею…

Он продолжал тянуть еще что-то, жалостным голосом, но Илья уже не слушал. Сорвал с пояса калиту, бросил вожаку.

— Пейте-гуляйте, люди сирые да убогие. Не мне вас судить, не я ваш князь. Был бы я вашим князем…

Тронул коня, и подался дальше.

Князь сидел на троне, один. Столы и лавки были непривычно голыми. Заслышав шаги, поднял голову, глянул грозно.

— Хотел я, Илья, об одном с тобой перемолвиться, ан придется и о другом. Отвечай прямо: признаешь ли меня князем над собою? Готов ли отступиться от старого, по-новому жить, как я велю?

— Одному князю быть надобно, иначе раздор приключится, а от раздора того — погибель земле нашей. О другом — негоже мне от заветов дедов-прадедов отступаться. Они, чай, не дурнее нас были, коли землю нашу нам такой, какая есть, оставили. Могучей, вольной, какой нигде более под солнцем не сыщешь…

— Одному, говоришь? — перебил князь. — Так ли одному? Не ты ли голям золото бросил со словами дерзкими?..

Да неужто у князя везде уши имеются?

— На место мое мнишь? Поперек княжеского слова идти желаешь? Правду сказал: не быть двум князьям в земле нашей. Сам в поруб пойдешь, али под руки свести?..

13. НЕКОМУ СТОЯТЬ-ТО ВЕДЬ ЗА КИЕВ-ГРАД…

В мгновение ока облетела Киев весть недобрая — князь самого Илью Ивановича велел в оковы заковать да в поруб глубокий бросить. Притих город, грозу ожидаючи. Если и переговаривались где, так шепотком и с оглядкою, не ровен час известно станет… Против слова княжеского никому идти неохота. Научил князь, рукой тяжелою, как волю его не исполнять. Помнили, как дружинники киевлян в Славутич загнали. Зачем — толком не поняли, а вот как загоняли — про то память вовек жива будет. Те, кто шептали, будто за народ Илья Иванович заступился, делись куда-то, даже весточки опосля себя не оставили, где искать. Ну а коли даже не по совести князь поступил — делать-то что? Илья, небось, не один в дружине богатырской был. Где ж его товарищи верные? Почто не вступились? А раз им дела нету, так мне и тем более. Моя хата с краю. Глядишь, не сегодня-завтра князь с Ильей опять помирятся, только мне от этого не легче будет, коли я сейчас язык распущу.

Подумали киевляне, подумали, и порешили про себя, каждый по отдельности и все вместе, что размолвка скоро забудется, замирятся, и все будет по-прежнему. Ан на сердце все равно осталось, в самой его глубине, — не будет больше по-прежнему.

Вернулась жизнь в прежнее русло, — в прежнее, да не в прежнее. Словно дымкой какой подернулась. Говорят иногда про кого: не испугался, а так, приужахнулся. Вот и здесь — поприугасла. Молва же, ее, коли явилась на свет белый, обратно не загонишь. Летит, окаянная, быстрее быстрого, от одного встречного-поперечного к другому. И ладно бы, до товарищей Ильи долетела, да и крылышки сложила. Нет, она и за море подалась. Ей все равно, были б уши. До самого царя *Салтана* доскакала, к радости его великой. Вот и дождался часа заветного. Хватит Киеву безданно жить. Заодно посчитаться кое с кем надобно. И за море Хвалынское, и за Костянтин-град. Ну, с последним сам счеты сведу, а с Киевом есть кому посчитаться. Никак ханы степные к согласию не придут, кто из них главнее? Это дело поправимое. Надо только с умом взяться, ино золотом, а ино и зельем… Пройдет мало времени — глядишь, вот уже и главный определился, и степняков своих поведет, куда царь *Салтан* скажет, за *помощь* оказанную. Подумано — так и сделано. Полетели с бедою вороны черные на Лукоморье…

Зря народ о товарищах Ильи неладное думал. Только лишь

домчалась весточка, оставили Алеша и Добрыня заставы свои, — один у гор западных, другой — Степь караулить, в Киев подались. Не вместе прибыли, не вместе к князю ходили. С одним шли — с одним и ушли. И Илью не выручили, и сами мало в поруб не угодили. Что такое с князем приключилось? Али похвалы голову вскружили? Как и не вскружить, коли сколько ратей — столько и побед. Так ведь помнить не худо — они не им, витязями его добыты. Пробовали ему на то указать, а он знай одно: «На место мое мните? Выше меня себя почитаете? Того не видите, сколько земель я под свою руку привел?» Земли много, а порядку в ней как не было, так и нет… «Никому поперек слова моего идти не дозволю. За старое держитесь — так и подите прочь. Неволить не буду, помня прошлое. Одумаетесь, путь в Киев вам не заказан. Что же до Ильи, как поступить и когда выпустить, сам решу. Не ваше это дело».

Вот и рассуди, что лучше: старое или новое. Коли б новое лучше было, так не присылали б из Костянтина-града каждый год за помощью. Впору туда дружину на постоянное жительство отправлять. На шею сели, а пользы от них никакой. Зато орлами на всех взирают, приезжие-то греки. А сами — курицы мокрые.

Алеша на свою заставу вернулся, Добрыня — на свою. Жен из Киева по родным городам отправили, вернули князю терема дареные. Вернули — так вернули, иные богатыри в них заселились, новые. Их и имен-то никто не знает, не то, чтоб песни про них складывать. А про что складывать, коли и про подвиги их богатырские что-то не слыхать. Потому и сказали Алеша с Добрынею, не сговариваясь, князю: как бы не пришлось Илье в ножки кланяться, чтоб Киев оборонил. Кабы не пришлось тех, кого гоиит, обратно звать, на иных пронадеявшись. Сдержал князь гнев. «Не вами одними земля стоит».

…А Илья что? Илья в порубе сидит, в темнице. Сам себя, почитай, засадил. Поначалу от обиды света белого не взвидел. Как же так? Он же заради земли родной себя не щадил, а с ним — так-то. Из-за слова пустого да блажи княжеской. Взыграло ретивое: «ужо попомнишь, князюшка, как бы пожалеть не пришлось горькой жалостью». В темницу шел, мало не летел. Кто б увидел, сказал бы, чести великой удостоился, кабы не чело — туча тучей. Где тут ваш поруб, подавайте его сюда!.. Дверью так за собой грохнул, едва терема соседние по бревнышку не раздались. Дворец княжеский, даром что каменный, и тот, должно быть, содрогнулся. Благо, поруб совсем недалече от него устроен — для тех, кто познатнее. Свалился на лавку, — громом в небе отдалось. Так и лежал сколько времени. Все думалось почему-то: сейчас распахнетя дверь, князь войдет. Повинится,

мол, вспылил, с кем не бывает. Идем, Илья, кто старое помянет… «Обидел ты меня, княже, ни за что обидел. Ан — понимаю. Бывает, скажешь чего в сердцах, самому потом тошно становится. Не держу на тебя зла. Идем…»

Не пришел князь. Ни он, ни кто другой. Забылся сном Илья, проснулся — стоит посреди темницы его кувшин с водой да миса с хлебом. Сел на лавке, огляделся. Стены каменные, окромя лавки да двери — нет ничего. То есть, окошко еще махонькое имеется, вверху где-то, из него света немного проливается. А так — ни свечки, ни лучины. Ну, жбан еще в углу притулился, для надобности.

Это на воле время птицей летит, а в порубе — что смола. Обида потихоньку гневом обратилась: отчего медлит, отчего виниться не идет? Аль не ведомо ему, что Илью двери эти не удержат? Он, коли захочет, палаты княжеские в пыль мелкую разотрет. Для него засовы железные, что прутики. Только вот как захотеть, коли сам он, по своей воле в поруб подался? Кабы сразу посшибал двери в палатах, вышел во двор, сел на коня богатырского, да подался на волю вольную… А сейчас… Думается ему: вот посносит он двери, пойдет к князю, глянет на него грозно, тот и скажет: «Сам ведь говорил, что на место мое не мнишь?..» Так повернет, что Илья брехуном окажется. Отвернутся от него тогда люди простые. Слишком уж много вокруг князя тех оказалось, которые поближе к нему разным образом подвинуться норовят, заради выгоды своей. Люди же плохому скорее верят. Впрочем, какое же оно плохое? Было плохое, а нонче обычным стало. Ночью уйти, тайком, того хуже. Чего побежал, аки заяц, коли не виновен ни в чем?

Вот и выходит, — как ни думает Илья, а кроме как в порубе сидеть, ничего иного ему не остается.

Князь же об Илье и думать забыл. Тоже, должно быть, ожидал поначалу, что богатырь вину свою признает, от непокорства откажется. Не дождался, так и позабыл. Что у нас, земля богатырями оскудела? Аль на этих поперечниках свет клином сошелся? Без них предки его землями прирастали, врагов били. Потому и сказал им: «Не вами одними земля стоит». Потому и забыл про Илью. Так забыл, что и наказ пить-есть узнику давать не отдал. Такова вот она, благодарность княжеская.

Сгинул бы Илья от такой благодарности, кабы не дочь князя, Мстислава. По доброте ли сердца своего, али по иной какой причине, а только взяла она потихоньку ключ от темницы, где богатырь томился, и отнесла кузнецу, чтоб такой же сделал. Наказала, чтоб помалкивал. А тому — наказ, не наказ, лишь бы за работу хорошо заплачено было.

Вот и стал находить Илья в темнице своей кое-что посущественней хлеба и воды. Бочка большая появилась, чтоб ополоснуться; время от времени — одежонка чистая. Кто и когда приносил-уносил, не ведал. Ляжет спать, проснется — ан все уже и поменялось. Сколько раз делал вид, что уснул, — высмотреть тайком, что за радетель неведомый, на какие уловки не пускался, так и не высмотрел. Ровно суседушко объявился. Только откуда ему здесь взяться? Никогда не слыхивал про суседушек в теремах княжеских. По деревням — в каждой избе, а тут… Не иначе, князюшка милости ищет. Неловко ему вот так сразу взять да повиниться, время выжидает. Глядишь, скоро сам пожалует. Только я у него более не останусь. Замириться — замирюсь, а там — на заставу какую далекую, подальше от Киева, поближе к Степи. Алешка с Добрыней — им воля вольная. Все им по чести объясню. Как хотят, так пусть и поступают; хотят — со мной, вместе землю от врагов стеречь будем, а не хотят, слова поперек не скажу. Где-то они сейчас? Что с ними? Так ведь про них ничего и не узнал, как из Костянтин-града возвернулся.

* * *

Степь… Как услышишь это слово, так и представляется себе луг наш, только без конца и края, зелень, цветами переливчатыми поизукрашенная, от того места, где стоишь, и до самого того, где небо с землей сходится. И такова она необъятностью своею, что иному за словом этим воля вольная слышится, а вот иному… Потому как живет здесь народ, — а может, народы, — хищный, воинственный, на одном месте неусидчивый. Ладно, они б промеж себя там грызлись, потому как делятся на племена всякие, вот как наши ватаги, только числом поболее и по родственным отношениям, и каждое племя себе получше кусок Степи отхватить норовит. Так ведь и соседям от них достается. Казалось бы, зачем им там богатства всякие, злато-серебро? На что они им? Скот у них, кони, пастбища бескрайние — чего еще нужно для мирной жизни? Или в крови у них, что как весна, на разбой тянет. Сколько раз били их, — случалось и наоборот, — никак не уймутся. Ни себе покоя, ни другим.

Да и Степь, она не то, чтобы луг… Она и около моря, и за рекой великой к другому морю тянется, и за горами — разная она. И та, про которую царь *Салтан* думал, она ближе всех к владениям киевским прилегла. Не то, чтоб от других шибко отличалась, обида у нее на князя глубже, чем у прочих, залегла. Он, собственно, греков проучить пожелал, а заодно и ее потрепал,

ну, чтоб, значит, два раза не ездить. Обычно наоборот случалось, потому и не ждали степняки, потому и разбежались, кто куда. Потом, понятное дело, снова собрались, но не все.

Шатер ханский, — это у них так князья называются, — не шибко от прочих отличается. Охрану убрать, другие поближе придвинуть, пожалуй, что и не отличишь. Внутри — другое дело. Тут и ковры побогаче, и сундуки с богатствами, и оружие поразвешано, более для красоты, чем для битвы, приспособленное.

Задумался хан Калин. Смотрит на какую-то завитушку золотую, что на ковре, молчит. То бороду погладит, то нос потеребит. Оно, конечно, быть ханом над ханами — о таком только мечтать. Такую власть по всей земле распространить можно, сколько ее ни есть. За исключением той, разумеется, где царь *Салтан* правит. Ну да у него ее, похоже, предостаточно, раз братом называет, себе равным почитает, все отдает, что по эту сторону моря, помощь обещает. Не то, чтобы совсем все, — Киев с его владениями. Насчет остального речи пока нет. Только ежели всех ханов под себя подмять, она и не нужна будет. С такой силищей никакой царь *Салтан* не страшен. Неизвестно еще, кто кому братом будет.

Глянул на посла салтанского, тот — лис — тоже в ковер уткнулся, глаз не подымает. Вроде как почтение являет, а на самом деле, чтоб глаза не выдали. Слов насыпал, что если б столько жемчуга в сундуках ханских лежало — не надо б и набегов, весь мир бы скупил и не заметил бы недостачи в сундуках тех самых. На обещания все горазды. Тут, правда, помимо обещаний еще и золото, и советы, и помощь кое-какая. Но тут так понимать надо, что все это, пока дело ладно складывается. А коли не ладно, был хан — и нет хана. У киевлян даже слово такое забавное есть. Хана. Хана хану.

— Знаешь, должно быть, про обиду нашу от князя киевского, — не спросил, утвердил, Калин.

Посол едва заметно кивнул головой.

— Не все багатуры вернулись, кто-то в ином месте шатер раскинул. Советом, говорил, поможешь. Ну, вот и помоги советом, как их обратно вернуть.

— Коли не так скажу, не прогневайся, великий хан. Про обычаи ваши, да про сказания мало знаю, но вот слышал одно, о емшане…

И снова смолк. Смотрит на него хан, пристально смотрит.

Жили в незапамятные времена в Степи два брата-багатура. Славные багатуры, много набегов совершили, много богатства добыли. Все соседи их боялись, дань платили, потому как не

знали они в битвах поражений. Тогда, правда, и племен не было, единым народом жили. А потом, налетел откуда-то из краев неведомых вихрем черным враг неодолимый. Разметал народ в разные стороны, пограбил все, что можно пограбить, а что не мог — огню и саблям предал. Многие тогда полегли, но многим и спасения сыскать удалось. А враг — как налетел, так и пропал, оставив после себя выжженную, почерневшую Степь. Один брат на поле ратном лег, второй скрылся неведомо куда. Тот, что остался, его смерть пощадила. Выходили кудесники степные, вылечили, на ноги поставили. Снова собрал он вокруг себя народ, только уже гораздо меньший. Время прошло, вернулась жизнь в Степь, хотя и не такая, как прежде. А чтобы как прежде, подумалось брату оставшемуся, что надобно узнать, что с утекшим сталось. Долго ли, коротко ли, — люди тогда не в пример нынешним по годам жили, — а доложили ему, что имеется за горами, Степь ограждающими, царство богатое, и правит там царь, по слухам, на него, хана, лицом похожий. Только добраться туда мало что труд великий, жители царства того иноземцев не привечают, и тех, кто добром не уйдет, предают лютой смерти.

Закручинился хан, и никто ему помочь не мог, ни делом, ни советом, пока не нашелся певец один, старый-престарый. Вызвался он не только к царю тому добраться, но и, ежели он братом хану окажется, обратно, в Степь родную его вернуть. «Как же ты туда-обратно дойдешь? — хан спрашивает. — Ведь годов-то тебе…» «Ничего, — певец отвечает, — как-нибудь. Мне б туда только добраться, а обратно, может, и без надобности».

Про то, как до гор добирался, да через них — отдельные сказания сложены, их все вспомниать — не упомнишь. Лета его да домбыр лучшей защитой служили, чем иному багатуру оружие. Мягкий и тихий звук у домбыра, такой же и у певца голос. Одно от другого не отличить. Даже и слов не зная, языка чужого, очаровываются слушающие, ни у кого рука не поднимется старика обидеть. Не поднялась и у тех, что путь в царство искомое от иноземцев оберегали.

Исполнил певец наполовину обещание, хану данное, добрался до дворца, в котором царь жил. Пока шел — по сторонам примечал, как людям здесь живется, счастливы ли. Захочет ли царь от царства своего ради Степи родной отказаться? Слух же о нем быстрее кобылицы степной впереди летел. Не успел в город главный пожаловать, встретили его воины, окружили, во дворец повели. Как привели, глянул певец на царя, аж сердце встрепетнуло; не может быть такого сходства у людей, родством не связанных. А как заговорил царь на языке их, никакого сомнения не осталось.

Но вот одолеет ли искусство певца богатство невиданное, коим дворец переполнен, дев прелестных, что танцами своими взоры услаждают? Прежде, чем повеление исполнить, напевом царя потешить, попросил старик еды-питья, обычных для общей их родины. Не нашлось. Испросил тогда воды чистой, хоть колодезной, хоть родниковой, в чашке простой деревянной, присел перед царем, перекинул домбыр со спины на грудь.

Ветром вольным, степным пахнуло во дворце. Зашумели ковыли, вспорхнули в небо синее бездонное птицы потревоженные, топотом грозным с земли поднятые. Мчатся набегом багатуры грозные, беспощадные, страха не ведающие. Мелькает перед глазами придворных железо жалящее, сполохи пожарищ, враги поверженные, девицы красные, полонянки. Не понимают наречия, да и ни к чему оно. Околдованы.

А царю скучно. Привалился щекой на ладошку, локоть в боковину трона упер, смотрит глазами полуприкрытыми. Что ему слава чья-то, битвы прошлые? Он сам славен, он сам не в одной битве побывал. Что ему Степь далекая? Разве сравнится она с богатством, его окружающим?

Прав был певец, одолело богатство искусство его. Видит, ни к чему здесь степные песни. Замолчал. Царь тоже молчал, а потом предложил старику просить у него награды за усладу доставленную.

— Ничего мне надо, — певец отвечает. — Вот, разве, еще чашу воды на дорогу.

Пожал царь плечами. Спросил бы золота — дал бы золота. Спросил камней драгоценных — и тех дал бы. Да что там: танцовщицу молодую, и той не пожалел бы. А коли просит воды, так тому и быть.

Выпил певец, протянул чашу с поклоном, и так это у него неловко вышло, что выпал из-за пазухи сверток полотняный. Упал на пол, развернулся, и все увидели пучок травы.

Нахмурился царь. Уж не отравителя ли к нему враги подослали? Как ни пытался старик оправдаться, — не верит. Велел лекарей позвать.

Пришли те, вертят в руках пучок, — не знают, что и сказать. Не ведома им трава такая, но если по запаху судить, горькому, пряному, не иначе как для зелья черного надобна.

Ну, коли для зелья, так тому и быть. Повелел царь еще воды принести. Пусть старец пред его глазами траву эту в чашу положит, а затем выпьет. Не держал зла, ничего ему не будет. Держал, знать, для самого себя зло изготовил.

Поставили певца перед троном. Взял старец чашу, взял пучок. Разделил его на две части. Одну часть в чашу бросил, другой в

руках помял, а затем как бросит к царскому трону. Не успели ему помешать. Сверкнули сабли, и уже готовы были опуститься… Не успели.

Схватился царь за грудь, будто оружие острое сердце пронзило. Вскочил, бросился вперед, — разлетелась стража, могучими руками отброшенная. Пал на колени перед старцем, обнял, слезы из глаз. Ухватил чашу, достал намокшие стебли, будто самое величайшее сокровище на свете. Дрожащими руками к лицу поднес… На ноги поднялся.

— Не царь я вам отныне! — говорит сквозь слезы. — Нет жизни тому, кто свое отечество чужбине предпочитает. Разве смерть в родном краю не милей, чем богатство и слава в чужом? Ищите себе другого, кто будет править вами, а мне отныне другая судьба уготована…

* * *

— Не те нынче люди, — сказал послу хан. — От тех времен разве сказание и осталось. Кто нынче за запах трав степных голову сложить захочет?..

— Так ведь и емшан тоже другим стал, — едва слышно, но очень отчетливо произнес посол. — Нужно только знать, кому какой посылать. Иному — запах золота сладок, иному — славы, особливо если к славе часть дани с земли завоеванной приложить, иной положением своим возле хана недоволен, сам на его место метит. Ну а для тех, кого ничем не пронять, ни богатством, ни посулами, — им можно другой емшан послать…

Замолчал посол, не стал договаривать. В пол глазами уткнулся. Можно и не договорить — без слов понятно, о каком емшане речь идет.

— И царь *Салтан* великого хана без помощи своей не оставит, — ласково, едва не пропел, посол. — Не видит он другого хана, который бы великим стать мог…

Почудилось хану, нет ли, что опять не договорил посол? Отпустил жестом. Проводил взглядом, как тот задом к пологу пятится, усмехнулся невольно. Внешне, так мало что не облизывал, а ежели лесть в сторону отодвинуть… «Коли ты не подумаешь великим ханом стать, так и другие найдутся. Не тебе, так кому из подданных твоих емшан пришлют». И хотелось бы выбрать, ан нет его, выбора-то. Либо ты, либо тебя. Не можно сейчас поперек воли царя *Салтана* идти. Великому хану — можно, а хану — нет. Иначе — хана хану.

…Сколько раз полная луна над Степью вставала, пока

задуманное свершалось — не счесть. Не весь народ вокруг себя удалось собрать Калину, не всех достала его рука. Однако ж и того, что удалось, не могли упомнить самые старые старики. Собрать все войско, от ржания коней горы дрогнут. Однако ж не сразу на Киев хан великий тронуть его решил. Поначалу с теми, кто послабее, силы свои попробовал. Всех, что за горы не спрятались, данью тяжкой обложил. Никого не оставил, кто бы при случае в спину ударить мог. А про Киев не забывал. Наводнил земли киевские соглядатаями под видом гостей. Они тебе и торг ведут, и поглядывают, и послушивают. Вроде бы забыли обо всем, что прежде было. Даже мелкие набеги, и те хан великий воспретил. Ходили слухи, будто породниться с князем киевским подумывает, и подданных своих, что из самых знатных, к тому подговаривает. А знал ли кто, что греки полоненные машины осадные придумывают? Ну, если и знал, не сказал бы. Не для того их в тайне великой делают, чтоб ее кто разболтать смог.

Наконец, пришла хану весть долгожданная. Рассорился князь киевский с богатырями, засадил самого старшего в поруб, остальные же служить ему по той причине отказались. Разъехались, кто куда. Дружины порознь стоят, и то, от жизни мирной, воевать приотвыкли. Еще к грекам, в Костянтин-град, едва не каждый год на подмогу ходят.

Настало время слово, данное царю *Салтану*, исполнять. Ханы, что под рукой ходят, тоже по набегам истосковались. Пора.

* * *

О ту пору засиделся как-то у своего свата работный один. Ему в Кожемяки топать, а он все никак; пиво уж больно хорошо сварено. Уж обо всем, кажется, говорено-переговорено, а пиво осталось. Как же жбан оставить, коли на донышке еще плещется?.. Луна уже вовсю в окошко заглядывает, только тогда и собрался. Проводил его сват до ворот, и спать подался, а работный глянул по сторонам, на небо, расправил плечи — и тоже потопал. Идти хоть и не близко, ан заплутать сложно. Сто шагов вдоль стены городской, а там свернул в улочку, и по прямой. Главное, собак не вспугнуть. Коли хай подымут, так и шею накостылять могут. Не собаки, конечно, хозяева. Подумают, что за тать тут по ночам шатается, и запросто накостыляют. От собак, оно отбиться можно, жаль толко, палку у свата взять позабыл. Ну да камень какой под руку попадется, им и отобьемся. Идет себе, сердце песни просит, только было затянул вполголоса, слышит, ему будто кто-то подпевать начал. Осерчал. Потому как не видно никого, а

подпевает. Сейчас, думает, как завижу, сразу по шее дам. Играет силушкой, пиво-то…

Озирается, видит, будто впереди идет кто-то. Неторопливо так, легонько. Глаза рукавом протер: девка. Ночью. Одна. И так-то идет, будто горе у нее какое приключилось. Прислушался.

Как вечор-то мне, маладешеньке,
Мне мало спалось, много виделось.
Не хорош-то мне сон привиделся:
Уж-то у меня, у младешеньки,
На правой руке, на мизинчике,
Распаялся-от золот перстенек,
Выкатался-от дорогой камень,
Расплеталася коса русая,
Выплеталася лента алая…

Допела песню, повернулась к стене лицом, шаг шагнула — и нет ее. Стоит работный, понять никак не может: то ли привиделось ему, то ли нет… Подошел тихонечко к тому месту, где девка пропала, так посмотрит, эдак — в лунном свете хорошо видать — стена, она стена и есть. Никаких тебе дверей там, подкопов. Страшно ему вдруг стало, задал стрекача — только пятки засверкали. До самого дома сверкал.

Жена видит, муж сам не свой возвернулся, спрашивать принялась. Он поначалу отнекивался, а потом не выдержал — рассказал. Она ему не поверила; да и как тут поверить, когда от него пивом хмельным за версту несет? Поутру же, соседке поведала, вот, мол, до девок красных допился. В его-то лета. Посудачили, посудачили, разошлись. Сколько прошло — уже весь Киев знал, как работный какой-то, с Кожемяк, *стену городскую плакавши* видел. Не к добру такое видение. Страшное что-то к городу придвигается.

Наконец, и до князя слухи докатились. Ну, у того суд скорый. Доставили к нему работного, выслушал князь рассказ его, и повелел вложить на первый раз ума в одно место, дабы впредь глаза чего не надо не видели. Выпороли работного, да и вытолкали взашей. Тем история и закончилась. Народ даже как-то вздохнул поспокойнее. Стена городская плачет — это непонятно что, а вот ума в одно место — оно как-то привычнее…

* * *

Так и случилось, что проворонил князь Степь, иначе и не

скажешь. Когда ему говорили, хан Калин, мол, под свою руку прочих ханов приводит, только усмехался. Правильно хан делает. В одном народе двух властителей быть не должно. Их ведь у отца тоже трое было. Один он остался. Это и к лучшему. Спокойнее.

Как вести злые приходить стали, — заволновалась Степь, того и гляди набегом двинется, — тому не верил. А как поверил, тогда уж поздно было. Смели степняки сторожи засечные единым махом, разве несколько дружинников и уцелело, кому утечь повезло. Они-то переполох и подняли. Надвигается беда, доселе невиданная. Прежде Степь тайком наведывалась, а нонче не таясь идет. И силища у нее в этот раз несметная — сколько глаз хватает, сплошь всадники. Не шибко спешат, везут с собой коромысла, что камни мечут — вдесятером не поднять. А еще башни. С такой башни прямиком на стену городскую мост перебросить сподобно. Перебросил — и ступай себе, хоть пешим, хоть на коне.

Призадуматься бы князю, ан нет — у страха глаза велики. Мало чего примерещилось? Давно такого не было, чтоб степняки одолевали. Не будет и впредь. Пока гонцов разослал, дружины разрозненные в одну собирать, время упустил. Тут, правду сказать, те богатыри, что не в опале, поспособствовали. Они за столом княжеским жирком пообросли, князю в рот смотреть да поддакивать когда надо хорошо научились. Вот и поддакивали: «Что нам Степь? Шапками закидаем. А хана ихнего — на одну ладонь посадить, второй прихлопнуть, — вся недолга. Хана хану». Такие закидают… Им разве блины в рот закидывать. Того не видят, — не разбрасывается Степь на грабежи, валом единым валит, бьет дружины, что по пути попадаются, берет все, что взять может, однако никто из воинов обратно с полоном да добычей не отправляется. На Киев идут, не куда-нибудь.

Прошло время, послы прибыли. Что снаружи, что внутри стен городских, едут, по-хозяйски кругом посматривают, будто промеж себя делят. В палаты княжеские вошли, кмети им дорогу заступить не посмели. Послов багатуры охраняют, с такими лучше не связываться. С ними только тем богатырям и тягаться, что ныне в опалу угодили. Говорили послы спокойно, даже вроде как с участием. «Князь ваш древний, во время оно, в Степь посылал сказать: «Иду на вы!» Настал наш черед с тем же словом прийти. Посылает тебе, князь киевский, великий хан Калин грамоту, коею признаешь ты власть его до веку и обязуешься дань платить, по уговору. Коли примешь сию грамоту, повернет хан Калин войско свое непобедимое обратно в Степь, дань взявши. Коли нет — быть ему под Киевом, и тогда уж — чья возьмет». Это ежели коротко. А так они через толмачей долго лопотали. Не

прямо, а сто верст в обход к покорству увещевали.

Туча тучей слушал их князь с советниками своими. Умей молнии метать — испепелил бы. Даром что посол — лицо подневольное. Не сам говорит, то только, что пославший его. Потому, нет с посла спроса. Только вот Ольга, что прежде княжила, на то не посмотрела. С послами так обошлась, как заслужили. Одних в бане сожгла, других в ладье на колья сбросила. Вольготно ей было так поступить: послы те, можно сказать, от себя говорили. Надменничали. Здесь же хоть и знатные, а воины. Им послами быть в диковину, сразу видно. С них спрос иной будет — на поле ратном.

Сдержался, вопреки обычному, князь. Не стал сразу ответ давать, время на раздумье спросил. Дерзостью послы ответили. «Время тебе, покуда сам великий хан Калин к Киеву не пожалует». И тут сдержался. Дали послам дары богатые для хана великого, и с честью видимой подалее выпроводили. Они за порог — гонцы по всем городам-весям помчались с наказом — спешить к Киеву воеводам с воями, оставив для охранения самую малость. Понимает князь, что городам-весям с охраной такой не устоять против врага, ан что делать-то? Киев отстоять, об ином и не мыслит. Ежели по тем вестям, которые отовсюду стекаются, судить, в войске ханском по десятку воев на одного дружинника княжеского приходится. Помощи тоже ждать неоткуда. Кочевники, они прежде в союзниках и ходили. О греках и речи нет. Их, окромя собственных сумятиц, никакие другие не заботят. Они сами чуть что, помощи требуют.

А Калин, как донесли до него послы просьбу княжескую, только ходу прибавил. Прежде войско его ровно колом двигалось, коли из поднебесья глянуть, а теперь — ухватом. Разошлись рога в стороны, не дают воеводам пробраться к Киеву, порознь бьют. Только тем и удается, что с севера спешат. Не только воевод не пускают, смотрят, чтоб никаких припасов к Киеву доставить не можно было. Силой не возьмем, так измором…

Вот уже и первые разъезды в виду стен городских показываться начали. До главного войска еще верст сто, а они уже рыщут по селениям опустевшим: все, кто мог, за стенами городскими укрылись, со скотом, с припасами.

Притих Киев, окромя Кузнецкого конца. Там молоты не переставая бухают. Мечи куют, наконечники для стрел и копий; бабы с птицы оперенье добывают.

Уже и дымком с пожарищ потянуло. Где кто насильникам на зло справедливостью отвечает, там и горит. Князю же и на помощь выслать некого. Малый отряд послать — перебьют, и не заметят. Большой — так и Киев защищать никого не останется.

Отозвались пиры да беззаботность княжеская горем превеликим.

Еще сколько — вот уже и главное войско степное вокруг городских стен станом располагается. Кольцом охватили — мышь не прошмыгнет. За Славутичем с обеих берегов присматривают, чтобы ниоткуда помощи не было. Никогда прежде столько врагов не подступало к Киеву. Сколько ж они деревьев вокруг изведут на костры свои? Коли осада затянется — до самой степи голо будет.

Великий хан шатер так поставил, чтоб со стен хорошо видать было. Не боится, что какой богатырь киевский стрелку пустит. В ответ столько стрел прилетит, с паклей горящей, — ровно огонь небесный город накроет. Несдобровать тогда Киеву.

Снова послы к князю явились, за ответом обещанным. Встретили их дарами богатыми, еще большие дары великому хану собрать обещались и в три дня прислать, вместе с ответом окончательным. Великий хан, правду сказать, более одного дня ждать не собирался, но послы взялись его уговорить на три, из милости великой.

Зорко всматриваются вдаль сторожа на стенах. Не видать ли дружин на подходе? Не видать. Зато орудия осадные степняки подвезли. Башни с мостами, тараны, железом окованные, в рамах дубовых, на цепях.

Перед дворцом княжеским подводы, складывается на них все, чем богат Киев. Казна, утварь, меха… Только не утолит это алчности великого хана. Ему надобно, чтоб пред ним выи склонили, сами на себя ярмо надели.

На третий день, как обещано было, распахнулись ворота киевские, потянулись телеги к шатру великого хана. Вдоль дороги сразу лучшие воины выстроились, чтоб никто ничего ухватить не успел. Возницы понурые идут, по сторонам не смотрят. Зато по стану степному такой шум пошел, ровно буря налетела. Радуются. Велик хан Калин, велик! Без всякой битвы вон сколько урвал, каждому хоть малость, а достанется. То ли еще будет!..

Калин же едва глянул на дары богатые. Усмехнулся хищно, когда посол княжеский еще три дня срока испросил: не все собрано, не успели. Столько же привезем, а то и поболее. Про ответ не заикнулся.

Скривился великий хан презрительно, глянул, будто не человек перед ним, — собака, рукой небрежно махнул. Три дня — не три года. Подумал про себя: чем хвост по частям резать, не лучше ли разом обрубить? Время князь выиграть хочет? Надеется на что? Ничего не выждет, кроме позора.

И сам князь это понимает. Твердо решил: коли не придут дружины, сам через три дня вместо подвод воев поведет. Коли между ярмом и гибелью выбор делать приходится, так ведь тут

выбора нет…

Три дня — это князю так думается.

Жил-был о ту пору в Киеве молодец один, Васькой кликали. То есть, по-настоящему его Василием Ивановичем звали, однако ж в народе иначе как Васькой-пьяницей никто не называл. Ни об родне его, ни об отчине никто ничего не ведал, и сам не рассказывал. Где жил, у кого — а где придется, там и пристраивался. Потому — силищи Васька был неимоверной, с кем угодно потягаться мог, хоть с самим Ильей Иванычем, за это и спрос на него. Где какую работенку исполнить, — завсегда пожалуйста. Характер незлобливый, покладистый, а за дело спрашивает — еду да хмельного. Хмельное и сгубило, а иначе — из первых был бы. Сокрушались об нем люди, многое за спиной говорили, а более всего — своего ума не дашь. И руки золотые, и нрав, и на лицо не крив, ан как денежка завелась, куда что подевалось. Где канава погрязней, тут и Васька. Отоспится, одежонку в Славутиче ототрет, сам поплескается, и будто не было ничего. Так и жил. Семь дён вкалывает, столько же канавы меряет, глубоки ли. Ему и великий хан под стенами нипочем. То есть, пока не оклемался. Собрался было по обычаю своему к Славутичу податься, не выпускают. С трудом, а объяснили, что к чему. Васька поначалу подумал — смеются над ним, хотел было по шее дать сгоряча, потом одумался. Забрался на стену, — не стали ему мешать, — выглянул, и впрямь войско вражеское город обложило. Он — вниз, к сторожам. Как же это, мол, до такого допустили? А так, ему в ответ, только и есть дружины, чтоб город защищать, а чтоб в открытом поле бой принять, — столько нету. Одна надежда, на подмогу скорую.

Ну, Васька еще в себя не пришел, ухватил что под руку попалось, — бревно здоровенное, их готовили, чтоб сверху на степняков кидать, на лестницы ихние, коли на стены полезут, — и к воротам. Отпирай, кричит, сейчас я их тут всех уполовиню. То есть, по пояс в землю этим самым бревном вгонять буду. Еле отговорили.

Думали, что отговорили. Бросил Васька бревно, повернулся, и поплелся себе. Глянули ему вслед, головами покачали, да и позабыли про выходку его, не до него сейчас.

А Василий, тем временем, пошел в место, одному ему известное, сдвинул камешек, что и пятерым не поднять, земельку разгреб, досочки раздвинул. Пошарил в ямке, и вынул из нее лук тугой да колчан со стрелами. Досочки обратно содвинул, земелькой присыпал, камешек двинул. Упер один конец лука в землю, пригнул рукой — ажно рука хрустнула — накинул тетиву. Тронул пальцем — запела. Кто ж ты был и есть такой, Василий-

пьяница? Что с тобой приключилося? Может, когда и разведомится…

Перекинул колчан через плечо — и на стену. Не таясь идет. Сторожа только диву даются, однако ж чуют в нем что-то, дороги не заступают. Остановился супротив шатра великого хана. Далеко до него — не дострелить. Еле виден огонек костра — так, искорка малая. Ну да степняков столько набежало, хоть вслепую стрелу пускай. Мудреней не попасть.

Сначала Васька без стрелки лук натянул. Попробовал. Расправился. Уперся ногами. Лицо суровое, глаза огнем горят. Ушла первая стрелка, вторая третья… Эти, наудачу, к шатру ханскому отправил. Остальные зря не растрачивал; шептал что-то на стрелку — и отпускал в темноту, на волю вольную. От того ли, что нашептывал, от удачи ли, от умения-везения, а только ни одна мимо не пролетела.

Суматоха поднялась в стане кочевническом. Посреди ночи, и вдруг стрелки смертоносные. Забегали, заметались, вой поднялся. Кто стрелял, откуда? Ежели со стен — так далековато будет, да и не видели никого на стенах. Может, тайком кто в стан пробрался? Отвел князь дарами богатыми глаза, а сам подобрал людей нужных, заслал тайком, чтоб посреди ночи смуту затеяли. В надежде, что купятся на уловку его, поубивают друг друга в темноте? Как бы и впрямь не поубивать.

До утра, должно быть, глаз не сомкнули, насторожились. А как развиднелось, так и разобрались — со стороны Киева беда пришла. Нашелся в городе богатырь, который все это учинил. Хоть и доносили лазутчики, что прежние богатыри в опале у князя, ан и сами обманулись, и хана великого в обман ввели. Желаемое за действительное выдали.

Снова послы к князю направились. Час времени, чтобы богатыря того найти и связанного к великому хану доставить. С дарами богатыми и изъявлением покорности до веку. Если же не случится по слову ханскому, не бывать более на свете городу Киеву.

Пока послы в палатах толмачили, гридни младшие, что за дверями толклись, каждое слово друг дружке передвали. Не успели степняки до ворот добраться, в городе уже всяк знал, что ночью приключилось. По-разному говорили; иной хорохорился, что хоть и грозен враг, ан не испугались, огрызнулись, а коли сунуться посмеет, как обещается, так еще и не того отведает. Иной же вздыхал тихохонько; кабы не богатырь неведомый, так, может, и отсиделись бы, и сговорились; степняк — он на богатство падок…

Что побоище Васька-пьяница учудил, сразу известно стало.

Дозорные на стене видели — они и сказали. Вот только поверить в это… Не худо б и у самого спросить. Где он, в какой канаве запрятался? А он и не прячется вовсе. Он, как услышал, о чем послы ханские толкуют, пошел к месту заветному, все, что там было, достал, облачился, как воину сподобно. Не узнать Ваську бывшего в богатыре дюжем. Направился было к палатам княжеским, да на полпути передумал, плюнул, к воротам свернул, тем, что к шатру ханскому поближе. Никто ему, как и прежде на стене, дороги заступить не посмел. Замирали люди при его приближении. Бабы лица в ладонях прятали, сквозь пальцы сомкнутые роса соленая проступала.

Отступили в сторону гридни у ворот, ни у кого рука не поднялась засовы тяжкие подвинуть. Кто видел, говорили, будто Васька засовы те ровно перышки в стороны поразметал, толкнул двери могучие, ему самому под стать, поправил щит за плечами, да и пошел себе к рати вражьей, будто на гуляночку…

…Стоит князь в палатах своих, возле окна, один-одинешенек. Никого допускать не велел. Кое-где виднеются еще зарева, скоро и они угаснут. Не стал Калин-хан полную силу показывать, так, предостерег, что ждет город, коли ворот своих не распахнет. Васька… хотя какой он Васька?.. Василий, свет… так и не сказал никто, чьих родителей сын… Недолго молодец позабавился. Поначалу, ровно в сказке: направо мечом махнет — улочка, налево — переулочек. Так ведь в сказках и враги — сказочные. Там и правда кривду завсегда одолевает. Хорошо бы и в жизни так. Только и у степняков свои богатыри имеются. Хотели числом взять, — не вышло. А на любую силу, как известно, большая ей завсегда отыщется.

Увидали гридни со стены, — тяжко Василию приходится, того и гляди не сдюжит, — позабыли про строгий наказ княжеский, распахнули ворота — и на подмогу. Завязалась возле стен сеча лютая. Всколыхнулось море степное. У одних ворот пластаются, гремят о железо железом, грудь в грудь сходятся, до остервенения, когда врага разве что зубами достать можно, до того тесно, у других… Поползли великаны деревянные, особой выделки кожами прикрытые, чтоб огонь их не брал. Тараны поползли, башни громадные. Заметались всадники под заборолами, стоит мелькнуть где защитнику, осыпают стрелами. Отвечают им со стен, не отсиживаются. Там, глянешь, один всадник с лошади сверзился, там — другого стрелка настигла, а в ином месте, по другую сторону, на стене, охнул кто-то коротко, да и поник, будто былинка под ветром…

Потом уж и огонь в город метать начали. Запалят паклю смоляную, на стрелу — и мечут. Не чтоб пожар устроить, — от

сгоревшего города какой прок? — попугать пока что. Не пепелищем любоваться шли, за добычей. Большую часть сразу водой заливают, однако кое-где недосмотрели, занялось…

У ворот же, где смертью море людское кипит, вроде как одолевать киевляне начали. Подаются степняки, не держат ударов молодецких, такое и прежде не раз бывало. Пятятся, — шаг в шаг, — ан пятятся. Кажется, еще поднапереть, и погонят врага до самого их моря дальнего. Где там в пылу битвы по сторонам смотреть!.. Где там помнить излюбленный прием кочевнический — показать притворно спину, увлечь погоней, а там и навалиться всею силою, по сторонам в засаде укрытою. И тут бы так случилось; отрезали бы от ворот, да перебили, кабы не залешане со Сбродовичами. Сдержали ораву, не дали от ворот отсечь. Стояли, пока гридни вперемешку с горожанами обратно в город втягивались. Сами же не успели. Вот ведь как бывает: разная о них в народе молва ходила, и что увальни, и что об себе одних думают, и что богатыри-то они только по названию. Забылось говоренное. Иными глазами люди на них глянули, иные слова найдут, как начнут песни складываться про нашествие Калина, если только будет, кому складывать…

…Стоит князь в палатах своих, возле окна, вздыхает тяжко. Как же случилось, что богатыри его верные, слову его покорные, в один день полегли? С кем теперь город оборонять? Кинул взгляд на скамью богатырскую, мелькнуло перед глазами недавнее прошлое, так явственно, будто и не уходило вовсе. Всех увидел, всех припомнил. Услышал тихое, а может сам произнес: «Илья Иванович…» И шорох какой-то.

Глянул — стоит в уголку видение — не видение, фигура женская. В темное укутана, ровно скорбит по ком.

— Кто ты, как вошла? Ответствуй не медля! — грозно вопросил князь.

— Дочь твоя, Мстислава… — прошелестело в ответ.

— Как смела без зова явиться?

— Услышала ненароком, богатырей ты поминал, сетовал, что некому за Киев постоять…

Неужто думы тяжкие словами невзначай вырвались?

— …Илья Иванович…

— Так ты что же, укорять меня вздумала? За дело прошлое, за то, что смутьяна в порубе уморил?

Бросилась кровь в голову князю, шагнул к дочери. Еще мгновение…

— Нет, батюшка, не уморил… Жив Илья Иванович… Живой он…

Упала занесенная рука, ровно отнялась.

— Жив?!! Живой… Как можно…

— Я во всем виновная, батюшка. Я ключ сделала, я в темницу наведывалась… Девки мои поили, кормили, обихаживали. Тайно все делали, так, что не прознал никто…

Еще что-то бормочет, а у князя сумятица в голове. Лезут мысли одна на другую, и никак ему с ними не совладать. С одной стороны — вот она, помощь ожидаемая; услышит враг, что Илья в Киеве, — одно это попригнушит спесь ханскую. А коли продержаться, дойдет весть до других богатырей, быстрее быстрого на выручку пожалуют. С другой стороны… Обида великая богатырю князем учинена, как подступиться к нему — не знает. И ведь не пошлешь никого уламывать, самому идти придется. Не иначе — в ножки кланяться. Это князю-то! Так получается, что куда ни кинь, а все клин. То ли Илье кланяться, то ли Калину, то ли голову сложить под Киевом, отдав город на разграбление и поругание…

Потом решился — как в омут с головой. Мимо дочери прошел, даже не глянул на нее. В поруб направился. У двери в подземелье, правду сказать, позамешкался. Один раз в жизни своей испугался, — давно это приключилось, — с тех пор никому этого самого испытанного страха не прощал, а тут… Не то, чтобы испугался, просто мелькнуло что-то, на чувство вины похожее, мелькнуло — и исчезло. Толкнул дверь, вошел, пригнувшись; не по его росту притолока.

Поднял повыше факел. Увидел Илью, лежащего на лавке. Стол, какого никогда прежде не было, чурбан возле стола, бочку в углу. На столе — кувшин, миса с чем-то. Набрал князь в грудь воздуху, а что сказать — не знает.

Илья — сколько времени прошло — князя сразу узнал. Сел не торопясь, покряхтывая, сжал доски ладонями.

— Зачем пожаловал, княже?

Просто так спросил, без злобы, без любопытства.

Не стал князь ни прощенья просить, ни иное что примирительное молвить. Душно ему здесь, камнем давит, что снаружи, что внутри.

— Беда у нас, Илья, — ответил. — Прознал Калин хан, — нет всей дружины в Киеве, разошлись богатыри по заставам, да и надвинулся к Киеву. Собрал всю Степь — и надвинулся, хоть и клялся в вечном мире. Не было прежде стольких врагов под стенами, не устоять городу без подмоги. А та далече, видать, не успеть ей.

— Так ты что же, меня на помощь звать пришел? Где же твои хваленые жалованники, али они только за столом пиршественным степняков языками гоняют?

Сдержался князь.

— Нет их больше. Поднесли чару гостям непрошеным, ан и сами ее испили… Каково же слово твое будет?

Молчит Илья, ничего не отвечает. Князю тоже сказать нечего. Положил ключ от темницы на стол, воткнул факел в стену, вышел из поруба. Не оглянулся, не видел, как в дверь, что запирать не стал, сгусток мрака скользнул. Мстислава. Не осталась в палатах, за отцом шла, у двери слушала. Негоже так поступать, да разве кто осудит?

14. КАК СТОЯЛА ТАМ ЗАСТАВУШКА НЕ БОЛЬШЕНЬКАЯ…

Отстояли Киев. Прогнали ворога обратно в Степь; надолго ли? — кто знает. А вот земля, что под городскими стенами, ей и дождя не надобно. Пропиталась кровью так, что родники — и те красным наружу пробивались. По осени, как листва цвет менять начала, вздрогнули люди — стояли дерева багряны, будто те, кто головы свои в сече страшной сложили, вернулись ненадолго, взглянуть, неужто и вправду отстояли? Не верится им.

О чем Мстислава с Ильей в порубе речь вели, про то сами ведают, а только к утру вышел богатырь из темницы своей. Не заходя во дворец княжеский, на конюшню отправился. Всего и пройти-то с полста шагов, ан пока шел, город весть радостная облетела: жив Илья Иванович, не затаил обиды, готов постоять за Киев-град. Того не знали, не за Киев-град, не за князя и даже не за дочь его — за Васятку, за деревеньки, что, оставь без помощи, в дым черный обратятся, в пепелища, — их ради оставил Илья подземелье.

Не узнать богатыря. С тела спал, лицо потемнело, а волосы, наоборот, снегом замело. Силушка прежняя, осталась ли? Больно тяжело идет, ноги подволакивает.

Ну, кое-какая осталась. Зашел в конюшню, увидал бочку сорокаведерную возле двери, с водою, сбросил с себя одежду, поднял, и всю на себя опрокинул. Отфыркался, ухватил сена, сколько смог, обтерся, снова оделся, к коню своему подошел. Обнял ласково за шею, гладит, шепчет что-то, а тот глазом косит, будто вчера только и расстались. Только Илья к оружию-доспехам своим сунулся, — они в стойле лежали, — за ухо зубами хватанул. Не так, чтоб напрочь отхватить, а ласково — еще погладь да поговори. Куда тут денешься? Уважил.

Глянул — а тут и порты чистые, и рубаха, лежат — его дожидаются. Будто знал кто, что он пожалует. Скинул старое, одел новое — сердце едва наружу не выпорхнуло; так себя ощутил, словно оказался под небом синим, над речкою быстрою, привольем луговым, лесом дремучим… Вливается внутрь сила земли родной, изгоняет прочь хворость темничную. Говорила Мстислава, не видел никто, как все в стойле оказалось. Не было, не было — а потом вдруг взялось. И что удивительно, в руки никому не давалось. Один смотрит — не видит ничего, другой видит, ан подойти не может: идет-идет, и все на месте стоит. Два шага шагнуть, ан не дойти. Третий и видит, и доходит, нагнуться

же — ровно столб кто к спине привязал. Четвертый умнее всех оказался, граблями выгрести решил. Так ему этими самыми граблями так по лбу досталось, едва конюшню не спалил — искры из глаз с кулак летели…

Вооружился Илья, на стену отправился, глянуть, что да как. Народу вокруг конюшни собралось — как только друг дружку не передавили. В другое время гридни разогнали бы, а сейчас не посмели. Криком приветствовали радостным, будто уж нет врага под стенами, будто при одном имени богатыря пятками засверкал.

Не засверкал. Освирепел. Прослышали степняки, что не сгинул неприятель их главный, на стены ровно муравьи полезли. Стрелами осыпали, будто дождем, аж небо потемнело. Подволокли тараны к воротам, долбить принялись — чего там стены городские, земля до самого своего края сотрясается. И так воют, что волки на луну.

На той стене, где Илья оборону держит, там коршунам степным несладко приходится. Подтягивают ему снизу бревна на воротах, Илья их на лестницы приставные мечет. Уронит пару стволов в полтора обхвата — и нет лестницы. В других местах тяжелее. Там враг наверх взобрался, секутся люто. С одной стороны — злоба звериная, с другой — мужество отчаяния. Чья-то возьмет?

Два дня, не утихая ни на мгновение, — ночь ли, день — кипела битва. Степнякам легче; одна волны схлынет, ей другая на смену, а киевлянам туго приходится. Все, кто оружие держать может, старый и малый, живой и умирающий, все на стенах. Еще немного, и сбудется обещание Калина, только в песнях Киев и останется, коли будет, кому складывать. Не случилось. Уберегла судьба. Подоспела помощь долгожданная изнемогающему городу.

С двух сторон ударили подошедшие рати. Как сговорились Алешка с Добрыней. Так на степняков насели, им теперь не о богачестве киевском думать. Не ждали, потому и растерялись поначалу. Алешкина рать с берега, противоположного Киеву, врага погнала, очистила; Добрыня в спину ударил, мало до шатра хана великого не прорубился.

И снова: почуял хищник, коли дать слабину, уйдет добыча верная. Оклемался немного, и с новой силой насел. Еще два дня без передыху секлись, так, что по полю перед стенами ходить невозможно стало. В болото земля обратилась, кровушкою людской пропитавшись. Сдюжили, однако. Дошли вести: Мишка Потык подбирается, Самсон Самойлович рать ведет, Полкан пути отходные режет… Хорошо бы сказать: дрогнула нечисть, побежала… Нет такого. Ушли, огрызаясь, даже часть даров

киевских прихватили. Раны зализывать. Их, правду сказать, и не преследовали особо. Некому преследовать. Что гридней, что горожан не ратных полегло, не счесть. А степняки, уходя, машины свои просто так не бросили; смолой облили и подожгли. Разом занялись; с тех, которые высокие, ветром в город пламя забрасывать стало, занялись избушки с теремами, еле справились.

Князь же обиду великую на хана затаил. Одной думкой живет — поквитаться. Вдруг сразу вдогонку не бросился — сначала город восстановить надобно, осмотреться насчет убытку, воздуху глотнуть. А уж потом и в гости наведаться.

Про богатырей тоже не забыл. Как народ Илью приветствовал, как Алеша с Добрыней на зов позамешкались, как снова не вняли его увещанию доброму новым обычаем жить. Пока суд да дело, чтобы вновь оплошки какой не случилось, ступайте, молодцы, на заставу от Киева дальнюю, к Степи ближнюю, стерегите супостата.

* * *

Застава… Одно название. В потемках увидишь — испугаешься. Вроде, не могла долго пустовать, а такая позабытая-позаброшенная, ровно никто никогда здесь и не бывал. Поставили, лет сто назад, и ладно. Частокол погнить местами успел, повывалиться, колья кто куда торчат, будто зубы чудища какого. Вышка не пойми как держится, наклонилась — дунь на нее, то ли свалится, то ли рассыплется, — что первей, непонятно. Навес за частоколом, лучше и вовсе не смотреть. Паук-сенокосец, да и только.

Глянули богатыри на такое жительство, руками развели. Оно, конечно, коли за чем не присматривать да не ухаживать, еще и не до такого состояния довести можно. Только ведь им здесь не ночь ночевать и не день переждать. Обустраиваться надобно. А как обустраиваться? Леса поблизости не видать, так, кустарник реденький, инструментов с собой нету. И припасов нету, и посуды. Ручеек, правда, есть. Но из него разве что напиться, ну, там, умыться, а что касается рыбы — одни лягушки.

Алешка больше прочих удивлялся, глазам не верил. Он прежде бывал на этой заставе, давненько, но бывал. Никак глазам своим поверить не может. То по солнцу обойдет, то против, все разглядывает. А чего тут разглядывать-то? Развалюх не видал? Тут не любоваться, тут рукава засучать надобно.

Поначалу все, что погнило, в кучу сволокли, — в костер сгодится. Что держалось, выровняли, прикопали, землю вокруг

поплотнее прибили. Пару железяк нашли, — петли, должно быть, воротные, — ими и прикапывали. Отошли, со стороны посмотреть на дело рук своих, аж оторопь взяла. Еще страшнее стало, чем прежде было. Может, оно и к лучшему? Коли самим страшно, так врагу еще страшнее станется?

Повечеряли, ночью по очереди по сторонам посматривали, а поутру, чем свет, Алешку, как старожила местного, — один раз все-таки бывал, — послали дознавать, где чем разжиться можно. Князь, отправляя их из Киева, о том, чтобы гривен дать, позабыл совсем, — и то сказать, на степняков поистратился, — свои взяли, у кого сколько оставалось. К полудню вернулся. Котел приволок, инструмент, припасов немного. Что у него, что у Добрыни, кони — как у Ильи. Когда надо, одним скоком версту покрывает. Неблизко от заставы ихней люди живут. Оно и понятно, от Степи подальше, к Киеву поближе. Но коли нужда, наведываться можно. Лес тоже разведал. В общем, за полдня туда-сюда обернуться вполне успевается.

С инструментом дело веселей пошло. Одно плохо, не приучены кони богатырские к иной работе, кроме ратной. В телегу не впряжешь, — всю в щепу размечет. Ну, и хозяину достанется. Вот и пришлось выкручиваться. Пока Алешка на заставе сторожит да обед готовит, Илья с Добрыней в лес подаются. Найдут каждый по паре лесин, обтешут их кольями, засунут под мышки, будто копья, и в таком виде обратно подаются. Увидел бы кто, — срамота. Такие б песни народ присочинил, с заставы лучше и не показывайся. Долго ли, коротко, а и лесу натаскали, и частокол поправили, и вышку, и навес. Так обустроили заставу, лучше новой стала. С воротами повозиться пришлось, Алешка опять куда-то подавался, за петлями, но и тут обошлось.

И, как водится, порешили окончание работы отметить честь по чести. Кто предложил, и не вспомнить, так разве ж это главное? Главное, как порешили, так и сделали. Добрыня на охоту подался, сохатого припер, Алешка — за медом. Столько приволок, как только конь выдержал, даром что богатырский. Илья с Добрыней насели на него, куда столько? А тот руками разводит: пусть, говорит, лучше останется, чем не хватит. Как же, останется… Одну бочку, правда, на всякий случай закопали, а сколько там было остального, не закопанного — уж и не вспомнить, — вместе с сохатым и ухайдакали. Под разговоры, под похвальбу, не заметили как. Ну и охмелели шибко. Скучно им как-то враз на заставе показалось. Не видать нигде лютых ворогов, не с кем силушкой переведаться. Разве самим поискать?

Взобрались на коней кое-как, глядят в разные стороны, не

появится ли где супротивника. А того словно бы и вовек не бывало. То как рыба на нерест прет, а то — не доглядишься. Совсем уже было собрались бросить это занятие, коль удача отвернулась, показалось вдали войско вражее, — и прямо к ним. Что прямо к ним — тут ничего удивительного нету, одна дорога, и та мимо заставы лежит. Поприпряталась, за ненадобностью, но разглядеть еще можно. Войско же, как приблизилось, сильно размером подсократилось, числом до одного. Шлепает себе по дороге, со стороны Степи, и ничего не боится. Думает, никто не догадается, что доглядатель. Ишь, и одежку себе соответствующую подобрал: лохмотья какие-то, клюку, шапку греческую. Нет, брат, шалишь, не на тех напал.

Спустились богатыри с холма на дорогу, ждут, когда подойдет. Алешка его сразу хотел стрелкой попотчевать, но Илья с Добрыней усовестили. Не ладно так-то, сказали, не спросивши, и сразу стрелкой. Пусть скажет сначала, кем и зачем послан, а уж потом… Что ж мы его, трое на одного спрашивать будем? — не унимается Алешка. Ну так спешимся, отвечают. Тогда ладно.

Спешились. Пустили коней вольно, а сами ждут. Илья булавой по ладони похлопывает, Добрыня меч проверяет, свободно ли из ножен выходит, Алешка цветок сорвал — любуется.

Вот и соглядатай показался. Сразу видно — не из наших. Борода на сторону, лупоглазый, нос картошкой. Здоровый, и, видать, не робкого десятка. Будто и нет никого перед ним, бредет, глаза в землю уткнув. Так бы и набрел, ежели б Илья не гаркнул:

— А ну, стой, вражья сила, где стоишь!..

— Так ведь он идет, не стоит, — ввернул было Алешка, но Илья уже раззадорился.

— По мне, хоть летит, а как велено, так пущай и делает.

Только соглядатай остановился, хотел его Илья для порядку булавой приветить, да Добрыня удержал.

— Это завсегда успеется. Спросим поначалу, а уж потом… того…

А сам уж и позабыл, о чем спрашивать хотели. Остальные тоже позабыли. И выходит как-то совсем уже непорядок: стоят, раскрасневшиеся, друг на друга поглядывают, а чего сказать, не знают.

— Зря ты, Добрыня, вмешался, — Илья говорит. — Сейчас бы он уже во всем повинился, наказание принял, да и пошли бы себе вечерять… А теперь чего делать прикажешь?

Нахмурился Добрыня, потянул было меч из ножен, чтоб припугнуть ворога хорошенько, а только и тот не дремал. Видит, дело худой стороной оборачивается, ухватил свою клюку

наперевес, как двинет!.. У Ильи булава и выпала. Вдругорядь — Добрыня меч из руки выпустил. Алешку собрался было по макушке треснуть, ан тот увернулся, ухватился неловко за остальных, сам не ударжался, и других за собой за землю опрокинул. Не успели спохватиться, тьма их окутала. Только и увидели напоследок, как соглядатай руку к голове поднял…

Вот только колдуна заморского не хватало! Копошатся богатыри, ворочаются, встать пытаются, ан не тут-то было. Окутала их мгла, мягкая такая, даже вроде как на ощупь шершавая, и не выпускает. Люди знающие говаривали, будто супротив ворожбы заморской слово наше крепкое помогает. Кабы помогало, перевелись бы эти самые колдуны, сколько их ни есть, со всем их окаянством, ан и это не задалось. И, главное, жарко становится, пот льет ручьями, дышать тяжко. Вот ведь как довелось — не в бою смертушку принять, а от напасти чародейной. Совсем из сил выбились, попритихли. Слышат, говорит им колдун:

— Ну что, чай, утихомиились? Не станете более на странников с оружием втроем на одного набрасываться?

Так получается, будто выговаривает. Не со злобой радостной, а вроде как по-отечески, как дитятям неразумным.

Умом пораскинуть, дитяти и есть. Это ж надо такое учудить во хмелю.

— Чего уж там, — Илья бормочет. — Сымай свое заклятье чародейское. Не скоро забудется, урок твой.

— Сымай, сымай, — Алешка с Добрыней бубнят. Им тоже невмоготу.

— Ну, глядите. Коли чего не так, вдругорядь строже буду.

И вдруг — опять воля вольная. Небо чистое, трава зеленая, воздух сладостный. Вздохнули богатыри полной грудью, глянули друг на друга — стыдобища. Грязнее грязного, в трухе какой-то, *овинники*, да и только.

А соглядатай стоит себе спокойненько, в одной руке клюка, в другой шапка, рот до ушей.

— Не признал, чай? — Илью спрашивает.

Тот глянул, и глазам своим не верит.

— Неужто Иванище?..

— А ты думал?..

— Не я, хмель заместо меня думал, — буркнул Илья, поднимая булаву. — Чем это ты нас таким?

— Ею вот, — махнул шапкой своей Иванище.

Коли б кто другой когда рассказал — в жизнь бы не поверили. А тут чего ж, против очевидного не попрешь.

— Хоть бы вытряс поначалу, — беззлобно молвил

Добрыня. — Прежде чем добрых людей позорить. Соломы припас, корове на две зимы хватит.

— Добрых?.. Уж не тех ли самых, что надо мной безобразие учинить думали?

— Над таким учинишь… — Добрыня только рукой махнул. — Пока одни думали, другой…

Да как захохочет, руки в боки. За ним — остальные. До тех пор хохотали, пока в груди не заболело.

— Ну, раз такое дело, пойдем, замиримся, — кивнул Илья на заставу.

— Некогда мне, — насупился Иванище. — В Киев поспешаю, на выручку. Осадил Киев хан Калин с войском несметным, никак там без меня не можно. Да и вам бы там быть не мешало.

Переглянулись богатыри.

— Ты это когда о Калине с войском несметным прослышал? — осторожно спросил Илья.

— Так это… надысь… Как заслышал, короткой дорогой и поспешил. Заплутал малость, это было, свернул пару раз не туда…

— Пошли, пошли, — добродушно обнял его за плечи Илья. — Никуда твой Киев от тебя не денется… И Киев, и хан твой… — Покачал головой и повторил вслед за Иванищем. — Заплутал малость…

Хоть и было их: на заставе трое да Иванище, а от молвы никуда не спрячешься. Узнал народ о случившемся, и пошла гулять песня задорная, смешливая. Не как на самом деле приключилось, ан и не совсем в сторону. Ну а уж если и в сторону, то не как Иванище заплутавший…

* * *

Только редко так случается, чтобы посмеялись, да забыли. Хоть и нет пока рати, а вести недобрые время от времени до заставы доходят.

Был у богатырей еще один побратим, Мишка Потык, тот самый, что на подмогу спешил, ан толком не успел. Потрепал слегка степняков уходящих, они его потрепали, тем и ограничилось.

Этот самый Мишка норова был больно упертого. Как в голову втемяшится, так и делает, никогда совета доброго не послушает. Что товарищ верный, что коли помимо головы дурной — золотой человек, то не отнять; но уж коли решил чего, садись в сторонке да поглядывай, куда его кривая вывезет. Ровно отрок, хоть и мало

кому удалью да силушкой уступит.

О ту пору, — это еще у князя дружно жили, — не случилось в городе Добрыни, а дань собирать надобно. Илья в одну сторону отправился, Алешка — в другую, Мишка, — деваться некуда, раз под рукой оказался, — в третью. Ну вот чего там особого? Приехал, забрал готовое, в Киев отвез — и гуляй себе, дело привычное. У Ильи с Алешкой так и случилось, а Мишка…

Что он там по дороге себе навыискивал, про то отдельно рассказывать, и не один день. Иной в ливень сухим вернется, а этот в вёдро ни одной лужи не пропустит. Как только за чем едет не позабыл… И вот так случилось, что подъелся до крошки, а за целый день так ничего и не устрелил. Ну, кто Мишку на пиру видел, тот сразу поймет, каково это для молодца — ему день, что другому неделя. Решил заночевать у какой-то речки, костер развел, в воде пошарил — ни тебе раков, ни рыбы не словил, так лег.

«Лежу это я, — рассказывал, — ан не спится. Только глаза закрою, как вижу стол богатый, от яств ломящийся. Открою, все одно не легче. Воды столько выпил, раздулся, что твоя бочка, думал, поможет. Не помогло, только маеты добавилось. И тут слышу, вроде как плеск с воды доносится. Прислушался — так и есть, только темно больно, не видать, чего там. Хорошо, месяц показался, развиднелось немного. Гляжу — лебедь-птица плывет, крыльями по воде плещет. Схватил лук, натянул, а стрельнуть не могу. Будто кто веревкой опутал. А эта плещется себе, и плещется, и даже вроде как дразнится.

Сколько так простоял, не ведаю, только вижу, сложила крылышки и тихохонько так ко мне плывет. Вижу, и не лебедь это вовсе, а красная девица по воде легонько ступает. Тут меня вроде как отпустило, щелкнула тетива по запястью, лук в одной руке, стрелка в другой.

А она улыбается.

— Что ж, ты, — говорит, — Михаил, свет Иванович, никак суженую свою подстрелить решил?.. Чем же это я тебе не угодила?.. Аль собой нехороша, аль другая сердечком завладела?..»

Так было, или не так, — Мишке соврать, что забор пнуть. Вот говорят: «красиво не соврать, правды не сказать», а у Мишки получается, что ни слово — то правда, потому как начнет рассказывать, глухой уши развесит. Что вместе с данью жену молодую привез, Марьюшку, про то спору нету, а до всего остального — не дознались. Еще то правда, что походка у красавицы — чисто лебедь плывет, оттого и прозвали ее Марьюшка — Лебедь Белая. Многие на нее засматриваться

начали, поначалу, пока Мишка тех, кто глаза шибко намозолил, не вразумил — нечего, мол, на чужих жен рты разевать. Доходчиво так вразумил, так, что у других враз охота глазеть пропала. Кому ж охота с мордой побитой ходить?

Со стороны посмотреть — что Марьюшка средь баб, то Мишка средь мужей. Кому знать, сколько слез девичьих по укромным уголкам пролито, как он жену себе привез? Только красота, — не она жизнь ладной делает. Что там промеж них случалось, ан Потык все больше по поручениям княжьим разъезжать принялся. И вроде как с неохотой домой возвращался. Не сказать, чтоб всем в глаза бросалось, ан совсем тоже не укрылось.

Сколько там прошло, ровно гром посреди ясного неба грянул. Не стало Марьюшки. Вроде давеча улыбчивой видели, а сегодня уже и не стало. Сотоварищи, как узнали, проведать пришли, не надо ли чего, а Мишка сидит возле избы, чернее черного. Слово за слово, дознались, что уговор промеж них с Марьюшкой заключен был: ежели кто первый умрет, второму вслед за тем живому в могилу идти. Это что же, на костер? Нет, в землю, по обычаю той земли, откуда она родом.

Начали Мишку уговаривать, где ж это видано, чтоб такой уговор заключить? Это ж совсем без головы быть надобно. Но тот — ни в какую.

— Не от головы уговаривался, от сердца. А коли любишь, так люби и в смерти.

Сам князь подступался, ан тоже ни с чем ушел. Наказать хотел, за ослушание, да кто-то ему отсоветовал: какое наказание на него наложить можно пуще той судьбы, какую он сам себе выбрал?

Делать нечего. Выбрали место потаенное, чтоб никто их сотоварища потревожить не смог, вырыли яму, сруб небольшой спустили, две скамьи деревянных: одну для Марьюшки, другую — для Мишки. Накрыли сверху бревнами, завалили землей, ветками, так все устроили, как прежде было. Вернулись в палаты княжеские, только князь их обратно погнал. Сидеть возле того места, хотя б до утра. Мало ли, раздумается Потыку ни за что пропадать, подаст знак снизу, чтоб вызволили.

Поначалу спокойно сиделось, а потом змеи богатырей одолевать начали, потому как, по незнанию, они в окрестностях киевских самое змеиное место выбрали. По свету не было ни одной, а как свечерело, откуда и понабежали. И там шуршат, и здесь, и с веток свешиваются, падают… Игрище у них какое, что ли? Тут не знак наблюдать, а как бы снизу не заползло, али сверху не свалилось. Так всю ночь и прокараулили, — то в одну сторону переметнутся, то в другую. И ни в какой усидеть

невозможно.

Только как светать стало, поуспокоилось. Уползли, окаянные, ровно и не было. Возвращаться пора, не подал знака Мишка. Поклонились поясно тому месту, повернулись, ан вроде как земля под ногами пошатнулась. Прислушались. Будто кто кричит снизу. Не помстилось ли? Нет, не помстилось. Вон, и земля заметно сотрясается.

Кинулись разгребать. Стволы в стороны повыметнули, глянули — стоит внизу Мишка, и Марьюшку свою на руках держит. А она руками шею его обвила и к груди прильнула.

Их бы вытащить, да боязно. Ну как они уже и не люди совсем? Ежели б не сказал пару слов, что *нелюдям* заповеданы, так бы и стояли. Понятное дело, спрашивать стали.

Мишка и поведал. Он с собой факел прихватил, чтоб до последнего красой любоваться, пусть и не живой уже. Не сразу зажечь думал, а когда уже почувствует, что отходит. Лежит на своей лавке, жизнь свою вспоминает… И тут, будто холод по ногам подниматься стал, к самому сердцу. Пора, знать, факел зажигать. Запалил, глядит, ан то не холод смертный — змеи откуда-то повылазили. Двух придавил, в угол бросил, остальные сами уползли.

Посидел сколько, совсем уже было факел гасить собрался, как видит, зашевелилось в углу, куда гадов бросил. Присмотрелся — там щель. То ли бревно трухлявое на сруб пошло, то ли что, а только в щели той змея показалась. Хотел ее Мишка факелом прижечь, да замешкался. И хорошо, что помедлил. Видит, во рту у змеи листочек махонький. Она этим самым листочком задавленной по голове несколько раз повела — та и заерзала. Пока Мишка глаза кулаками тер, уползли обе. Одна осталась. Только это он в углу присел, опять зашевелилось, в щели. Мишка, не будь дурак, как только опять голова показалась, с листочком, улучил момент, ухватил змеюку так, чтоб не укусила, и листочек этот самый у нее изо рта добыл. Выпустил зверя, а сам — к Марьюшке, да как начал ей лоб этой самой травкой тереть!.. Трет, а сам в угол, нет-нет, да поглядывает. Сколько ни посматривал, ан не углядел — пропала и остатняя змейка. Только ему до нее и дела нет, потому как услышал вздох легонький…

Те, кто в хворях сведущи, говорят, случается иногда, что нападает на человека такой сон, из-за которого становится он будто мертвый, не отличить. И ежели не окажется поблизости знахаря, который приметы особые ведает, то… В общем, тогда плохо дело. А ежели окажется, непременно советом поможет, как поступить должно. В разных случаях — по-разному. Иной сам полежит-полежит, да и встанет, а иному снадобье какое, али еще

что надобно. Тот ли случай приключился, не тот ли — Потык на своем твердо стоял. Так и отстали, не дознавшись на верное.

Недолго в ладу прожили, опять промеж них ровно кобель черный пробежал. Снова Потык в края дальние по поручениям княжеским зачастил, и чем дальше, тем лучше. Потому и не сразу узнал, за степняками гоняючись, с земли родной взашей выпроваживая., что пропала его Марьюшка. Вроде видели ее воду носящей, когда стрелы огненные в город полетели, иной говорил, среди тех баб была, что детей в укромных местах прятали, а кто-то — на стене, мол, рогатинами с другими лестницы спихивала, когда ворог мурашами бесчисленными карабкался. Последнее и ведунья какая-то подтвердила, к ней Мишка в последнюю очередь, без всякой охоты, обратился. Пошептала бабка — Потык ее в первый раз видел, кто посоветовал, не упомнил — над мисой с водой, побултыхала пальцами, уголек бросила, да и сказала Мишке, что и вправду, была его Марьюшка на стене, там ее, горемычную, и ухватил как добычу коршун степной. В Степь свою повез.

Мишке б тогда подумать: разве быть такому, чтоб посреди сечи жаркой, с девицей на плече, вниз по лестнице, обратно в стан… Так ведь нет, доверился. Собрался в одночасье, в Степь подался, жену выручать. Встретился на дороге, неподалеку от заставы, с Ильей да Алешкой, крикнул им, чтоб не поминали лихом, чтоб простили, коли что не так было, а коли суждено снова встренуться, так слов его нынешних не припоминали, — и был таков. Только пыль завилась.

Подивились тогда братья названые, почесали затылки, потом поуспокоились. Кабы такое впервой было, может, почуяли бы неладное, вдогонь пустились, порасспросили. А как не впервой, — вернется вскорости Потык, расскажет про очередной свой подвиг. Не вернулся…

Это потом уже, как время прошло, спохватились, что нет от молодца ни слуху, ни духу. Поначалу думали, дадено ему князем поручение особое, не враз исполнишь. Это когда то один из богатырей оставшихся на заставу заявится, то другой. Они-то новости и привозили, все больше нерадостные. Из всех разве что Сухман с Полканом, да Васька Долгополый, да их трое землю стерегут, а остальные посгинули. Так, что и весточки по себе не оставили. Не стало им места ни в Киеве, ни еще где, с порядками новыми.

Несколько раз, по жребию, в ту сторону отправлялись, куда, в последний раз видели, Мишка поспешал. Двое искали, один на заставе оставался. На всякий случай, потому как попритихли степняки, затаились. Хотелось бы верить — образумились, ан не

верится. В крови у них — набегами жить.

Вот как-то вечор и наехали Илья с Добрыней на старца перехожего. Сидит себе в местечке укромном возле подножия холма, огонь махонький разложил, корку в чашку с водой макает. Спешились, приветствовали, как полагается, дозволения спросили, возле костерка присесть. Запомнили, должно быть, как Иванище проучил. Разложили, что с собой было, угощают старца. Слово за слово, спросил их тот, что за нужда в Степь гонит? Рассказали, как могли. Дело нехитрое, потому как рассказывать-то особо нечего.

— Уж не о том ли молодце ищете, что побоище тут знатное учинил?

— Что за побоище?

— Сказывали, будто сколько тому назад заночевали неподалеку от этого самого места гости незваные, из похода на Киев возвращавшиеся. Вволю, должно быть, натешились, и не ждали, не гадали, что поджидает их расплата скорая. Налетел на них откуда ни возьмись богатырь, да как начал потчевать: кого мечом сечет, кого конем давит. Разве что нескольким утечь удалось, остальным же должок с лихвой возвернулся. И так случилось, высвободил молодец красну девицу, что неведомо каким образом схорониться смогла, во время сечи-то. И будто даже не девицу, а жену свою, в полон уведенную… Там и остался.

— Где?!!

— Да вон там, за этим холмом другой будет, а за тем уж как раз тот… Да вы погодите…

Куда там, погодите! Вскочили Илья с Добрыней, к коням — да в седла. Крикнули старцу, что мигом обернуться, и исчезли.

Коням богатырским два холма — один скок. Глядят, не соврал старик. Лежит себе на вершине третьего богатырь, спит, должно быть. Ну, вот и нашелся. Зря беспокоились. Сейчас все и узнается, как да что. Не узналось. На радостях невдомек спросить себя, отчего это, окромя богатыря, не видать ничего? А от того не видать, что… Не молодца нашли, камень. Поначалу показалось, один в один — Потык. И обличьем, и ростом… Подвели глаза; что хотели углядеть, то и угляделось. Вот оно, значит, как встретиться довелось. Метнулись обратно, к старику, а там пусто. Ровно и не было никого. Так всю ночь возле камня и просидели, товарища вспоминая…

* * *

Между тем, жизнь на заставе идет своим чередом. Радости

особой нету, ан и забот тоже, кроме как по хозяйству. Подымаются вместе с красным солнышком, к ручью спускаются, ключевой водой умыться. Наберут полный щит воды, обольются, поухают на всю окрестность, идут жребий бросать. Это чтоб не обидно было, кому, ежели что, первому в бой вступать, коли враг покажется. Только это давно прежде случалось, наезжали багатуры степные побахвалиться, а больше пограбить, нонче же стаями прут, и не напрямки, а все путями окольными. С какой стороны не жди, все одно не угадаешь. Князь, говорили, даже городки ставить велел, и к Степи поближе, и к горам Сорочинским. Потому и оказались заставы позабытыми-позаброшенными, не до них. Оттого-то и течет здесь жизнь размеренная, сонная.

Чтоб ухватки воинские совсем не растерять, устраивают друг с другом поединки потешные, перенимают один у другого искусство, кто чем лучше владеет. Все лучше, чем мхом обрастать.

Ан не может такого быть, чтобы все время вёдро, ино и дождику приключиться. Туманом тогда окрест заволокло, ни зги не видать. На верхушке холмов еще туда-сюда, руку вытянул, разглядеть можно, а промеж них — совсем беда, только плечо углядеть и можно. В таком тумане не то что соглядатай, рать многотысячная пройдет, и не заметишь. Хоть порты сымай, да ими и разгоняй. Это Алешка зубы скалит. Только было занятие себе подыскали, — раздумывать, чем еще туман разогнать можно, вроде бы звук какой послышался. Вроде бы есть кто-то там внизу, на дороге. То ли человек, то ли зверь, не разберешь. Покричали для верности, — впустую. Ну, коли не откликается по-хорошему, знать, не с добрыми намерениями, ежели человек. Должно быть, и на их улице праздник случился, соглядатай объявился. Давай, Алешка, твой нынче жребий, Илья с Добрыней говорят, а у самих от досады аж плечи сводит.

— Да вы, братцы, не серчайте, что так оно вышло. Сегодня мне повезло, а завтра, глядишь, кому из вас удача улыбнется.

Сел на коня, да и был таков.

Илья же с Добрыней тучатся, не сидится им, не стоится, все прислушиваются, приглядываются. Ничего не слыхать, не видать же — и подавно. Давно б уж Алешке возвернуться пора, так ведь нет его. Беспокоиться начали — не случилось ли чего лихого. Кто ж его знает, что там в тумане бродило, может, чародейник какой? Не пора ли на выручку?

Совсем невтерпеж стало. Только было собираться стали Алешку искать, как слышат, сам он покрикивает в отдалении. Ошалел на радостях. Дай коню волю — он сам дорогу в тумане

отыщет. В ответ поорали.

Прошло еще время, явился Алешка. Без коня, без доспехов, без оружия и, мало того, побитый, еще и в чем мать родила. Илья с Добрыней где стояли, там и сели. Глазами видят, а поверить не могут.

— Ну? — буркнул Алешка. — Чего уставились? Богатыря побитого не видали? Так вот он я, любуйтесь.

Любуйтесь… Рассказывай давай.

А чего тут рассказывать? Никакой не зверь оказался, не чародейник, а добрый молодец. И конь у него, как наши… Ваши, тут же поправился Алешка, потому как я нонче безлошадным стал. Он далеконько отъехал, пока догнал. Там туман послабже будет. Еду это я, посматриваю, вижу — впереди меня всадник. И будто бы у него спереди серый волк бежит, а позади — кобель черный. На одном плече сокол сидит, на другом — маленькое что-то, вроде воробья. Держит это он в правой руке лук тугой, а в левой — стрелочку каленую. Едет он себе, забавляется. Пустит стрелку в небо, а на возвратном пути подхватывает. Только это мне все в тумане померещилось. Потому как выехали мы на чистое место, ничего такого нету. То есть молодец есть, остального нету.

Я — к нему. Что ж ты, говорю, сила вражья, опричь заставы, не спросясь, путь держишь? А он зубы скалит, звиняй, не заметил. Я ему — скажи еще, не слышал, как мы тебе кричали? Плечами пожимает: не слышал, мол. За какой, спрашиваю, надобностью? В Киев собрался, отвечает. Есть там такой богатырь у князя, Илья Иванович, подарок ему везу — смертушку лютую. Ты, случаем, не он будешь? Нет, отвечаю, а у самого, как услышал, рука к мечу потянулась. Ну, тогда здрав будь. У меня до тебя дела нету. И дальше это себе ехать собирается. Постой, говорю, я хоть и не Илья Иванович, а все ж таки брат его названный. И потому тебе проезду через меня не будет. Он опять плечами пожал. Добро, соглашается. Только я понапрасну крови проливать не хочу. Давай так уговоримся: коли ты меня из седла выбьешь, твоя воля — что скажешь мне, то и сделаю. Скажешь лбом об камень убиться, убьюсь. Скажешь до веку тебе служить, и на то согласен. Но уж коли я тебя — не взыщи. В чем мать родила по свету пущу.

— Ну, и?.. — вытаращили глаза Илья с Добрыней.

— Что, ну и?.. — Алешка бормочет. — Туман очи застит? Так мне и разогнать нечем…

Посмеялись бы, кабы не слова про смертушку лютую.

— Как же это он тебя с коня сшиб? — спрашивают. — Неужто хитростью какой?

— При его силище хитрость не надобна. Хотел я с него разом

голову снять, с бахвальщика, а он щит подставил, да как ахнет меня булавой, я и слетел…

— С виду-то каков?

— Не разглядел толком… Но не из Степи… И говорит по-нашему…

Посидели, помолчали. Потом Илья поднялся.

— Как думаешь, далеко он отъехать успел?

— Погодь, Илья, — Добрыня встает. — Твой жребий последним был, мой черед.

— Так ведь он же меня спрашивал.

— Мало ли… У нас каков уговор был? Вот коли у меня ничего не выйдет, тогда за всех разом с ним и поквитаешься.

Илья на Алешку глянул, а тот только руками развел. Уговор дороже денег.

— Один, вон, уже уговорился, — пробормотал с досадою. — Не токмо что безлошадный, ан и беспорточный…

Умчался Добрыня.

Ветерок поднялся, туман вроде как развеиваться начал. Приступил было Илья к Алешке с новыми расспросами, а тот насупился, сидит на бревне, ровно сыч. Обиделся, должно быть, на беспорточного.

Вечереть стало, Добрыни же нет, как нет. Теперь уж и дорогу видать стало, и окрест, — все видать, окромя богатыря. Что делать — непонятно. То ли ожидать, то ли на выручку спешить. Хотя какой там спешить? Сколько уж прошло.

Прохаживаются снаружи заставы, посматривают, и тут как ахнет за спиной что-то. Обернулись разом, а там в воротах — Добрыня. Во всем своем природном естестве. Он, должно быть, круг дал, чтобы на глаза не попадаться, да невзначай на палку сухую наступил. Тишина же вокруг такая стоит, что треск громом небесным показался.

Видит Добрыня, прятаться смысла никакого уже нету, выпрямился, ручищи в стороны развел.

— Ну, вот так, как-то…

Алешка первый загоготал. Присаживается, по коленям себя хлопает, ни дать, ни взять — трепака сейчас запустит, и — заливается. Тут и Добрыня с Ильей не выдержали, хоть веселье их, коли подумать хорошенько, и не от веселья вовсе.

— И тебя, стало быть, побили? — Алешка все никак уняться не может.

Добрыня же посерьезнел.

— Твой черед наступает, Илья, — говорит. — Только чует мое сердце, зря мы с ним так обходчиво. Силушкой да уменьем не обижаен, а пуще — злобой. С тобой переведаться желает, ни о

ком ином слышать не желает. И что б ему тогда вместо Иванища…

— Желает, так и уважим, — Илья отвечает и совсем было к коню своему подался, да Добрыня остановил.

— Никуда он не денется, на рассвете дожидать будет. А пока, помыслить нам всем надобно, как лучше это дело устроить. Плохо, что место там открытое, никак исподтишка не подобраться. Да и вооружиться нечем, разве что нам с Алешкой камней набрать…

— Ты что же, думаешь втроем сладить?..

— А то!.. Можно, конечно, и инако. Дай свой лук Алешке, он его за полверсты стрельнет…

— Враз сыму! — Алешка встрепенулся. — Потому как нечего, понимаешь, зазря булавой махать да портов лишать…

Не согласился Илья, как ни уговаривали. Поутру же прощаться не стал. Будто не на смертный бой, коня поразмять отправился.

* * *

Нахвальщик уже дожидается. Остановился Илья супротив, шагах в десяти. Смотрят один на другого, каждый о своем думает.

— Вот и свиделись, — сказал, наконец, молодец. Спокойно так, будто выронил чего, шарил-шарил, — нашел.

Вздрогнул Илья. Не от страха, нет — сам не поймет, от чего. Показалось что-то… Мимолетное… Что сказать хотел, разом позабылось. И то, что устыдить собирался, не озорничают так-то вот, чтоб людей на посмешище выставлять, и то, что узнать хотел, какого супротивник его роду-племени, отчего в нем ненависть лютая. Он ведь, пока ехал, отчего-то степняка думал увидеть. Хоть и говорили Алешка с Добрыней, что не похож, ан всю дорогу Буга-багатур перед глазами маячил, глядел тяжело. А не из степняков, кому и взяться? Не припомнит, чтобы кому лихо злое причинил.

Разъехались поединщики. Уставили копья острые, прикрылись щитами крепкими. Взрыли кони землю, со стороны глянуть, должно быть — из ноздей пар, из глаз искры; рванулись разом навстречу, не кони — вихри, на пути своем все преграды сметающие. Илья так метит, чтобы острие в то место прошло, где промежуток малый между щитом и шеей конской остался. Особая ловкость для того требуется, зато уж если попал, нет защиты от удара богатырского. Никакому доспеху не устоять против жала, на конце копья поблескивающего. Ан и беречься требуется;

зазеваешься, — чиркнет супротивное жало поверх щита, пониже шелома…

Хотелось лося, да не удалося. Скрежетнуло копье по щиту вражескому, мимо ушло. Отвернул коня молодец, как и самого Илью когда-то учили. То же самое и Илья сделал, потому как противник туда же целил. Будто один у них учитель был.

Не мытьем, так катаньем. Не хитростью, так силою. Устремил Илья копье в самую сердцевину щита, чтоб молодца из седла вышибить. И опять, как сговорились. В щепу разлетелись копья, а поединщики, хоть бы пошатнулся кто от удара молодецкого.

За булавы похватались. Тут особой ловкости не требуется, тут главное противника уцелить. Снова незадача. Ахнули булавы одна об другую, ажно гром прокатился, и тоже разлетелись.

Молниями сверкнули мечи. Порхают бабочками, сыплют искрами. Ровно живой огонь в руке каждый держит, того и гляди опалит жаром смертным. Встают на дыбы кони, поворачиваются, чтобы хозяевам сподручнее уязвлять было, али уворачиваться. А те вконец остервенели. Уже не умением, злобой оружием своим движут.

До того дошли, что отлетели прочь и мечи, и щиты. Ухватили один другого, давят объятием гибельным, еще немного — зубами вцепятся. Рычат зверями дикими.

Расцепились, да и прочь с коней. Снова свились, будто две змеи, в землю сырую супротивника вогнать жаждет. Чует Илья, ноги не движутся, словно по колена увяз, хотел было глянуть, чуть не так повернулся, ан и того хватило. Подхватил его молодец, да грохнул через плечо оземь, аж содрогнулось окрест. Не успел оклематься, насел на него вражина, придавил грудь коленом, ухватил чинжалище с пояса, занес…

Луч тут солнечный упал на лицо, ненавистью искаженное. Видит Илья, не молодец над ним, Рада, жена его сгинувшая. Невесел взгляд ее, боль сочится из глаз. Скоро встретимся, потому как сверкнул клинок… и замер. Возле самого жерла замер. Не может супротивник опустить, как ни старается. Мешается что-то.

Изловчился Илья, да как саданет кулаком посеред груди своему обидчику. Не удержался тот, слетел. Тут уж Илья не позамешкался, развернулся, приподнялся, придавил коленом грудь обидчикову, и тоже ножом с пояса…

Совсем бы конец побоищу, кабы рука послушалась. Нет ведь, замерла неподвижно, не довершив удар. Удивиться не успел, так в грудь шандарахнуло, что не удержаться…

Сидят поединщики, дышут тяжко, один на другого поглядывают. Довбне понятно, не ладно что-то, а тут не довбни,

чай… Мутузить друг дружку, это пожалуйста, а чтоб до смертоубийства, шалишь…

Неудобно Илье сидеть, то ли камень попал, то ли что. Сунул руку, вытащил: так ведь чинжалище это, что супротивник выронил, когда он его с себя сбросил. Необычное, с рукоятью, на которой неведомый зверь Скимр железом красным выложен. Один только такой на свете и имеется…

— Ты… это… — ажно задохнулся Илья, смахнул с себя шелом, кольчугу с жерла рвет, потому — дыхание перехватило. — Откуда?..

И чинжалище это самое протягивает.

Глянул молодец, а у Ильи рука дрожит и глаза блестят, пожал плечами устало.

— Тебе-то что?..

— Отвечай, коли спрашивают…

Грозно хотел, ан совсем наоборот получилось.

Поднялся молодец. Вздохнул тяжко, подошел протянул ладонь.

— Отдай… Незачем он тебе… Подарок это, матушкин…

Не отдал Илья. Выпало у него чинжалище, рот открывает, да только хрипит.

— Матушкин… — только и прошептал. — Звать-то как, матушку?..

— Может, тебе и отчеством назваться?.. — усмехнулся молодец. — Будь по-твоему. Матушку мою зовут Славяною, а отцом мне — Святогор-богатырь. Не ждал, что отмститель за него явится?.. Думал, сгубив Святогора, самому первым стать? Жаль только вот, подвела меня сегодня рука. Не иначе, чародейство какое. Ну да ничего, еще свидимся…

— Постой, погоди… тебя-то… тебя-то как звать?..

— А как ни назови. Да хоть Сокольником…

— Слышь, ты не уходи, погоди… Постой, чего скажу…

15. ПО КРЫЛЕЧКУ ЛИ ИДЕТ ДА МОЛОДА ЖЕНА…

Сколько годков минуло, сколько дён листвой осенней канули — не счесть. Не та нонче застава, что прежде была. Более на ту похожа стала, какой богатыри ее в первый раз увидели. Пообветшала, скособочилась, однако ж держится, не валится. Зарастает потихньку травой, кое-где мох на частоколе проглядывает, ан не позаброшена. Обитателей только не в пример прошлому меньше стало. Хоть и было не густо, трое всего, с поры той давней всего один и остался. По времени обход совершает, вокруг частокола, там подправит, здесь подвыправит, а больше на коне, вдаль посматривает. Застынет, ровно изваяние каменное, и поглядывает, не собрался ли кто набегом на землю отчую? Не будет таким проезда легкого мимо заставы, хоть и стар годами всадник замерший. Нет уж прежней силы, однако и с той, что еще осталась, совладать попробуй.

Одно плохо — ежели раньше степняки незваными гостями наведывались, то теперь… С той поры, как не стало старого князя, разодрались промеж себя сыны его, поделили землю, ан каждый первым перед прочими мнится. У кого народишку побольше, а мошны поменьше, тот тем и обходится, а у кого наоборот — тот прежних врагов лютых в помощь покупает. Один — одних, другой — других. Отличия вот только между ними нету. Какой брат верх берет, того стая пришлая землю менее удачливого сродственника грабит. И нет ему дела до того, что не чужую, отчую землю… Вот так и выходит, что степняки — в чести, а богатырь — без надобности. Есть себе где-то — и пусть его.

Один остался. А одному что? Разве годы прожитые вспомянуть.

Сокольника…

Все ведь ему тогда поведал, все, без утайки. И про себя с Радой, и про Святогора со Славяной. Как мог, так и поведал. Казалось ему, вот-вот отзовется сердце Сокольника, почует родную кровь. Не отозвалось. А что еще сказать, не нашелся Илья. Ну, мелькнуло перед ним лицо Рады, ну, чинжалище ее, — и чего? В народе говорят: «сердце сердцу весть подает», а как тут подаст, коли Сокольник сызмальства никого, кроме Славяны не видел, рос у нее, как родной сын… А вдруг и есть родной? Мало ли откуда чинжалище взяться мог… К тому ж, только и слышал, что отец его, ну, Святогор, хитростью погублен был, как после того враз извериться? Вот и не договорились.

Спокойно слушал его Сокольник. Не встревал, не переспрашивал, а как закончил Илья, долго молча сидел. Вдаль куда-то смотрел, неизвестно об чем думавши. Поднялся потом неторопливо так, собираться начал. Только и ответил, что сам обо всем дознается, а уж потом снова отыщет. И чему тогда быть, пусть то и случится. Вернул коней с добром, у Алешки с Добрыней отобранным, и уехал себе, так, будто и не было ничего.

Смотрел ему вослед Илья, смотрел, ничего не высмотрел. Внутри, ровно самой горькой горечи опился. Давно уж не видать Сокольника, а он все стоит. Не стал на коня садиться, пешим обратно на заставу побрел.

Алешка с Добрыней обрадовались, расспрашивать стали, что да как. Не стал правду говорить. Сказал, будто уговорились на три схватки; кто верх одержит, тому и слава. Еще — будто насчет смертушки лютой, молодец цену себе набивал, нахваливался. Будучи побит, в пояс кланяется, прощения просит, стыдно ему вам на глаза показываться. Обещался, как позабудется его похвальба, наведаться. В общем, иной с три короба наплетет, а Илья — с три воза, и то не увезти. Поверили, не поверили, ан пытать не стали. Даже и о том, чего бы это с той поры Илья все больше дозором в другую сторону посматривает, не в ту, откуда степняков ожидать можно.

Не дождался. Не сдержал слова своего Сокольник, не возвернулся. Сколько прошло, и Алешки с Добрыней не стало. Отбилась тогда тучка от тучищи, нанесло ее ветром на заставу. Приняли бой богатыри, решились до последнего стоять, хоть и было врага видимо-невидимо. Ну, то есть, не считал никто. Повернулся Илья неловко, угодила ему стрела так, что упал замертво. Не видал, что да как. Случаем живым остался. Сдюжили Алешка с Добрыней, не только выстояли, но и погнали ворога. Хорошо, странники им тогда помогли какие-то. И вроде даже калики. Позабылось в пылу битвы, как степняки бегством притворным в ловушку завлекают, вот и дался Добрыня в обман. В сече одолеть не смогли — стрелами засыпали. Кинулся было Алешка на подмогу, и его не стало. Случилось же это возле речушки какой-то, Смородинной. Там с ними и простились. А как простились — была речка, и не стало ее. Вчера еще была, а сегодня уж и нету. Чудно…

Илью же выходили, хоть и мучался шибко. Степняки, вишь, какую подлость удумали: они наконечники стрел своих ядом мазать стали. Есть у них там змеи, от укуса которых никому спасения нет, их ядом и мажут.

Вот и остался с той поры Илья на заставе один-одинешенек. По правде сказать, ему и податься-то некуда. А коли б и было

куда, он так рассудил, что негоже ему оставлять службу свою, им самим самому себе порученную.

Редко когда мимо кто пройдет. Так ведь и такие идут — дивуются на него. А он — рассказам их, потому как ему-то рассказывать и нечего. Дивуется чему? Да вот, хотя бы…

Вышел как-то ввечеру на огонек к Илье путник. Сам тощий, окромя топора за поясом, котомки и палки в руках нет ничего, зато балагурить горазд, на десятерых хватит. Он от усобиц княжеских подальше счастья искать отправился. Все хозяйство прахом пошло, ан не унывает, на лучшую долю надеется. Борщом звали. Отчего так? Больно уж квас с борщевиком любил, оттого и прозвали. Что ни слово, то прибаутка, с иной так смех разберет, остановиться не можно, ан как князей помянется — мелькнет в глазах зимнее что-то, мелькнет, и исчезнет.

Не думал Илья, не гадал, чтоб память о нем у людей песнями сохранилась. Потому, на вопрос Борща, слыхал ли чего о богатырях прежних лет, с легким сердцем соврал, что, мол, не доводилось. Тот удивился было, только характером вышел — не спрашивать, а языком молоть. Ему такой ответ Ильи, что иному большая ендова с медом на пиру. До тех пор соловьем разливался, пока не уснул на полуслове, да мало в костер не повалился.

Из того ли то из города из Мурома,
Из того ли села да Карачаева
Была тут поездка да богатырская…

Это ж надо, Карачаево… Правду сказать, Илья и не вспомнил, как деревенька ихняя прозывается. Ни к чему вроде. Деревенька — и есть деревенька, не человек, не скотина. Этим имя обязательно требуется, а деревеньке… И об городе как-то не задумывался. Ну город — и город…

Дальше — пуще. Так Борщ самого Илью расписал, и коня его, и оружие богатырское, что лучше и не надо. Одно плохо. Все-то у Ильи заморское. Вот спроси сейчас Борща, откуда у богатыря заморское взялось, коли деревенька его на отшибе, ее и соседи не сразу найдут, из тех, что ближе к городу, а получается — сколько сторон обойти нужно, чтоб одного Илью в путь-дорогу снарядить?

Поначалу Илья все рот разевал, встрять хотел, руками размахивал, мол, погоди, мил человек, дай дух перевести, не так все было, иначе совсем, а потом поуспокоился. Подумалось, уж коли в прибаутку попал, так не отвертишься, а из песни тем более, слов не выкинешь.

А Илья песенный, тем временем, столько дел понатворил,

столько подвигов богатырских совершил — не счесть. И все один, потому как друзья-товарищи ему только б под рукой мешались. Не успеет в одном месте порядок навести, уже в другое требуется. Кабы он и в самом деле стольких ворогов побил, да чудищ, да людей лихих, не жизнь была б сейчас, загляденье…

Гулял так песенный Илья от младости до самой старости, а как время пришло, оказался в чистом поле. Едет себе, по сторонам посматривает, ищет, кого бы это ему еще одолеть, ан вместо супротивника вывела его дорога на Латырь-камень. От камня того три росстани лежат, а на нем, значит, написано: «В первую дороженьку ехати — убиту быть, в другую дороженьку ехати — женату быть, в третью дороженьку ехати — богату быть». Стоит себе старый, удивляется, головой качает, сам с собою разговаривает, думу думает.

Тут Илья и вправду удивился. Ну откуда ему было грамоте выучиться? Он и хозяйствовать-то толком только у Святогора… А Борща дальше несет, ровно льдину в половодье.

— Стоит Илья возле Латырь-камня, думу думает. «Сколько лет я во чистом поле гулял да езживал, а еще такого чуда не нахаживал. Но на что поеду в ту дороженьку, да где богату быть? Нету у меня да молодой жены, и молодой жены да любимой семьи… Как молоденьку ведь взять — да то чужа корысть, а как старую-то взять — дак на печи лежать, на печи лежать да киселем кормить…»

Обвила сердце Ильи змея-тоска лютая. Не слышит, что там Борщ повествует. Не видит его. Рада перед взором, какой последний раз запомнил. Смотрит, улыбается. Он ведь не один раз к дому возвращался, где они вместе жили. Ничего там не менялось, как стоял повымершим, таким и остался. Только как с Сокольником повстречался, шевельнулась в груди надежда снова увидеться… Поманила лучиком солнышка заходящего, да и угасла. Не заметил старый, как дрогнули губы, как наполнились влагой глаза. Так ведь и Борщ не заметил. Его Илья ту дороженьку выбрал, где убиту быть.

Занесло богатыря песенного подале Корелы проклятой, поближе Индии богатоей, аккурат в грязи смоленские. Где такие? Не важно. Главное, чтоб разбойников было побольше, татей-подорожников. Тут уж Борщ не поскупился, насчитал аж сорок тысячей.

— Это ж сколько будет? — Илья спрашивает, потому как и слова такого не слыхивал.

Запнулся Борщ, будто за корень.

— Сколько? — бормочет, а и сам, видно, не знает. — Ну, сколько… Во сколько!

И руки в стороны развел. Так бы и сказал, а то сорок каких-то выдумал…

То ли от того, что встрял Илья не ко времени, сбил Борща с панталыку, то ли тот сам заплутал, а только что ни слово, — все поперек прежнему. Сам ведь расписывал, как богатырь в поход отправлялся — разодетый, что княжна какая. На нем злата-серебра было, с каменьями драгоценными да шелками узорчатыми, иной гость столько за всю жизнь не наторгует. А тут на тебе, стоило атаману ихнему прикрикнуть своим молодцам отбирать добро у проезжего, как тут же и выяснилось, что у того и нет ничего. И лошаденка-то неказистая, и сбруя на ней едва от ветхости держится, а на самом на нем платьице со всем прочим — за такое в базарный день разве что по шее дадут. Видит атаман, надуть его пытаются супротив очевидного, — а кто б и не увидел? — обидно ему стало, и повелел он своим разбойничкам проучить старого как следует, — проще говоря, прибить.

Легко сказать — прибить. Этот самый песенный Илья шеломом своим пуще языка владел. Сорвал с головы да как начал поколачивать всю эту шатию-братию. Видят разбойнички, туго им приходится, взмолились: «Ты оставь-ка, добрый молодец, да хоть на семена». Не оставил. Схватит татя, как даст ему шеломом по макушке, только макушка из земли и торчит… В общем, побил силушку великую, вернулся опять к камню, и написал на нем, что, мол, очищена тая дорожка прямоезжая, где убиту бить. Он, оказывается, еще и писать разумел.

Хоть и стар летами песенный Илья, а ума ему это не добавило. Потому как по той дорожке подался, где женату быть. Сколько сказок сложено, — иные при детишках да бабах и не скажешь, — что бывает, когда старый за себя молодую берет, ан ему, должно быть, вожжа в особое место угодила. Оно понятно, женитьба, она зачастую много больше подвига богатырского, только всякому цвету свое время. Наехал, спустя время, на палаты белокаменны, посеред поля чистого. Встречает его девка красная, поляница удалая (тут у Ильи так дыхание перехватило, так внутри отозвалось — будто мечом кто пронзил). Кланяется до сырой земли, берет под ручки белые, ведет в палаты просторные, сажает за дубовый стол. Только было расспрашивать принялась (это не попотчевавши-то!), кто он, откуда, а добрый молодец в ответ — устал, мол, мне б отдохнуть хоть ненадолго. Ну, в его годы это не диво… Снова берет тогда красна девица Илью за руки, ведет в спаленку богатую, ложит на кроваточку обманчиву. Бабы, оно, конечно, разные бывают, но чтоб вот так вот… Правда, Илья тоже не лыком шит оказался. Откуда про кроватку распознал, про то неведомо, а только говорит он ей: «Ай же ты,

душечка да красна девица! Ты сама ложись да на ту кроватку на тесовую». Подхватил, на кровать бросил. Повернулась та, и упала красна девица в глубокий погреб. А оттуда царевичей-королевичей, что она прежде обманом к себе завлекла, видимо-невидимо. Все-то его благодарят, все-то в ножки кланяются… Вернулся опять к камню, и написал на нем, что, мол, очищена тая дорожка прямоезжая, где женату быть.

Задремывать Борщ стал. Каждым словом запинается. Только и успел про третью дорожку сказать, что наехал молодец на три погреба глубоких, златом-серебром да каменьем насыпанных. Собрал все, раздал нищей братии, сиротам бесприютным, а до камня обратно не доехал. Потому не доехал, что на этом самом месте одолел сон Борща, мало в костер не свалился. Успел его подхватить Илья, не стал никуда относить, приспособил возле костерка, сунув под голову полешко, сам с другой стороны прилег. Не спалось. Как же так получается, ни об чем, что с ним и вправду приключилось, и речи нет, одни сказочки? Вспоминать принимался, что Борщ наплел, лишь бы другим мыслям воли не было. Так до утра и промаялся тогда…

* * *

Совсем уже было собрался Илья дозор свой на сегодня заканчивать, как увидел на холме соседнем огонек. Кому бы это случилось? Отчего к заставе не жалует? Всматривается, и кажется ему, будто не живым огонек светится. Вот ежели костер увидать, он с какого расстояния ни возьми, живой. Переменчивый. Вроде как на месте приплясывает. Не всегда добрый, правда. Этот же застывший какой-то, и даже вроде как холодком от него веет, даром что до холма того стрелой достать.

Разве съездить да глянуть, что там?

Тронул Илья коня. Едет себе потихонечку, ни о чем особо не раздумывает. Чему быть — того не миновать. А чему тут быть? Он уж и позабыл, когда в последний раз человека живого видывал. Ну, конечно, окромя себя в ручье. Коли так и дальше пойдет, глядишь, слова все позабудет. Только кого в этом винить? Сам своей судьбой распорядился, никто в богатырство силком не тянул…

Ишь, как горит, не мигаючи. И цветом не желтый с красным, а бледный. Вот, сказывали, огоньки такие бывают, блуждающие. Про них молва народная — кто клад, говорит, кто человеки, людьми злыми жизни лишенные, бродят, обидчиков ищут. Это ребятишек да девок по вечерам байками такими пугать. Был у них

в деревеньке случай, помнится. Засиделись как-то девки допоздна, друг дружку сказками всякими пугаючи, а кто-то подшутить над ними решил. Возьми, да постучи в окошко. И так это у него получилось, — завизжали девки, бросились опрометью вон из избы, такой переполох устроили, любо-дорого. Вся деревенька на ноги поднялась, мечутся туда-сюда, как угорелые, в чем дело понять не могут. Не нашли озорника, сколько ни искали. На том порешили, что *дворовой*, мол, учудил.

Взъехал Илья на вершину холма, где светится, и видит, лежит колода, по виду на домовину похожая. Прямо как тогда, со Святогором. Только та открытая была, а эта крышкой накрыта. Вот ведь беда… Не просто так ведь объявилась, мало ли кто там, внутри, схоронился. Будь рядом еще кто, в подмогу, а коли один — что и делать-то? Не ровен час, *сила незнаемая неведомая* в гости пожаловала. Тут одному можно и не справиться, ежели выпустить. А ежели не выпустить, ну как сама вырвется? Мало земле невзгод, еще и эта… Незадача. Ни тебе уехать, ни тебе внутрь заглянуть. Может, выкопать яму побольше, завалить и камешком потяжеле сверху придавить? Или, скажем, веревкой обмотать, да за облака закинуть, с глаз долой?

Слез Илья с коня. То по солнцу домовину обойдет, то против. И так присматривается, и эдак. Остановится, прислушается — нешто там есть кто, кому помощь его надобна? А он его — под камушек.

— Ну, поздорову будь, Илья, свет Иванович!.. — голос молодой позади раздался.

— До веку здравствовать!.. — совсем молодой.

— Мир тебе!.. — протяжный такой, но мягкий, словно увещающий.

Вздрогнул Илья. Хоть и не робкого десятка, а вздрогнул. Обернулся.

Длинные рубахи чуть выше колена, перехваченные обычной веревкой вместо пояса. Порты до лаптей, онучи. Рубахи и порты серого полотна, недавно тканого; лапти — недавно плетены. Волосы перехвачены незатейливого узора ремешком. Сумы на боку. У парня в руках ореховая палка чуть выше него ростом. У старца за спиной гусли.

Все те же, какими прежде виделись. Те же, да не те же.

У старца прежде глаза вроде как пленкой светлой подернуты были, а сейчас — глаза как глаза, искорки, вон, поблескивают.

И мальчонка. Он прежде слова не сказал, а тут… Ясно три голоса слышал.

— Ну что, так пнями стоять и будем? — ухмыльнулся Звенислов. — Может, присядем на дорожку?

— На дорожку? — снова удивился Илья. — Какую-такую дорожку?

— А это уж тебе решать…

Сказал, да и плюхнулся себе. Илья рядом присел. Боян с Васяткой тоже рядышком приспособились. Сидят, молчат.

— Ты, Тимоха, мне вот что скажи, — начал Илья, не век же так сидеть, — отчего это так получается, что я побелел весь, а вы как были, так и остались такими же, какими я вас в первый раз увидал?

— Точно ли такими? — ухмыльнулся тот.

— Ну, не то, чтобы точно…

— Тогда чего ж прямо не спросишь: правда ли, что слепой прозрел, а безъязыкий заговорил?

— Кто ж про такое спрашивает… — буркнул Илья.

— А самому — никак?..

Илья плечами пожал — мол, понимай, как знаешь. Может, знаю, отчего, а может, догадываюсь.

— А ты на людей вокруг себя взгляни, на народ. Он ведь когда нем, а когда так молвит — по всем землям от края до края земли слово его отзовется. Когда слеп, а когда так зряч, что ничего от взора его не укроется, — ни дела, ни думки. Когда балагур, а когда и молчун… Потому и нет народу ни лет, ни старости. Понял?

Чего и понимать-то? Опять зубоскалит. Туману напустил, никакому ветру не разогнать. Может, волхвы какие? Так и скажи прямо.

— Ты, Звенислов, будущее, часом, сказать не умеешь? — спросил осторожно.

— Не-а, — беззаботно отозвался тот. — Откуда ж мне про то знать, чего не было. Вот про то, чего было…

— А коли знаешь, так скажи… — осекся Илья. Не решился. Про другое спросил. — Ты мне тогда вот скажи, что с Мишкой Потыком приключилось? Ведомо тебе, али нет?

— С Мишкой-то, — протянул тот, сорвал стебелек и принялся постукивать им себя по лаптю. — Не врал он ведь, когда про жену свою вам сказывал, ну, как добыл ее… Того только не знал, кого в жены берет. Не просто так она ему встретилась, Марья Лебедь белая… Она, как побил он степняков да вызволил, чтоб силы его подкрепить, поднесла ему чару зелена вина. Выпил он, и не стало Мишки. Так-то вот…

— Опоила, значит… Змея подколодная…

— Не змея подколодная, — лебедь черная… Только ведь, Илья, у Смородины, у нее, как у любой реки, два берега. И коли с одного берега суждено белой лебеди плыть, нет такого, чтобы с

другого ей навстречу черная не плыла…

Эх, и чего запнулся? Лучше б про Раду да Сокольника спросил, что с ними.

— Про то, Илья, сам у них спросишь, — опять Звенислов, должно быть, в голове у него пошарил.

— Это когда же? — встрепенулся Илья.

— Сказано же было, тебе решать…

Опять у Ильи булава зачесалась — по макушке Тимоху шмякнуть.

— А домовина эта, кто там внутри?

— Так пустая она, Илья…

Вот оно что!.. Гром среди неба ясного… Как же это он сразу-то…

— Проститься мы пришли, Илья, — Звенислов говорит. — Не свидимся больше. Ты, коли что, о коне не беспокойся. Он тебе верно служил, и другим еще послужит. Оружие твое, оно тоже, не только про тебя сковано. Не перевелись вороги, на землю нашу зарящиеся…

— Кому ж за нее и стоять-то, — горше горького Илье стало. — Никого не осталось… У меня, вон, тоже, ни двора, ни кола, ни ясна сокола…

Прыснули тут люди хожалые, ровно дети малые прыснули.

— Эх, Илья, Илья, — сверкает глазами Звенислов. — Зеленоглазую, помнишь ли? Не привиделось тебе тогда. Дочь у вас, Илья. Да не простая. Зеленоглазая, она ведь… Рожаница она. С Родом ты, Илья, породнился, от того и не прерваться роду твоему во век… Так-то вот… Ну, прощай, Илья, свет Иванович!..

Поклонились ему поясно, да и пошли себе. Идут, переговариваются о чем-то, посмеиваются…

Илья же на прежнее место сел, уткнул голову на руки, глаза закрыл. О чем думает — кому ж то ведомо. Посидел время, поднялся тяжко. Разоблачился медленно, сложил доспех с оружием возле колоды. К коню подошел. Обнял за холку, прошептал на ухо слово ласковое.

Что ж, Илья. Погулял по белу свету, пора и честь знать. Сдвинул в сторону крышку, бросил последний взгляд окрест, лег, обустраиваться начал. Так повернется, эдак, чтоб поудобнее. Пристроился вроде. Набрал, не зная зачем, побольше воздуху в грудь, будто в реку нырять затеял, да крышечку-то и задвинул. Лежит, прислушивается. Слышит, ровно крыльями кто хлопает. Ближе, ближе, вот уж совсем близко. Снова все затихло.

А потом, поначалу тихо, а затем все нарастая и нарастая, зазвучала песня. И пела ее то ли молода жена, то ли красна девица. Так пела, что раз услышав, вовек не захочешь иной голос

слышать…

По крылечку ли идет да молода жена,
По сеням ли идет да красна девица…

…Ближе и ближе дерево. Уже и листочки на веточках видны. Чувствует Илья, вроде как подустал немножко, пора бы и отдохнуть, не все же крыльями махать. Присмотрел себе веточку, к ней устремился. Только было лапы вперед выставил, чтобы половчее ухватиться, да листочек махонький, что на веточке рос, раздался разом во все стороны, так что Илья сквозь него мимо веточки махнул. Глядит вниз, и глазам своим не верит…

…На одном из холмов приречных примостилась деревенька невеликая — дворов тридцать. Спряталась посреди лесов да дубрав, только с реки и разглядишь ее. Ладненькая да аккуратненькая, сколько здесь простояла — кто ведает? Избы, сараи, постройки хозяйственные…

Ажно сердце к горлу подбросило, слезы на глаза навернулись. Как же не узнать родимых мест-то? Вон она, изба родимая, а дальше… Неужто… Сложил Илья крылья, чтоб побыстрее, да как со всего маху угодит во что-то мягкое, чего сквозь слезы навернувшиеся не приметил. И сшиб кого-то, и сам так грохнулся, — земля задрожала.

— Ну, батя, ты прямо как медведь с елки, — добродушно пробормотал кто-то. — Смотреть надо, куда прешь. Хорошо, вилы в сарай убрал, а то б прямо на них угодил…

Сильные руки обхватили его за плечи и рывком поставили на ноги.

— Стоять-то хоть можешь, не расшибся?..

Сокольник… Рот до ушей… Живой… Или…

— Ладно, мне тут с тобой некогда, опосля поговорим. Вон, ступай, мать тебя ждет…

Толкнул слегка в плечо, и к сараю подался.

Смотрит Илья — глазам своим не верит. Стоит на крыльце Рада, какой запомнил, в сарафане нарядном, прислонилась к столбу, руки сложила, ладони к губам прижаты. Не чудится ли?

Сделал шаг — не слушаются ноги, не держат, совсем как тогда… Как до крыльца добрался, не помнит. Обнять хотел, а вместо этого плюхнулся неловко, и руки на колени уронил. Присела Рада рядышком, сидят, через ворота распахнутые на улицу смотрят.

— Глупая я была, Илья, — сказала. — Как узнала, что тяжелая, не захотела тебе поперек судьбы вставать. Думала, одна подниму, а потом уж… Оставила все как есть, в другое место

ушла, потому как знала, искать меня будешь. Только не так сложилось, как думалось. Прознала про меня жена Святогорова, Славяна. Она ведь думала, ты в смерти его повинен, зарок дала, смертью за смерть расплатиться. Как ни доглядывала я за сыночком, ан не углядела. Вернулась как-то, а его и нету. Сколько мыкалась, пока узнала, что с ним, не ведаю. Узнала, отыскала Славяну, схлестнулись мы. Сшибла я ее с коня, придавила, надо бы тогда ее и порешить было, да как узнала, где живет с Сокольничком моим, помутилось в голове от радости. Вскочила я, на коня — и к дому ее… А она, вишь, только показалось прибитою. Одной стрелки всего и хватило-то мне… Со спины стрелила… Чинжалище мой забрала. Не то, чтоб он ей глянулся, а чтобы Сокольнику дать, чтобы он им…

— Слышь, бать, не подсобишь малость? — Тут сам Сокольник из-за избы показался, глянул на крыльцо, рукой махнул. — Ладно, обойдусь…

— А он?.. — кивнул Илья в сторону сына.

— Нашел он меня… Помнишь, говорила я тебе, что Леля мне ленточку узорчатую подарила?.. На том месте она осталась… Что-то его туда вывело — чего, сам не знает. Сказала ему Леля о приключившемся со мной… И о тебе сказала. Он было хотел Славяну отыскать, — она ему заповедала. К тебе спешил. Жалел, что не поверил. Мало не доехал, повстречалась ему *сила нездешняя, неведомая*, богатырей земли нашей губящая, зло в ней сеящая. Не пропустил он ее. А что до остального, сам тебе все скажет…

Помолчал Илья, потом спросил осторожно:

— Что же это такое — *сила нездешняя, неведомая*?

— Да я, Илья, и сама толком не знаю. Знаю только, что обличьем она разная. Чем захочет, тем и прикинется. Еще то знаю, что где разлад, горе людское, ненависть лютая — там ее и ищи… С того берега речки Смородины вроде приходит, из-за гор Сорочинских. Иные говорят, будто и Смородина та самая, и горы Сорочинские, они у каждого человека внутри. Только мне этого не понять… Ну, что, вечерять будем? — вдруг просто спросила она.

В это время снаружи двора, на улице, послышался какой-то шум. Проехала телега, на ней сидели двое, переругиваясь на чем свет стоит. Кто, Илья не разглядел, а вот голоса знакомыми показались.

— Опять Долговяз с Братилой… Они, вишь, рыбу какую-то чудную поймать удумали, что и на трех телегах не увезешь. Просо им крючки сковал, ан ничего у них не вышло. Два раза упустили, вместе со снастью. Перед третьим разом, надоумил их кто-то из

волоса конского веревку сплесть. Взяли они нож, пошли ночью к лошадям, чтоб у каждой понемногу хвоста взять. И так это у них получилось, что одной лошади начисто обкорнали. То ли она дернулась, то ли руки у них растут не оттуда. Оказалась — Просова. Так он их потом с молотом полдня по деревне гонял, насилу уняли… Опять, видать, пустые едут.

— Как он, Просо-то?

— Да как… Живут себе. Об одном жаль, нет у них с Заряной детишек своих, ну да от прочих отбоя нету. Иные из кузницы не вылазят. Он им игрушки какие-то мастерит. А там, глядишь, дело молодое…

— А?.. — начал было Илья и осекся, потупился.

— Завтра сходишь, — без слов поняла его Рада.

— Как они?

— Как обычно. Живут, захаживают иногда.

— Я ведь обещался к ним… А сам…

— Кто старое помянет, Илья… Простят… Пойду я. — Рада поднялась, собираясь в избу. — Да и ты шел бы, помог Сокольнику. Он стропила у сарая менять вздумал, тяжко ему одному.

— Какой из меня нонче работник, — махнул рукой Илья и тоже поднялся. — Сколько годков-то уж. Мне теперь только на печи лежать, да на завалинке посижиывать…

Улыбнулась Рада. Ухватила за плечи, подвела к бочке с водой, возле угла избы, склонила сильной рукой чуть не до воды. Любуйся, мол.

Глянул Илья. Совсем не то увидел, что ожидал. Не старца, — мужа во цвете лет. На руки свои посмотрел, выдохнул.

— Что же это за место такое, где?.. — и на Раду смотрит.

Снова улыбнулась Рада.

— Что за место? *Вирий*, Илья… *Вирий*.